

**Лев Федотов**

**ДНЕВНИК  
СОВЕТСКОГО  
ШКОЛЬНИКА**

АСТ  
Москва

УДК 821.161.1-94  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44  
Ф32

**Федотов, Лев Федорович.**

Ф32 Дневник советского школьника. / Л. Ф. Федотов; д.и.н., проф. НИУ ВШЭ И. В. Волкова. – Москва: АСТ, 2015. — 352 с.

ISBN 978-5-17-089848-0.

Перед вами необычный дневник необычного человека, которого считали самым знаменитым вундеркиндом XX века и пророком, предсказавшим войну. «Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца (т. е. июня) или в начале июля, но не позже; ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов». Записал Лева Федотов в своем дневнике.

Этот удивительный мальчик жил в знаменитом доме на набережной в 40-х годах XX века. Он поражал воображение сверстников. Он потрясающе рисовал и интересовался всем на свете – минералогией, палеонтологией, океанографией и историей, писал симфоническую музыку и романы в толстых тетрадах. Мальчики смотрели на него как на чудо, а девочки побаивались и нежно звали «Федотик». В остальном это был самый обыкновенный мальчик, московский школьник, который бегал по дворам с друзьями, дрался, спорил и иногда даже убегал с уроков. О своей жизни он очень живо и с юмором поведал в дневнике. Будущее сулило ему удивительное, он мог стать гениальным музыкантом, ученым или писателем... Наступал 41-й год...

**УДК 821.161.1-94**  
**ББК 84(2Рос=Рус)6-44**

## Предисловие

### Феномен Льва Федотова

Автор дневника, с которым предстоит познакомиться читателю — Лев Федотов прожил всего двадцать лет, в которые уместились девять классов школы, пребывание в эвакуации, призыв в действующую армию в апреле 1943 г., короткое военное обучение под Тулой и гибель под вражеской бомбежкой 25 июня 1943 г. в той же местности. Ни реализованных жизненных планов, ни подвигов на войне. На это просто не хватило времени...

И все же вопреки всем объективным обстоятельствам, его имя получило широкую известность. Прежде всего, за счет той памяти, которую сохранил круг его друзей по школе, дому, внешкольным занятиям.

Вначале о незаурядном подростке, прозванном когда-то в школе «Гумбольдтом», «Леонардо из 7 «Б», поведал его друг детства Юрий Трифонов: в романе «Дом на набережной» он вывел его в образе Антона Овчинникова. А в интервью «Литературной газете» от 5 октября 1977 г. писатель рассказал: « ... В детстве меня поразил один мальчик... Он был так не похож на всех! С мальчишеских лет он бурно и страстно развивал свою личность во все стороны, он поспешно поглощал все науки, все искусства, все книги, всю музыку, весь мир, точно боялся опоздать куда-то. В двенадцатилетнем возрасте он жил с ощущением, будто времени у него очень мало,

а успеть надо невероятно много». Далее писатель перечислял все те разнообразные увлечения и занятия Левы, в которых он добился немалых успехов. Это минералогия, палеонтология, океанография, рисование, музыка, физические тренировки по собственной системе, наконец, сочинительство романов — занятие, к которому он приохотил некоторых из своих друзей, в частности, Юрия Трифонова и Михаила Коршунова, ставших впоследствии известными писателями. По мнению Трифонова, Лева Федотов был всесторонне развитой личностью, при этом сформировавшей себя совершенно самостоятельно.<sup>1</sup>

Однако и эти представления о давно ушедшем юноше оказались неполными. Некоторое время спустя, готовясь к премьере спектакля по своему роману «Дом на набережной» в Театре на Таганке, Ю. Трифонов попросил у матери несколько сохранившихся тетрадей его дневника. Рассчитывая всего лишь отыскать кое-какие яркие детали из жизни обитателей дома, писатель неожиданно-негаданно натолкнулся на поразительное по своей точности прогностическое описание Великой Отечественной войны, сделанное как минимум за две с половиной недели до ее реального начала. Эта находка поразила его и даже изменила сценарий спектакля: дневник Левы и некоторые из его героев, в частности мать и тетка автора, стали его полноправными действующими лицами. А дальше... имя Левы Федотова, известное в узких кругах жителей Дома на набережной, облетело всю страну. Этот мальчик еще раз возник в творчестве Трифонова — на этот раз как Леня Крастынь (Карась) — персонаж последнего, неоконченного романа «Исчезновение». Ему посвятили пространные очерки известные журналисты О. Кучкина, А. Аджубей; полные восхищения и пиетета — мемуарные зарисовки бывшие школьные товарищи.<sup>2</sup>

В 1986 г. был снят талантливый документальный фильм А. Иванкина и Л. Рошаля — «Соло трубы» о супружеской паре революционеров Федотовых и их разносторонне одаренном сыне, вызвавший огромный всплеск интереса к его дневнику и личности. Но и в этой ленте сюжетный узел составило предсказание хода войны. А в 1990 г.

---

<sup>1</sup> Цит. по: Трифонова О. Р. О времени и о судьбе. // Трифонов Ю. Отблеск костра. Старик. Исчезновение. М., 1988. С. 550.

<sup>2</sup> Кучкина О. Ребята из дома на набережной. // Комсомольская правда. 1987, 17 января. С. 4; Аджубей А. Мальчик из Дома на набережной. // Московские новости. 1986, 26 октября. С. 12. Наиболее интересными из мемуаров являются: Коршунов М., Терехова В. Тайны и легенды Дома на набережной. М., 2002.

Ю. Росциус — автор, специализирующийся на исследовании аномальных явлений, выпустил брошюру под характерным названием «Дневник пророка», где были воспроизведены те самые знаменитые страницы дневника. Эта публикация заложила трактовку личности автора как проводника неких трансцендентных сил, писавшего свои провидческие заметки о будущем в режиме автоматического письма. Причисленный к ведомству Нострадамуса, Лева стал фигурантом многочисленных интернет-ресурсов футурологической направленности и занял почетное место в номинации «великие прорицатели будущего», его имя обросло вымыслами и легендами. На волне этой «славы» резвые тележурналисты отсняли фильм «Прорыв в бездну», в котором фигурировала отысканная безымянными диггерами в подземельях Берсеневки тетрадь Федотова «История будущего». По словам авторов фильма, в ней содержались предсказания, относящиеся к началу XXI в.: запуск андронного коллайдера, избрание и последующее убийство первого чернокожего президента в США. Правда, само вещественное доказательство столь сенсационных признаний так и не было предъявлено, ну а жареные факты остаются на совести создателей киноленты.

Мы утверждаем: феномен Льва Федотова не укладывается в формат оракула, который ему постарались придать авторы ряда публикаций.

\*\*\*\*\*

Он появился на свет в семье, которая не только приняла и подержала русскую революцию, но и вообще состоялась благодаря ей.

Глава семьи — Федор Каллистратович родился в 1897 г. в деревне Глубокий Ров Сувалкской губернии в большой крестьянской семье. Правда, как утверждал он сам в автобиографической справке, в 1900 г. из-за малоземелья его отец порвал с крестьянским трудом и переехал в город, где пробавлялся разными черными работами. Этому человеку выпал удел пожизненной неприютности и нужды. Именно такой образ вырисовывается из тех же показаний Федора от 1931 г., где он упоминал о том, что его отец трудился вплоть до 76-летнего возраста, в последнее время сторожем на Турксибе, и лишь совсем недавно переселился на постоянное проживание в коммуну «Ленин». Мы не знаем, почему ни один из семерых детей не взял на себя заботу о престарелом отце. Возможно, они не могли себе этого позволить по материальным и жилищным условиям, а, что еще более вероятно, старик из гордости не захотел становиться иждивенцем. Глухое указание на последний излом этой тяжелой судьбы содержится в дневниковой записи внука под датой 19 октября 1940 г., кратко сообщающей о вынужденном расставании стариков — родителей Федора Каллистратовича: бабушка уехала из Москвы доживать свой век к дочери в Западную Белоруссию, а дедушка переехал в дом престарелых. «Вот и кончилась навсегда их дружная совместная жизнь», — так почти бесстрастно зафиксировал Лева эту человеческую трагедию.

Как бы то ни было, но и сыну Каллистрата выпала кочевая, полная испытаний жизнь. Он рано встал на путь политической борьбы, а после провала некоей неназванной в автобиографии организации, в которой состоял (эсеры, анархисты?), бежал за границу. Уже в США в 1914 г. он вступил в РСДРП (большевиков). В 1915–1916 гг. в качестве руководителя Союза портовых рабочих он организовывал забастовки грузчиков на Великих Озерах, участвовал в создании Американской коммунистической партии. За революционную деятельность Федор Каллистратович несколько раз подвергался аресту, причем по последнему приговору он был осужден на 10 лет заключения в каторжной Трэнтонской тюрьме. Совершив оттуда дерзкий, в стиле голливудских вестернов, побег, он направился в

советскую Россию. Здесь его ждали признание, карьера и литературные занятия. По его собственным словам, с 1920 г. он был занят на ответственной партийной работе поочередно в Московской губернии, Семиречье, на Кузбассе и в Средней Азии. Помимо того, он писал очерки и заметки для «Правды», являлся ответственным редактором печатного издания «Красный луч», а также членом редколлегии журнала «Новый мир»<sup>3</sup>.

Судя по всему, его сильно влекла литература: ведь исполняя весьма хлопотные обязанности партийного работника, он исхитрялся выкраивать время для творчества. Им были написаны и изданы два романа-очерка: «Желтая чума», посвященный Монголии, и «Пахта». За недолгие 36 лет своей жизни Федор Федотов успел увидеть свет, закалить волю, приобрести организационные навыки, развить способности к сочинительству и потрудиться на благо советской модернизации. Погиб он на боевом посту: в августе 1933 г. объезжая сельскохозяйственные угодья на Алтае, где служил начальником политотдела зерносовхоза, то ли был убит, то ли утонул сам в неглубокой речке во время эпилептического припадка. Свидетелей не нашлось, и подлинные обстоятельства смерти так и остались невыясненными.

Отец и сын, по словам матери, были не разлей вода, хотя вместе из-за частых отлучек Федотова-старшего им довелось провести не так уж много времени. Из материального достояния от отца Лева получил немного. Это — золотые часы, подаренные американским другом в знак восхищения побегом из тюрьмы, сделанный для сына рисунок колец Сатурна и, конечно же, служебная квартира, хотя и самая скромная, в Доме правительства на Берсеневской набережной. А вот нематериальная часть отцовского наследства была неизмеримо больше. Прежде всего, Федор Каллистратович передал сыну бойцовские качества, страсть к познанию мира, склонность к литературе и... личностную незаурядность. Современные психологи и генетики утверждают: ребенок с задатками гения чаще всего рождается от союза обычного человека с необычным, притом отягощенным какой-либо психической патологией<sup>4</sup>. Если вспомнить

---

<sup>3</sup> ГАРФ. Ф. 9577 (коллекция документов личного происхождения), оп. 1. Ед. хр. 856. Лл. 1–1 об.

<sup>4</sup> Колупаев Г.П., Ключев В.М., Лакошина Н.Д., Журавлев Г.П. Экспедиция в гениальность. Психобиологические описания жизни и творчества великих людей. М., 1999. С. 13–14, 66.

об эпилепсии Федора Каллистратовича, то, с этой точки зрения, следует признать высокую предрасположенность его сына быть отмеченным природными дарами.

Перешла ли Льву и болезнь отца? Если основываться на художественной проработке его личности в последнем романе Трифонова, где он выведен в образе Лени Крастыня, то ответ будет положительным. Если на воспоминаниях ближайшего друга М. Коршунова и соученицы В. Тереховой, то — отрицательным. Впрочем, ни в дневниках, ни в сохранившихся личных документах Льва такой факт не находит подтверждений. Можно привести и весомые косвенные аргументы: вряд ли столь серьезный диагноз допускал армейскую службу, да и мама Льва в таком случае обязательно пустила бы в ход этот аргумент в военкомате. Между тем в своей робкой материнской попытке оградить его от призыва в армию во время войны она ссылалась только на его плохое зрение и ослабленный слух. К тому же при такой болезни ему были бы противопоказаны длительные отъезды из дому. Между тем Лева выезжал и в Звенигород, и в Одессу, и в Николаев. Он один ездил в начале 1941 г. в Ленинград, равно как намеревался летом 1941 г. двинуться туда пешком, если только этому не помешает война.

С 1933 г. единственной опорой Левы являлась мать. Правда, до совершеннолетия от государства ему была выделена маленькая пенсия за отца. А сослуживцы и товарищи по партийной работе Федора Федотова постарались помочь и дальше. В 1940 г., в преддверии восемнадцатилетия Левы, они поддержали ходатайство вдовы в наркомат социального обеспечения о выделении пожизненной пенсии за скончавшегося мужа с тем, чтобы она могла содержать сына и дать ему высшее образование, как мечтал сам Федор Каллистратович<sup>5</sup>. Эти деньги и маленькая зарплата самой Розы Лазаревны составляли весь источник существования семьи. Конечно, образ ее жизни на грани нужды сильно отличался от привычек и стандартов потребления, которые были характерны для многих жильцов престижного дома. Друг детства Левы Артем Ярослав вспоминал: Федотовы жили в тесной, однокомнатной квартирке дома на первом этаже, предназначавшейся для вахтера. Единственной ценной вещью в этом жилище было пианино, приобретенное на сэкономленные деньги. При всех трудностях

---

<sup>5</sup> ГАРФ. Ф. 9577, оп. 1. Ед. хр. 851 (коллективное заявление в НКСо). Л. 1.



Роза Лазаревна старалась создать условия для развития наклонностей сына. Помимо пианино, на котором он разучивал уроки по музыке и подбирал по слуху любимившиеся мелодии, в доме всегда имелся определенный запас альбомов, кистей, красок, карандашей, ватманской бумаги, который служил его увлечению живописью<sup>6</sup>.

Воздавал ли Лева должное тем подвижническим усилиям, которые прилагала мать, чтобы обеспечить их быт и дать ему образование? Безусловно, да — об этом говорят, пусть и немногочисленные, замечания по разным поводам в дневнике, показывающие привязанность и уважение к ней. Был ли сын так же близок к матери, как некогда к отцу? Безусловно, нет. Михаил Коршунов свидетельствовал: единственным, что Лева никак не удавалось в области рисования, был портрет матери. Бумага предательски начинала «пищать» с первой же попытки сделать набросок<sup>7</sup>. Да и несколько отчужденное определение «мамаша», «родительница», которым за глаза и в дневнике чаще всего он обозначал свою маму, подчеркивало их удаленность друг от друга. Действительно, при всей взаимосвязанности их интересы и жизнь разворачивались в разных плоскостях. У сына — в плоскости напряженной мыслительной работы, обдумывания прорывных идей в области естествознания, упорной самоподготовки к предстоящей миссии ученого. Мир матери был ограничен заботами о хлебе насущном, делами и событиями в ее обширном родственном кругу.

Роза Лазаревна родилась в 1895 г. в Севастополе. Она была младшей дочерью в большой еврейской семье, относившейся к мещанскому сословию. Согласно автобиографии, окончив начальную школу, в возрасте 12 лет по воле матери она поступила ученицей в шляпную мастерскую. Возможно, такое решение было вызвано необеспеченностью семьи, возможно, немолодые родители хотели пораньше поставить девочку на ноги, дав ей надежную профессию. Согласно той же автобиографии, на момент Октябрьской революции родителей Розы уже не было в живых. Отчасти их заменили ей старшие сестры и братья. В 1911 г. вслед за старшей сестрой она уехала вначале в Париж, а затем в Нью-Йорк, где работала по своей специальности. В Америке стала членом профсоюза шляпочников

<sup>6</sup> Воспоминания Ярослава А.Я. О бойце Красной армии Федотове Л.Ф. // ГМММ (Государственный музей обороны Москвы). Архивный фонд. Ед. хр. 3076. Л. 1.

<sup>7</sup> Коршунов М.П., Терехова В.Р. Указ. соч. С. 167.

и модисток и в апреле 1917 г. вступила в партию большевиков. Здесь же на одном из партийных собраний произошла встреча с Федором Федотовым, перевернувшая ее судьбу. В сентябре 1920 г. они вместе вернулись в Россию, где получили прописку по адресу: Москва, Тверская, дом 11/17, квартира 425. Именно такой адрес проживания родителей был указан в свидетельстве о рождении 10 января 1923 г. их сына Льва. Интересно, что этот брак не был официально зарегистрирован: такая информация значит в особом примечании к справке ЗАГС<sup>8</sup>. Однако сам по себе этот факт не отражал временность или несерьезность отношений. Точно так же, пренебрегая традициями прошлого, в гражданском браке вполне счастливо жили тогда многие молодые пары, включая и представителей советской партийно-государственной верхушки, вроде Хрущевых или Микоянов.

В Москве Роза Маркус вначале работала в детском саду, затем в агитационном отделе Московского комитета партии, а с 1935 г. и до конца своей трудовой деятельности в Московском театре юного зрителя костюмершей<sup>9</sup>. Пропадая целыми днями на работе, и в силу занятости, и в силу небольшого культурного багажа она не могла не только направлять образование сына, но даже и осмыслить его искания и увлечения.

Впрочем, человек, к которому вполне применимо известное определение *self-made man*, и не нуждался в руководстве. По части организации своего развития и образования Лева мог дать фору и маститым взрослым наставникам. Не случайно главенствующим мотивом воспоминания о нем повзрослевших и даже состарившихся сверстников и десятилетия спустя являлось смешанное с восхищением удивление широчайшим репертуаром его возможностей. Помимо начитанности по всем перечисленным Ю. Трифоновым отраслям знания, литературного сочинительства, детскую компанию захватывали его необычные навыки и привычки. Они сближали его с волевыми героями Джека Лондона или, по крайней мере, с Рахметовым Н. Г. Чернышевского.

Прежде всего, это были тренировка и укрепление собственного организма. Слабый от рождения, часто болевший в детстве и даже остававшийся на второй год из-за туберкулеза легких Лева к пятнадцати-шестнадцати годам существенно оздоровился, глав-

---

<sup>8</sup> ГАРФ. Ф.9577, оп. 1. Ед. хр. 858. Л. 1.

<sup>9</sup> ГАРФ. Ф.9577, оп.1. Ед. хр. 850. Лл. 10–10 об.

ным образом, за счет суровой закалки. Вплоть до глубокой осени он ходил в коротких брюках, а до наступления лютых зимних морозов не надевал головного убора и пальто, невзирая на протесты матери. Несколько раз усилием воли ему удавалось за сутки снять острую фазу малярии, дифтерита и стрептококковой ангины. (А при желании, как это было на рубеже весны-зимы 1941 г., когда потребовалась передышка от школьных уроков, внешние симптомы болезни мог растянуть на полтора месяца ради врачебной справки).

Щуплый и малорослый паренек, когда было надо, мог постоять и за себя, и за товарища. Один из таких эпизодов описан в романе «Исчезновение». Выручая друга, он разогнал напавших на него отпетых хулиганов, прозванных в округе «трухлявыми». В этом и подобных случаях Леву выручало не только владение приемами джиуджитсу и авторская тренировка ребра ладони, обеспечивавшая разящий удар в драке. Еще более важным фактором победы, всегда неотразимо действовавшим на противника, являлась его «фирменная» способность впадать в ярость. Резкая перемена облика, демонстрировавшая полную мобилизованность и исступление атаки, как правило, обращала в бегство нападавших прежде, чем те успевали испытать на себе силу приемов или ребра ладони. В современных понятиях эта способность управления экстремальной ситуацией сопоставима с техниками бесконтактного боя, которые являются уделом избранных ратоборцев. Впрочем, как это свойственно и последним, данные умения Лев Федотов никогда не пускал в ход без крайней нужды.

Столь же упорно, как и физическую выносливость, он взращивал в себе хладнокровие и бесстрашие. «Тайное общество испытания воли» — дворовая организация подростков из Дома на набережной не обошлась без его участия. Членство предоставлялось только тем, кто готов был рискнуть немного немалым здоровьем и даже жизнью, пройдя от края до края по перилам балкона девятого этажа или по парапету ограды набережной Москва-реки! Возможно, эти упражнения несколько блекнут на фоне распространенных среди сегодняшних тинейджеров экстремальных видов спорта, однако, для более «вегетарианских» в этом отношении времен они представляли собой запредельный опыт. К нему следует присовокупить и исследование пещер Звенигорода, где он побывал летом 1938 г., и погружение в подземные ходы, прорытые под церковь Николы

на Берсеневке. Ему — самому худому из трех участников этой экспедиции — выпала роль центрального в операции проникновения в глубинные отсеки подземных коммуникаций. По ходу путешествия возникла критическая ситуация, когда, достигнув крайнего сужения в проходе, Лева капитально застрял. Спасли его личное самообладание и помощь товарищей, резким усилием выдернувших его из опасного тупика.

Но и приведенными качествами не исчерпывался феномен Льва Федотова. Он был музыкально одарен, и важную часть его жизни составляли занятия с композитором и педагогом М. Н. Робером, обучавшим его на профессиональном уровне музыкальной грамоте и игре на фортепьяно. Лева владел классическим репертуаром пианиста, знал историю музыки, в особенности хорошо разбирался в творчестве Дж. Верди. Его любимой оперой была «Аида», которую он, не имея нот и партитуры, по слуху восстановил для себя от первого до последнего акта. Более того, он умел стереофонически проигрывать ее в мозгу так, как если бы он слушал ее из первого ряда партера. Наслаждаясь музыкой, он мог одновременно поддерживать разговор и оставаться включенным в текущую ситуацию, заставляя свое сознание одновременно работать в нескольких регистрах.

Лев Федотов прекрасно рисовал, несколько лет посещал студию Центрального дома художественного воспитания (в просторечии: «Цедеход»). Однако, не имея намерения посвятить жизнь изобразительному искусству, он прервал эти занятия, несмотря на все уговоры родных и близких. При этом, как можно понять из записанного в дневнике разговора с мамой товарища по «Цедеходу» Евгения Гурова, Лева и не думал отказываться от дальнейших опытов в живописи. Однако он отводил им подчиненное место в своей предстоящей профессиональной деятельности.

*Женина мамаша все время уговаривала меня стать художником, а науками заниматься, как любителю; на это я ответил, что быть художником по профессии, дополнительно имея дело с науками, во много раз труднее и неудобнее, чем в основном быть научным работником и художником дополнительно... всякий ученый может достать краски, но не всякий художник способен приобрести целую лабораторию.*

Итак, через все годы детства и юности Льва Федотова, помимо изучения естественных наук, физической подготовки, прошли серьезные увлечения музыкой и живописью, с которыми он не собирався расставаться и впредь. Как же все эти занятия сопрягались с тем главным предназначением, которое он предусматривал для себя? Однако прежде чем перейти к этому вопросу, следует остановиться на определенных поведенческих нормах, которым он неуклонно следовал в сознательном возрасте.

Это — абсолютное небрежение эстетикой одежды. Она была у него всегда опрятной, но «ниже среднего» даже на фоне аскетического дресс-кода 1930-х. По словам друга Артема Ярославца, он вечно «ходил в каких-то перелицованных куртках, коротких штанишках, из-под которых были видны голые худенькие коленки»<sup>10</sup>. Конечно, за этим внешним видом скрывалась отчаянная борьба за существование, которую вела Роза Лазаревна, стараясь и накормить сына, и обеспечить его потребности в различных занятиях. Однако, похоже, дело было не только в этом. Так, перед поездкой на зимние каникулы в Ленинград в самом конце 1940 г., мать и тетя убеждали его взять с собой лучшие предметы гардероба, которые, надо думать, все же были припасены заботливой родней. Ответом на эти увещевания было категорическое несогласие, которое в дневнике он пояснял так:

*... опрятность и простоту костюма я больше ценю, чем разные глаженные галстуки, пиджаки и т.д. Пусть на мне будет простая рубашонка, но, если она будет опрятной, мне ничего и не нужно больше. Я, как дурак, слушал наставления взрослых, излагающих мне свои предложения насчет одежды, но я и признавать не хотел их всякие пиджаки, да какие-то там части хламиды.*

Еще большую непреклонность Лева проявлял в отношении алкоголя. Так, встречая новый 1941 год в кругу ленинградских родственников и их друзей, он наотрез отказался даже пригубить бокал вина. Не помогли ни уговоры всей компании, ни даже подначка любимой двоюродной сестры.

Немного значила для него и еда: порой, уходя с головой в какую-либо творческую работу, он вообще забывал о ней, и оставленная матерью тарелка оставалась нетронутой. В дневнике мы не найдем описаний трапез или хотя бы кратких сведений о кушаньях дома

---

<sup>10</sup> Ярослав А. Указ. соч. Л. 1.

или в гостях. Единственное исключение составляет его пребывание в Ленинграде у родственников, которое он зафиксировал с большой тщательностью. Только в этом отчете встречаются упоминания о том, что однажды они все вместе лакомились гусиной шейкой с соусом, что он получил дополнительную порцию пирога в честь своего дня рождения. Или о том, как он кормил двоюродную племянницу Нору, оставленную вечером на его попечении, или как вместе с Женей Гуровым они весело уплетали соевые батончики, гуляя по Невскому. Еще раз этой темы он бегло касался в описании первого месяца войны. Кусок жареного хлеба на ужин, горсть сосисок по месячной карточной норме, полученная другом Мишей в счет мясного довольствия, — эти «гастрономические» детали в повествовании приводились в разрезе примет войны, ворвавшихся в обиход москвичей. Можно с уверенностью утверждать, что при умеренности и абсолютной неразборчивости Левы в еде переход к военным нормам потребления дался ему много легче, чем остальным ребятам из его дома.

И еще одна характерная черта, выделявшая его среди сверстников. Во дворе Дома на набережной, как, впрочем, и в любом другом, жизнь была ключом: играли в двенадцать палочек, казаков-разбойников, футбол, волейбол, порой устраивали шутейные рыцарские турниры, а иногда ребята пуляли из рогаток в голубей<sup>11</sup>. Лева оставался в стороне от всей этой детской кутерьмы, разве что изредка поглядывая на нее через окно. Все это для него было пустым времяпрепровождением, которое он отвергал, как и вообще всякое безделье и праздншатание. *«Ничего не делать — это для меня безвозвратно потерянное время — просто, короче говоря, могила!»* — так он сам сформулировал свое кредо. В этой же связи стоит заметить, что и для сна он урывал лишь самое малое время. Дневниковые записи он частенько заканчивал в полуночное время, а некоторые свои дела успевал сделать до начала утренних школьных занятий, соответственно поднимаясь много раньше, чем его одноклассники и население их маленькой квартиры (мама и часто гостившие родственники).

По мере взросления у подростков обострялся интерес к противоположному полу. Пуританские нравы 1930-х не исключали вечеринки с танцами под патефон, передачу друг другу записочек —

---

<sup>11</sup> Одна жизнь. Воспоминания Владимира Шварца. // Журнал «Самиздат». [http://samlib.ru/n/nikolaj\\_b\\_d/nnikolaj\\_b\\_dscharz.shtml](http://samlib.ru/n/nikolaj_b_d/nnikolaj_b_dscharz.shtml).

так называемых «лотов» (расшифровывавшихся как «люблю тебя очень») и проявление других знаков симпатии. Для Левы эти выражения взаимного влечения полов были табуированной зоной. Еще на пике детской дружбы и солидарности с Юрой Трифоновым они поклялись друг другу в том, что никогда не женятся. И если в своей последующей жизни Юра пренебрег обетом, то Лева, становясь старше, не менял изначальной позиции. Ему было явно не по себе от навязчивого внимания одноклассницы, заинтригованной его безразличием к женским чарам и какой-то своей напряженной жизнью. Он даже не попытался спрятаться за ширму приличий, отказывая ей в просьбе показать рисунок Исаакиевского собора, который он скрупулезно отделявал дома:

— Мне просто нет смысла для каждого желающего тревожить плоды своих трудов. Я вообще не охотник широкого распространения их..

— Значит, ты эгоист!

— Хорошо! Пусть эгоист, подлец, бандит, мерзавец! Пусть мошенник! — меня это все мало задевает.

— А ведь это нехорошо!

— Ну и чересчур стараться тоже не следует! — ответил я. — Совать в глаза свои творения, как бы они плохи или удачны ни были, каждому желающему встречному тоже не очень-то хорошо.

Весной 1941 г., когда происходил этот диалог, Льву Федотову шел девятнадцатый год. В этом возрасте мальчишеская нарочитая грубость как демонстрация мускулинности, как правило, является пройденным этапом. Стало быть, речь идет не об издержках пубертата, а о сознательном избегании даже намека на романтические отношения.

Осведомленный об этой истории товарищ пытался было попенять ему на некорректное поведение, однако натолкнулся на суровую отповедь:

*Я признаю всеобщее равноправие! Хотя, правда, я к ней немного грубо относился, но уж господь бог меня, видимо, простит. У меня к каждому человеку, к какому бы он полу ни принадлежал, существуют близкие, дружественные, искренние чувства товарищества, если он только порядочный смертный и взамен платит мне тем же. А выделять баб из всей среды людей как созданий, к которым мы должны относиться по-особенному, особенно учтиво и*

*т. д., я не думаю и даже не желаю... Для природы оба пола одинаковы и равны, ибо оба они в равной мере способствуют существованию человечества, и никто из них не превосходит по каким-нибудь признакам другого.*

Если в «женском» вопросе Лева не признавал ни поправок на слабость пола, ни «джентельменского» покровительства, то совершенно иным было его отношение к детям. Вот уж с кем он был предельно терпелив, благодушен и предупредителен! В дневнике рассыпано немало диалогов с детьми, в рамках которых он пытался не только зафиксировать их занятные высказывания, но и очень аккуратно вразумить. Так, например, он пытался развеять представление семилетней Галины Сухорученковой — дочки материнского сослуживца — в том, что в доисторические времена землю населяли двух- и трехголовые существа — «дэфы». Или с мягким юмором старался просветить свою двоюродную племянницу Нору из Ленинграда, уверенную, что вода может быть как мокрой, так и сухой. Столь же охотно он вступал в игры с маленькими детьми, а когда представлялся случай, забирал и сберегал их художественные творения. Иными словами, мир детства был для него открытой и интересной книгой.

Изложенные житейские принципы дают основание предположить наличие строгого регламента, в который, как в раму, было включено все полотно его существования. В свою очередь, этот отформатированный *modus vivendi* скрывал под собой максимум бытия, которая в вероисповедном контексте могла бы быть приравнена к монашеству в миру. Одно такое допущение разбивается об атеистические убеждения Льва Федотова и отрицание церковно-религиозной традиции, воспринятое от революционно-большевистского окружения и советского воспитания.

Мотивы, цели его яростной работы над собой, сознательного самоограничения составляли уравнение со многими неизвестными для близких товарищей, продолжавшее интриговать до скончания их собственного века. Эти непроясненные вопросы подтекстом присутствовали в попытках запечатлеть его образ. А. Ярослав вспоминал об их последнем свидании в августе 1941 г.: «Так он и остался в моей памяти худым подростком, хотя ему было уже восемнадцать лет, болезненным и не по годам серьезным, всегда куда-то спешащим, дорожащим каждой минутой времени, как будто предвидел,



что жизнь его должна скоро оборваться»<sup>12</sup>. Таким же неразгаданным гостем из детства он прошел через все творчество Ю. Трифонова. В конце жизненного пути это незримое присутствие, похоже, тяготило писателя. Во всяком случае, в последнем литературном двойнике Левы Федотова — Лене Крастыне, наряду с неоспоримыми талантами и достоинствами, он открывал симптомы «звездной болезни». Это и склонности манипулятора, и высокомерное презрение к серой обывательской массе, и безжалостность, проявляющаяся в готовности исключить товарища из тайного научного общества на том основании, что его отец арестован как германский шпион. И все-таки, похоже, и на этот раз готовность автора к переоценке своего героя затмевало обаяние его мощной личности. Устами своего автобиографического персонажа мальчика Горика зрелый мастер снова признавался в томительной привязанности к другу детства: «Горик давно заметил, что Леня Карась всегда полон каких-то секретных фантазий, сопряженных с клятвами и тайнами, но привыкнуть к неиссякаемой Лениной таинственности он не мог. Она причиняла ему боль. И заставляла ревниво и преданно любить друга, загадочного, как граф Калиостро».

Сумятицы добавило обретение дневника, из которого явствовало, что он был наделен мощной интуицией, едва ли не провидческим даром. С этим открытием «ребус» Федотова усложнился еще больше. В осознаваемой им близкой перспективе войны, радикальной ломки привычных устоев жизни и возможной собственной гибели жадное, поспешное поглощение знаний, неустанное саморазвитие, творческие опыты казались немотивированными. Еще больше ставило в тупик его удесятенное рвение в тех же занятиях в самый канун войны. И это без всякой надежды на то, что их результаты могут быть кем-то востребованы!

Наконец, друзья терялись в догадках о том, кем же готовился стать этот незаурядный юноша, обладавший столь многими способностями и познаниями. В какой «точке сборки» сходились все его увлечения? Ключ к решению этих вопросов, как и к постижению феномена Федотова, кроется в тексте дневника.

---

<sup>12</sup> Ярослав А. Указ. соч. Л. 5.

\*\*\*\*\*

Это всего четыре из некогда исписанных им 15 тетрадей с дневниковым текстом, под номерами V, XIII, XIV, XV — уцелевшие в вихре войны, послевоенных пертурбаций в Доме на набережной и сохраненные матерью автора Р.Л. Маркус-Федотовой.

Часть страниц надорвана и истрепана, выцветшие чернила порой трудно читаются, но все-таки подлинник доступен для изучения. Первый вопрос, который возникает по ходу чтения, состоит в мотивах автора и в предназначении, которое он отводил своей хронике. Как следует из его собственного упоминания, некогда идею подал его лучший взрослый друг Саша. О последнем известно очень мало: он был хорошим знакомым семьи еще с дореволюционных времен, когда родители Левы — Федор Каллистратович Федотов и Роза Лазаревна Маркус — жили в США, и, по-видимому, вместе с другими эмигрантами левых политических взглядов вернулся на родину после 1917 г. С ним и его женой Анютой Лева провел лето 1935 г. на Клязьме, где и начал вести дневниковые записи. Вскоре Саша умер, но в память о нем мальчик продолжил составлять свои отчеты. Можно предположить, что до ноября 1939 г. этому занятию Лева предавался больше «по обязанности», нежели из личной заинтересованности: ведь за четыре с лишним года было исписано всего четыре тетрадки, да и то довольно размашистым почерком (который, кстати, сохранялся еще в V тетрадке, — три последние будут заполняться убористо, почти бисерным почерком). Еще в августе 1939 г., как следует из его же признаний, критерием для отбора материала служила его бóльшая или меньшая содержательность, оцениваемая как бы со стороны. На этом основании, в частности, он не стал описывать в дневнике времяпрепровождение с любимыми ленинградскими родственниками, которые гостили у них в Москве в августе, так как, по собственному признанию, не усмотрел в этом сюжете ничего занимательного. Но уже в дневниковой записи от 23 ноября 1939 г. он горько раскаивался в пренебрежении этим эпизодом своей жизни.

*... Я теперь жалею, что не записал их пребывание в Москве! Тогда мне казалось, что эти записи у меня будут лишние и скучные, а между тем это было все очень интересным, и я это сейчас-то уже понимаю. Но ничего, впредь я буду умней!*

Итак, с ноября 1939 г. метод ведения дневника изменился, что наводит на мысль и о пересмотре его назначения. Темп повествования резко замедлился. Так, теперь отображение всего трех недель — с 17 ноября по 8 декабря — потребовало целой тетради, а неполный год — с 9 декабря 1939 г. до 23 августа 1940 г. — занял 7 тетрадей, которые, увы, не дошли до нас. Как это следует из авторских пояснений, материал стал иначе фильтроваться и подаваться. Именно к этому обновленному стилю относятся и некоторые безусловные парадоксы дневника. Первый из них: отсутствие сведений об источниках информации, которые питали естественнонаучные интересы автора. Как человек знания, нацеленный на научную работу в будущем, Лева, по свидетельству друзей, много читал. По их же воспоминаниям, он часто и подолгу проводил время в Зоологическом музее на Моховой, а также скрупулезно изучал анатомию человека и даже втягивал некоторых соучеников в изучение анатомического атласа. Однако тщетно было бы искать следы этих занятий в дневниковых текстах. Единственное упоминание книги, из которой он регулярно черпал полезную информацию, — «История земли» — относится к эпизоду отправки толстого письма родственникам в Ленинград: чтобы распухший конверт втиснулся в прорезь почтового ящика, его пришлось подложить под пресс из этого самого фолианта. Приведенное наблюдение наталкивает на единственно возможный вывод: получение знаний, иными словами, поглощение результатов чужого труда, не задействовавшее креативного потенциала самого автора, сознательно исключалось из дневниковых записей.

Описание повседневной жизни также выдержано в строгом соответствии с принципом: если предмет создавал повод для эмоционального, интеллектуального или даже физического напряжения, то он подлежал запечатлению на бумаге. На этом основании из рассказов-отчетов о школьной жизни выпадает будничная рутина, а фиксируются особые случаи, когда привычный распорядок ломается. Например, конфликт с учителем литературы Я. Д. Райхиным, вызванный отказом Левы участвовать в чтении по ролям драмы Островского «Гроза» по причине мучительной зажатости перед любым публичным выступлением. Или — проявления особого педагогического мастерства, например, учителем физики В. Т. Усачевым, которому удавалось без обычных учительских санкций усмирить разбуянившихся подростков и одновременно доступно и остроумно объяснить трудные понятия по своей дисциплине. Или

сдача экзаменов после 9-го класса и последующая «расправа», которую он учинил над символами школьного рабства — дневником и тетрадами. В крайнем случае — это те отдельные работы, которые требовали творческих усилий и выполнялись им не только по необходимости, но и с осознаваемой пользой для развития своих наклонностей, как, например, подготовка экономико-географической карты Великобритании, рисунки к географическим альбомам, посвященным Италии и Украине.

Быт представлен короткими сообщениями о частых приездах ингородских родственников, создававших тесноту в их маленькой квартирке, о походах в гости и приемах гостей. Или же — о спорах с матерью, теткой по разным поводам.

События «большого мира» в дневнике отражены также в небольшом объеме и избирательно. Его приковывает тема советско-финской войны 1939–1940 гг., но в известной мере интерес к ней обусловлен запланированной на зимние каникулы 1940 г. и сорванной, в конечном итоге, поездкой в Ленинград. При этом восприятие военной кампании целиком и полностью определяется освещением советской печати и пропаганды и не выдает стремления автора более или менее самостоятельно осмыслить ее уроки. Далее вопросы международной политики почти исчезают из записей примерно годичной продолжительности (с августа 1940 г. по июнь 1941 г.). И вот парадокс номер два: в самом конце XIV тетради, под датой 5 июня, без видимой связи с предыдущим содержанием помещен глубокий аналитический разбор будущей схватки СССР с гитлеровской Германией. Именно эта вставная новелла, которая принесла известность дневнику и его автору, в наибольшей степени озадачивает неявными мотивами и обстоятельствами своего появления.

Помимо того, через весь текст проходят сквозные темы, которые его особенно занимали. Это — впечатления о музыкальных произведениях, в особенности о произведениях Дж. Верди и в первую очередь об опере «Аида». Это — художественно-изобразительные работы, в том числе зарисовки с натуры некоторых видов московского городского ландшафта, ленинградских памятников архитектуры и особенно Исаакиевского собора, который он считал таким же шедевром в зодчестве, как «Аиду» в музыке. Это — поездка в Ленинград и долгая подготовка к ней; наблюдения за природой в городе и спуск в подземелье; школьные дела, освещаемые преимущественно как неизбывная помеха любимым внешкольным заня-

тиям. Наконец, это общение с родственниками, знакомыми семьи, друзьями, любимыми учителями, а также игры и разговоры с маленькими детьми.

Львиная доля материала подается через призму диалогов, в которых автор педантично фиксировал не только разговорную нить, но даже междометия и, насколько позволяет письменная передача, интонации говорящих. Скрупулезное и точное воспроизведение всей беседы требовало от него больших усилий. И здесь всплывает третий парадокс: подросток, дороживший каждой свободной минутой и жертвовавший ради внешкольных увлечений прогулками, а часто и приемами пищи, расточительно тратил свое время на запись мелких деталей разговора, будь то с другом, родственником, учителем или даже с едва знакомым ребенком. Эта своего рода мания «воспроизведения» вызывала тем большее недоумение у окружающих, что никакого мало-мальски исторического значения с общепринятой точки зрения записываемые разговоры не имели. Иными словами, овчинка не стоила выделки. Такое ощущение, например, у Юрия Трифонова оставила их последняя «проходная» встреча в булочной на Полянке, в конце которой Лева пообещал: «Я и эту встречу в булочной запишу. И весь наш разговор. Потому что все важно для истории»<sup>13</sup>. Иногда приверженность этому правилу вызывала насмешки. А иногда ставила его в неловкое положение: некоторых собеседников Левы, например, учителя музыки Модеста Николаевича Робера и его жену Марию Ивановну, похоже, не всегда радовала перспектива быть запечатленными в каждой своей реплике на страницах дневника. Тень их неудовольствия проскальзывала в разговоре о выборе жизненного пути и смысле будущей деятельности Левы.

— Я уверен, что ты не пропадешь! — сказал М. Н. — Раз у тебя столько склонностей, то из тебя выйдет весьма полезный человек.

Я молчал.

— ... который должен получить орден, — добавила М. И.

— Ну, орден — это другое совсем дело, — возразил М. Н.

— Нет. Нет! Без ордена я не признаю.

— Главное, чтобы принести пользу стране, — сказал я, — а орден или похвала — это дело десятое. Если ты человек образован-

---

<sup>13</sup> Цит. по: Коршунов М. П., Терехова В. Р. Указ. соч. С. 188.

ный, грамотный, ученый, умеющий приносить обществу пользу, то этого уже достаточно. Ты и без ордена будешь таким же. Орден только подтверждает пользу человека, а ценят человека — за его знания и способности.

— Это правильно, — согласился М. Н. — Скромность прежде всего.

— Боже! — проговорился я. — Как я только все это запишу в дневник? Ведь я забуду все эти разговоры! Уж лучше я сразу ушел бы домой после занятий!

— Вот он зачем тут сидит!!! — вскричал М. Н.

Как бы то ни было, Лева продолжал свою работу в прежнем ключе.

На первый взгляд в подобном способе ведения дневника усматривается подспудное стремление компенсировать дефицит доверительного общения в реальной жизни, что в целом характерно для замкнутых подростков. Подобное допущение было бы правомерно, например, в отношении сверстника Левы, сына М. Цветаевой — Георгия Эфрона, которому личный дневник тех же лет частично восполнял отсутствие товарищеской среды. Однако эта схема не подходит для Левы. При всей своей неформатной интеллектуально-психологической организации он совершенно не был отщепенцем. У него были близкие друзья (Миша Коршунов, Женя Гуров, Олег Сальковский, Дима Сенкевич, Юра Трифонов), теплые и открытые отношения связывали его с учителем музыки Модестом Николаевичем и его женой Марией Ивановной, интеллигентной родней из Ленинграда — виолончелистом Фишманом Эммануилом Григорьевичем и его женой — художницей Раисой Самойловной.

Да и само построение дневника ясно указывает на то, что он предусматривался не только для индивидуального пользования. В тексте то и дело встречаются прямые обращения к читателю, которого автор видел явно за пределами своего окружения. Именно для удобства этого неведомого собеседника, вводя в действие или упоминая заново после долгого перерыва того или иного героя своего повествования, он сообщал о нем необходимые справочные сведения и хотя бы в нескольких словах набрасывал его визуальный портрет. С фрагментами дневника он охотно знакомил М. Н. Робера, родственников в Ленинграде и некоторых других лиц — вероятнее всего, для того, чтобы получить обратную связь со сторонним чита-

телем. Коль скоро ни личные планы Левы, ни тем более издательская политика его времени не допускали возможности публикации дневника в текущем или обозримом будущем времени, то напрашивается единственный вывод: как бутылку с запечатанным посланием он направлял свой труд по волнам времени.

Такой вывод, однако, не уменьшает количества вопросов. Похоже, что и людям, знакомым с частями этого произведения, были непонятны намерения автора, а тот не торопился их открывать. В этом отношении характерен диалог с Модестом Николаевичем, который состоялся после прочтения Левого ему записи за 6 ноября 1939 г.:

— *Твой дневник прямо хоть целой книжкой издавай,* — сказал потом М. Н.

— *Ну-у, до этого еще далеко,* — сказал я.

*Ну, а вообще-то, зачем нужно вести дневник?* — проговорил М. Н. — *Ведь каждую работу следует производить не только для пользы самому себе, но и для того, чтобы принести пользу другим, а также и стране.*

— *Это вполне понятно,* — согласился я.

Соглашаясь с учителем в необходимости практической и даже социальной отдачи любой деятельности, он подтверждал утилитарное назначение своего дневника. С учетом затраченных на него сил и времени, а также ценностного отношения к этой работе резонно предположить ее прямую связь с кругом проблем, которому была подчинена и вся кипучая разноплановая самоподготовка автора. Для выявления контрапункта, в котором сходились все ее линии, следует обратить внимание на повторяющиеся мотивы дневника и той части архива Льва Федотова, о которой нам известно.

В значительной части образцов его литературной и научно-исследовательской деятельности, включая и сам дневник, присутствует один общий пространственно-«геодезический» маршрут. Это — погружение под землю. В подземелье наступает развязка сюжета его любимой оперы Дж. Верди «Аида»: здесь, во владениях египетской богини Исиды, обретают вечный покой и соединяются воедино души приговоренного к смерти Радомеса и его возлюбленной Аиды. Интересно, что финал оперы Лева полностью описывал в своем дневнике. В романе «Исчезновение» литературный персонаж, замещающий Леву, совершал бесстрашные одиночные вылаз-

ки в подмосковные пещеры, иногда увлекал туда друзей и даже создал конспиративную организацию «Общество по изучению пещер и подземных ходов» (ОИППХ).

Дневник доносит сведения и о том, что он писал роман «Кобольд, или Путешествие в недра земли» (от него уцелел лишь небольшой неоконченный рассказ о геологах, пробирающихся через расставленные басмачами ловушки к месту предстоящих разысканий). Напомним, что именем, фигурирующим в названии романа, в германской средневековой мифологии было принято называть инфернального обитателя подземного мира, яростно охранявшего его сокровища от посягательств людей. Опять-таки из дневника известно, что Лева писал роман «Подземный клад». Именно он и побудил его друзей и одноклассников — М. Коршунова и О. Сальковского пригласить его в путешествие по подземелью, которое начиналось из подвала церкви Николая на Берсеневке. 8 декабря 1939 г. — день этой подземной экспедиции, безусловно, стал важнейшим в Левиной биографии. Ему отводилось большое место в V и VI тетрадах, хотя из-за утери VI тетради описание осталось оборванным.

В ожидании экспедиции он пытался смоделировать свои ощущения:

*Я представлял себе мрачные темные ходы, сырые и жуткие, зловещие залы с плесенью по стенам, подземные переходы, колодцы, и это все переполняло мою чашу терпения и воображения. Я не представлял себе, что мне скоро суждено это увидеть наяву, короче говоря, я был в наивысшей точке напряжения. Мне даже трудно описать все мои чувства.*

Само прохождение через подземные тоннели на деле оказалось еще более волнующим, чем это представлялось накануне.

*Сердце у меня бешено колотилось, в груди давило, и от этой ужасной тесноты выработалось какое-то необъяснимое, странное, неприятное чувство...*

*Эти жуткие подземелья как бы давили на все мое сознание, и я чувствовал себя сдавленным и стиснутым не только физически, из-за узкого коридора, но и морально...*

*Не прошли мы и нескольких шагов от дверцы, как коридор под прямым углом повернул вправо и сделался еще уже прежнего. Я нахмурился и сжал кулаки.*

Записи дают ясно понять, что подземелье вызывало у него прямую ассоциацию со склепом. Отсюда проистекали и такие специ-



фические физиологические реакции, как удушье, ощущение физической и моральной сдавленности и еще некоторые незнакомые чувства. Сужение последнего пройденного коридора нагнетало эти эмоции, одновременно ставя преграду дальнейшему продвижению в глубь лабиринта. Иными словами, подойдя к кульминационной точке, путешествие в царство теней и намеченная программа обследования застопорились. Это вызвало у Левы сильнейшее волнение. Его выдает заключительная фраза приведенного отрывка. Выражения «сжать кулаки», «стиснуть зубы», «сжать губы», используемые несколько раз в дневниковых рассказах от первого лица, помечают ситуации его сверхвысокого нервного возбуждения, а обозначенная ими моторика сродни бойцовской стойке перед лицом атакующей враждебной силы.

Они встречаются в рассказе о спуске в подземелье: в первый раз, когда, пройдя подвалы со следами человеческой жизнедеятельности в виде старого хлама, ребята открыли проржавевшую дверцу в глубины подземелья — на территории абсолютного безмолвия и неизвестности, а во второй раз — когда убедились, что дальше хода нет. Складывается впечатление, будто в эти моменты Лева вступал в напряженный поединок с невидимым противником. Для выявления его импульсов сравним описанные ситуации с другим примером идентичной реакции: как-то, возвращаясь от подруги семьи Анюты, он вместе с матерью стал вспоминать ее покойного мужа, Сашу:

*— Какой хороший и умный был человек, — проговорила мама. — Всякие балбесы да пьяницы живут, и ничего, а полезные люди умирают...*

*Я ничего не ответил и только сжал плотнее губы...*

Общим во всех эпизодах является не только психофизическое движение отпора, но и объект, на который оно направлено. Это — смерть, которая слепо выбирает жертвы, унося их в невозвратную тьму.

Итак, путешествие в подземные чертоги являлось запланированным соприкосновением с миром Танатоса, который, судя по характеру и накалу испытанных эмоций, одновременно и страшил, и манил его. Следует думать, что этим же странным влечением были продиктованы его виртуальные и реальные опыты проникновения в полость земли. Опять-таки резонно предположить, что

первоначальным обращением к данному предмету послужили личные горькие потери: вначале отца, а затем и взрослого друга Саши. В дневнике он обходил данную тему. Косвенно, однако, остроту этих переживаний доносит следующая история: после внезапной смерти завуча 19-й школы Лева предложил его осиротевшему сыну почтить память отца музыкой. Сменяя друг друга за роялем, они играли всю ночь до тех пор, пока поутру в зал не заглянул учитель и, кинув быстрый взгляд на иступленное и измученное лицо своего ученика, не произнес: «Ты совершенно без сил, Федотов. Иди... домой»<sup>14</sup>. Втягивая товарища в изматывающий и вдохновенный музыкальный марафон, Лева знал по себе: так можно вырваться из тисков невыносимой боли и на время перенестись туда, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания.

В такой же экстатический транс он погружался на представлениях любимой «Аиды» Верди. Слушая хор пленных и дуэт Амонасро и Аиды на берегу Нила, он, по собственному признанию, «не помнил себя» или начинал «дрожать, как дрожит бедный щенок, повалившийся под дождь». А после спектакля еще долго не мог вернуться в привычную колею, путаясь в хорошо знакомых предметах и сбиваясь с дороги из комнаты в ванную своей квартиры. Это измененное состояние сознания было сродни экзальтации и восторгу, которыми наполнялись, например, адепты древних дионисийских, орфических и пифагорейских культов по ходу мистериальных действий. Опыт внетелесного путешествия в обитель богов приобщал к сонму бессмертных и позволял проникнуться идеями иммортализма на уровне ощущений<sup>15</sup>. Современные психологи не преминули бы заметить, что чувственная трансценденция — апробированное убежище сознания, охваченного ужасом безвозвратных потерь и собственной экзистенциальной конечности.

Детское потрясение закономерностью исчезновения всего живого стало отправной точкой многих его начал и принципов, и прежде всего построенного режима существования. И в подростковом, и в юношеском возрасте Лев Федотов явно чуждался сна — родного брата Танатоса, и если бы не запрос физиологии, то вообще освободился бы от его власти. Ускоренный темп жизнедеятельности, отмечавшийся всеми мемуаристами, — продукт того же трезвого осоз-

---

<sup>14</sup> Коршунов М. П., Терехова В. Р. Указ. соч. С. 114

<sup>15</sup> Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы Будды до триумфа христианства. М., 2012. С. 202, 210, 320.

знания кратковременности своего, как, впрочем, и любого другого пребывания на земле. Вряд ли случайным является тот факт, что в его дневнике в абсолютном большинстве случаев слова «мужчина», «женщина», «человек», «люди» заменялись одинаковым определением — «смертный» и «смертные». Занятия музыкой, сочинительством, рисованием несут в себе заметный отпечаток сублимации тех же страхов. Характерно, что его тяга к творчеству разгоралась с особой силой на фоне сгущавшихся ощущений близкого обрыва и привычной жизни страны, и своего пути. Так, в частности, произошло и в конце третьей четверти его последнего учебного года, когда даже «патентованные» лодыри взялись за ум и налегли на учебу. Он же, игнорируя вероятность провала экзаменов, вдруг повернул на стезю «вольного» художника — возросшее в этот период внутреннее напряжение настоятельно требовало разрядки.

Впрочем, детская травма от восприятия смерти и ее частичная психическая проработка в творческом процессе еще не заключали в себе ничего из ряда вон выходящего. Личностная неординарность Льва Федотова проявилась в том, что детские страхи не были вытеснены в область бессознательного, а были эксплицированы. Более того, их объект был выведен на уровень сосредоточенного внимания, обследования и... даже воздействия. Об этом свидетельствовала решимость встретиться с последним врагом человечества на его же собственной территории, продемонстрированная в ходе подземной экспедиции конца 1939 г. Детско-подростковые приступы отчаяния и ужаса к тому времени были если и не изжиты, то взяты под контроль. А завершающие дневниковые записи, посвященные трагическим обстоятельствам первого месяца войны, включая смертоносные вражеские налеты, пронизаны абсолютно отстраненным исследовательским подходом. Так, испытав в первый миг сирены, предупреждающей о бомбардировке, прилив *«неприятного чувства, которое было для меня чуждо и ново»*, далее он от него освободился, отчужденно фиксировал чужие реакции на угрозу жизни и даже пытался шутить то с насмерть перепуганной двоюродной сестрой, то людьми, собравшимися в бомбоубежище. Очевидно, что к тому времени он имел определенное представление о способах укрощения той, которая от начала века неумолимо довлела над людским родом.

На эту сторону дела проливает свет ключевой фрагмент дневника (от 26 июня 1941 г.), посвященный размышлениям о войне и

послевоенным перспективам. Приведем его полностью и попробуем выявить его подтекстную, не эксплицированную информацию.

*Очень прискорбно видеть, что в данное время силы науки работают на уничтожение человека, а не для завоевания побед над природой.*

*Но уж когда будет разбит последний реакционный притон на Земле — тогда, воображаю, как заживет человечество! Хотелось бы и мне, черт возьми, дожить до этих времен. Коммунизм — великолепное слово! Как оно замечательно звучит рядом с именем Ленина! И когда поставишь рядом с образом Ильича палача Гитлера... Боже! Разве возможно сравнение? Это же безграничные противоположности: светлый ум Ленина и какая-то жалкая злобная мразь, напоминающая... да разве может Гитлер что-нибудь напоминать? Самая презренная тварь на Земле способна казаться ангелом, находясь рядом с этим отпрыском человеческого общества.*

*Как бы я желал, чтобы Ленин сейчас воскрес!.. Эх! Если бы он жил! Как бы я хотел, чтобы эти звери-фашисты в войне с нами почувствовали на своих шкурах светлый гений нашего Ильича. Уже тогда бы они сполна почувствовали, на что способен русский народ.*

На первый взгляд данный отрывок состоит из не связанных между собой суждений. Однако это только видимость, вызванная тем, что автор прибегает к сознательной шифровке своих мыслей за счет опущения отдельных логических связей и использования субститутивных (заместительных) обозначений некоторых понятий.

Первая фраза строится на противопоставлении двух функций науки. С одной стороны, это «уничтожение человека», с другой... В привычной системе координат антитезой «уничтожению» человека является сбережение, сохранение жизни. Однако Лева имел в виду отнюдь не этот распространенный антоним — в противном случае он не прибег бы к завуалированному описательному определению — «завоевание побед над природой». В своем имплицитном смысле оно отсылает, с одной стороны, к законам природы, неподвластным в текущем времени силам науки. С другой — к потенциальному общему торжеству человечества благо-

даря победам этих же сил. Именно таким смыслом индуцированы вытекающие из первой второй и третьей фразы отрывка, в которых Лева говорит соответственно о предстоящем качественном позитивном переломе жизни на земле и о своем страстном желании заставить это время.

В этом контексте значение рассматриваемого словосочетания может быть только абсолютным и полным антиподом «уничтожению человека» и в расширительной логике подлежит восстановлению как «реконструкция, воссоздание» человека. Для эксплицированного выражения мысли Лева требовалось добавить лишь одно прилагательное: «завоевание побед над *смертной* природой». Однако сама заявка столь беспрецедентна и сомнительна для читателя, что автор прибегает к ее маскировке.

И тем не менее дающая зачин всему рассуждению первая фраза в своей пресуппозиции (смысловой презумпции) утверждает возможность науки овладеть воскресительными технологиями и тем самым обеспечить бессмертие человечеству. По сути, все последующие фразы отрывка, связанные друг с другом линейной прогрессией, нанизываются на эту опущенную, но подразумеваемую посылку. Являясь ремой первого, она становится темой второго, сложно по своему строению высказывания. (Без ее учета нить связного повествования прерывается, и в изложении возникает немотивированный скачок от «завоеваний побед над природой» к разгрому «*последнего реакционного притона на земле*»). Именно на эту посылку сориентированы два придаточных оборота второго высказывания. Если первый указывает на решающее условие реализации этой великой миссии науки — искоренение очагов зла и насилия (*Но уж когда будет разбит последний реакционный притон на Земле...*), то второй — на грандиозный результат, которым она увенчается (... *воображаю, как заживет человечество!*). По замечанию выдающегося отечественного лингвиста Н. Д. Арутюновой, модус восприятия (в данном случае: «*воображаю*») вместе с «как — придаточным» всегда образует событийное словосочетание, в котором местоимение «как» замещает зависимое от глагола наречие, даже если это наречие не эксплицировано<sup>16</sup>. В рассматриваемом предложении такое наречие или даже группа наречий легко выделяется из контекста: «... как безгранично счастливо, полноценно *заживет человечество*».

---

<sup>16</sup> Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М., 1998. С. 423.

По логической конструкции второе высказывание представляет собой энтимему, то есть усеченный силлогизм, который преобразуется в полный путем введения основания:

Силы науки обеспечат торжество человечества в бессмертии после очищения его от социального и нравственного зла.

Очищение человечества от зла состоится в результате разгрома последнего реакционного притона на земле.

Силы науки обеспечат торжество человечества в бессмертии после разгрома последнего реакционного притона на земле.

Третья фраза, хотя и не вносит новых штрихов в дескрипцию общества, способного применить эти технологии, однако же ярко выраженным эмотивным модусом (... *хотелось бы мне, черт возьми, дожить...*) поддерживает намеченный ранее его идеальный образ. Наконец, четвертая фраза дает его точное название как коммунизма. В сущности, все первые четыре высказывания (до упоминания имени Ленина и его сравнения с Гитлером) имеют это же понятийное вхождение. В референциальной плоскости данный концепт последовательно развертывается как человеческое общежитие, преодолевшее внутри себя субстанциональное зло в итоге уничтожения последнего оплота реакции в мире; как общежитие, опирающееся на научные технологии воскрешения умерших и утверждения бессмертного статуса человечества. Эти признаки агрегируются оценочным заключением: «*Коммунизм — великолепное слово!*», а далее проецируются на образы Ленина и Гитлера. (*Как оно замечательно звучит рядом с именем Ленина! И когда поставишь рядом с образом Ильича палача Гитлера...*)

С формальной точки зрения попытка приложения имени Гитлера к формуле коммунизма является nonsensом. Точно так же лишено всякого смысла соединение имен Ленина и Гитлера, в Левином понимании — *безграничных противоположностей*, в некоем общем ментальном пространстве. Однако в свете заложенного в коммунистический проект упразднения факта смерти такая мысленная операция получала свое обоснование. В логической перспективе досрочного внедрения этого проекта политические антиподы обретали бы равные шансы, а, по-другому говоря, волею незрелого общества, завладевшего экстраординарными ресурсными возможностями, и тот, и другой получили бы право занять место в рядах бессмертных (т.е. быть *поставленными рядом*). Это допущение от-

крывает еще одну сторону авторского восприятия воскресительно-го акта — как общественного дела, базирующегося на коллективном волеизъявлении и коллективном участии всех представителей мирового сообщества. (Грамматически эту всеохватность подчеркивает обобщенно-личный тип предложения «И когда поставишь...» с использованием глагола второго лица, всегда отражающим максимально широкую субъектную включенность в сферу описываемого действия)<sup>17</sup>.

Последующее сопоставление двух фигур мировой политики предельно заостряет вопрос об опасности преждевременной реализации поставленной цели. В этих суждениях имена Ленина и Гитлера выступают как бинарная оппозиция, олицетворяющая метафизическую борьбу света и тьмы. Эти коннотации присутствуют в семантических полях словосочетаний: *светлый ум*, *светлый гений Ильича* и *палач Гитлер*, на фоне которого *самая презренная тварь на Земле способна казаться ангелом*. Иначе говоря, гитлеровская сущность внеположна таксономии земного зла, а стало быть, соотносима разве только с Люциферовой демиургией Космоса. Именно поэтому ее соприсутствие самому великому событию в истории землян чревато извращением крупнейшего гуманистического замысла с катастрофическими последствиями вселенского масштаба.

И все-таки в последних фразах отрывка Лева дает волю своим чувствам, пытаясь представить возвращение Ленина на историческую сцену *сейчас*, то есть в то самое время, когда *звери-фашисты* терзают родину. Он уверен: в этом случае *изверги-гитлеровцы на своих шкурах сразу бы и сполна почувствовали, на что способен русский народ*.

По разумению Левы, временной промежуток, который отделял его самого и его современников от этого поворотного момента мировой истории, не слишком велик, во всяком случае, он надеялся встретить его на своем жизненном веку. Он был убежден, что СССР выйдет победителем в войне с Германией, несмотря на высокую цену, которую придется уплатить за этот итог. Он был уверен в том, что в результате светоносной победы на путь общественно-политического развития, проложенный Советским Союзом, повернут и другие страны мира. Таким образом, сформируются социальные предпосылки, отвечающие предстоящим кардинальным изме-

---

<sup>17</sup> Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М. МГУ, 1998. С. 120.

нениям человеческого существования. Этому не сможет помешать и вероятное противоборство СССР с США и Великобританией:

*Может быть, после победы над фашизмом, в которой я не сомневаюсь, нам случится еще встретиться с последним врагом — капитализмом Америки и Англии, после чего восторжествует абсолютный коммунизм на всей Земле, но эта схватка уже не должна и не может все же быть такой свирепой, как нынешняя наша схватка с фашистской Германией, ибо то будет встреча единиц более близких.*

Итак, похоже, раскрыта главная интрига Левиной жизни, манившая и одновременно дразнившая некоторых его друзей (вспомним характеристику Лени Карася). Она дает основания увидеть за его исканиями влияние философии «общего дела» Н. Ф. Федорова, хотя и воспринятой в ее секулярной версии. Место, время и обстоятельства открытия им этого учения остаются «за кадром». Быть может, труды философа, изданные после смерти его последователями, имелись в библиотеке Федора Каллистратовича Федотова, быть может, к ним привлёк внимание мальчика кто-то из взрослых знакомых семьи. В равной степени, возможно, что в библиотеке кого-либо из жильцов своего знаменитого дома он мог натолкнуться на сборник «Вселенское дело», положивший начало в 1914 г. постоянному федоровскому движению. Эти семена, кто бы их ни уронил, упали на благодатную почву: целенаправленный интерес к этой теме прошел через всю его осознанную жизнь.



\*\*\*\*\*

Многие прямые и косвенные факты указывают на то, что практические устремления в этом генеральном направлении для него были сопряжены с палеонтологическими разысканиями. На палеонтологию как на страсть друга детства указывал Трифонов в романе «Исчезновение»: литературный персонаж, замещающий Леву, совершал бесстрашные одиночные вылазки в подмосковные пещеры, иногда увлекая туда друзей и даже создал конспиративную организацию «Общество по изучению пещер и подземных ходов» (ОИППХ). Правда, назначение этих обследований в романе оставалось малопонятным для привлеченных членов тайного общества. О научно-фантастическом романе, которым Лева занимался в последний плодотворный период жизни февраля—апреля 1941 г., оставил краткое свидетельство Михаил Коршунов. По его словам, в нем шла речь о скрытом под землей невредимом очаге доисторической жизни, с фауной и флорой, давно исчезнувшими на поверхности земли. Это и был «подземный клад» в гигантской пещере с зелеными окаменелостями, бывшими некогда зеленым океаном. Он был найден группой современных естествоиспытателей по своеобразным меткам, оставленным древними людьми<sup>18</sup>. Текст этого произведения Лева тщательно отделял: по воспоминаниям М. Коршунова, он собирался его отдать для прочтения, а, возможно, и для публикации известному писателю и журналисту Александру Исбаху, с которым хорошо был знаком еще его отец<sup>19</sup>. Однако война, уход на фронт Исбаха и отъезд Левы в эвакуацию помешали этому плану.

А вот художественная иллюстрация Левы, сделанная весной 1941 г., к тому же или другому своему роману «Кобольд, или путешествие в недра земли». Название рисунка — «Кобольд, или В пещере горного короля» — дает право на отнесение его и к тому, и к другому литературному опыту Левы. Несмотря на то что рисунок, как и романы, не сохранился, подробное описание его привел сам Лева в дневнике. По его же собственным показаниям, он изобразил гигантскую пещеру, заполненную безмолвными духами подземного короля, растущими из земли и из стен в форме косматых голов каменных старцев. В отличие от тяжеловесных неподвижных под-

---

<sup>18</sup> Коршунов М., Терехова В. Указ. соч. С. 36.

<sup>19</sup> Там же. С. 179.

данных король духов, не имевший тела, а только голову, состоял из газообразного вещества, наподобие молочной дымки. Размеры и пещерного королевства, и его обитателей, как подчеркивал сам автор, превосходили любые наземные мегалитические сооружения. Если бы главному властелину этих мест *«предложили нью-йоркские небоскребы, он их глотал целыми сотнями и только тогда бы заметил, что он действительно поглощает «какую-то мелочь».* Антропоморфные черты ископаемых, хотя бы и на иллюстрации к научно-фантастическому роману, указывают на определенный параллелизм наземных и подземных природных обитателей, в частности на возможность разумной и одухотворенной населенности вторых в материальных формах, которые для первых считаются безжизненными. Конечно, это только полуоформленная гипотеза, к тому же поданная в художественно-фантастическом жанре, который вообще «заточен» на продуцирование невероятных идей. И тем не менее, судя по страстной приверженности Левы сюжету подземной жизни, превосходящей размахом и формами наземную, можно заключить: здесь для него был сокрыт важнейший ресурс человечества.

О том, насколько мощно целенаправленное обследование пещер и подземелий владело его воображением, можно судить и по косвенному признаку. Данную перспективу он не выпускал из виду, даже совершая восхождение на верхнюю смотровую площадку Исаакиевского собора в начале 1941 г. На это прямо указывает набор слов и выражений, явно относящихся к сценарию погружения в полости земли, а не к покорению высоты. Так, согласно Левиному отчету, они вместе с Женей Гуровым продвигались через *мрачный коридор*, темноту которого изредка прореживали *голубые лучи, называвшиеся, конечно, не иначе как дневным светом*; далее лестница выходила в *своеобразную котловину*. За верхними колоннами *шла пропасть*, а ползли они *вверх, как ящерицы*.

На то же место предстоящей работы был сориентирован и ряд тех навыков, которые он неустанно шлифовал. Это — жесткая физическая закалка и подготовка, рассчитанная на длительные пешие переходы и работу в условиях резкого перепада температур. Это, пользуясь психологической терминологией, формирование интернального локуса контроля, повышающего степень самозащиты и ситуативного управления со стороны индивида. Как максимум — это давало шанс отразить атаку неизвестного противника, способ-

ного вынырнуть из густой мглы подземелья. Пожалуй, единственным способом снять страх, замешательство и умножить ресурс сопротивления в таком положении было вхождение в измененное состояние сознания, которое у римских легионеров определялось понятием *figo*, а у русских ратников — «ярение». Мы знаем, что оно было подвластно Лева. Регулировать эмоциональный настрой в малоприятной обстановке помогали устраивавшиеся им аутотренинги, хотя, конечно же, он не пользовался подобным определением своих занятий. Но ведь именно так можно квалифицировать уже упоминавшиеся опыты, которые он сам определял как проведение оперы «Аида» у себя в сознании: вначале он это делал дома в расслабленном состоянии, а затем — по дороге в Ленинград, под грохот поезда и шум в вагоне. Используя любимую музыку Верди, Лева заставлял сознание работать одновременно в нескольких регистрах: и стереофонически, хотя и только мысленно, воспроизводить музыкальный текст, позитивно влияющий на психологическое состояние, и исполнять запланированные дела. Опыт погружения в подземелье, с зафиксированным нагнетанием дискомфортных ощущений поставил перед ним задачу устранения этой неполадки, а Лева решал ее, как всегда изящно и эффективно с помощью незаменимой «Аиды».

К этому же запасу незаменимых в подземных глубинах умений следует отнести способность создать фотографически точную зарисовку объекта наблюдения. Именно этой задачей, надо думать, и был мотивирован его отказ в старших классах от посещения Центрального Дома художественного воспитания. Здесь от учеников добивались выработки авторской художественной манеры, эмоциональной передачи увиденного, в то время как ему было необходимо только набить руку в технике воспроизведения природы — ведь фотоаппараты его времени не были рассчитаны на съемку в темноте.

Некоторые наметки ожиданий, которые он связывал с будущей деятельностью, открываются из записанных разговоров с родственниками. Так, в конце 1940 г. на вопрос дяди о том, какие же отрасли знания его привлекают больше других, он ответил:

*Больше всего меня влекут к себе биология и геология — природо-ведческие науки; природа, короче говоря.*

*— Да, природа — это самое интересное! — согласился мой дядя. — Тут я с тобой согласен... Зоология, ботаника — это самое*

*занимательное из того, что я знаю. В природе нет каких-нибудь злых хитростей, там все просто — умеи только правильно разглядывать и открывать ее законы!*

*Эти слова Исаака мне очень понравились.*

Отголоски данной беседы с полюбившейся Лева формулой изучения природы доносятся и в разговоре с двоюродной сестрой Раей о выборе будущей области профессиональных занятий, которую он определял так:

*... геология в лице минералогии и палеонтологии и биология в лице зоологии. Теперь остается ждать,.. какая из них победит другую. А для жизни человека обе они чрезвычайно важны: геология питает промышленность и многие другие отрасли хозяйства своим изучением и использованием минеральных богатств, а зоология помогает человеку развивать свое хозяйство, улучшать продукты питания и даже разгадывает новые загадки в природе, ответ которых помогает жить, давая новую энергию нам.*

Дневник передает сухой и немногословный отклик собеседницы на это заявление: она коротко одобрила его выбор. Однако, вероятнее всего, ответ ее не сильно заинтересовал. Да это и неудивительно: только чуткий слух, настроенный на Левину «волну», за этим полупризнанием мог уловить нечто большее, чем банальное рассуждение о народнохозяйственной пользе геологии и биологии и метание между этими науками разбросанного юнца. И тем не менее, пусть витиевато и нескладно, в конце монолога Лева проговаривается любимой двоюродной сестре о заглавном предмете своих исканий. По его словам, он был связан с некоторой завораживающей тайной природы, обещавшей новый источник энергетического жизнеобеспечения человека. Что же касается неоконченного спора двух наук, то, по всей видимости, сам факт этих колебаний указывает на особенность его мышления. Похоже, грань между живой материей, подлежащей ведению зоологии, и неживой, «подведомственной» геологии и палеонтологии, по меньшей мере, в пространственных границах подземной среды для него была подвижной — в противном случае априори победу бы одержала зоология с ее интригующей «загадкой»!

Была ли заявка Льва Федотова порывом юношеской самонадеянности, а, если нет, то как далеко ему удалось продвинуться на

взятом направлении? Его хронологический расчет, связывающий с послевоенным переустройством мира переход к новому эволюционно-биологическому циклу развития человечества, как будто свидетельствует в пользу некоторого определившегося плана. Можно уверенно говорить о ключевой роли в нем палеонтологических изысканий и догадываться о его направленности на претворение ископаемых остатков давно угаснувших жизней в источник новой витальной силы для человека. Возможно, некая эвристическая идея такого рода впервые блеснула у него летом 1938 г. по ходу осмотра пещер Звенигорода и других занятий натуралиста. Именно тогда и мать, и друзья получили от него по весточке — две одинаковых почтовых открытки с крупно напечатанной на лицевой стороне датой 26 июня 1938 г., на которую были назначены выборы в Верховный Совет РСФСР. Среди нескольких малозначащих фраз об отдыхе он убедительно просит обоих адресатов во что бы то ни стало сохранить этот продукт советской полиграфии. Друзья Левы — Миша Коршунов и Вика Терехова еще много десятилетий спустя будут гадать, что бы значила эта просьба. А журналист и исследователь Ю. Росциус в духе своей генеральной «провидческой» версии предположит, что так Лева иносказательно сообщал о дне и месяце своей скорой гибели (хотя, согласно официальному извещению, полученному матерью, она произошла 25 июня 1943 г. под Тулой). Однако, скорее всего, таким способом Лева устанавливал первую метку на маршруте, который должен был привести его к искомому результату. Можно думать, что следующие вехи проходили через некоторые рисунки Левы, и роман «Подземный клад», где сюжет выстраивался с помощью того же приема «меток» — указателей, ведущих поисковиков к уникальной находке. Не случайно поздней весной 1941 г. он заказал знакомому фотографу-любителю снимки своих рисунков, надежно, как ему казалось, упрятал рулон белых обоев с летописью земли, тетради с литературными произведениями. Из их фрагментов наподобие собранного пазла могла бы сложиться более детальная и ясная картина. Однако война унесла материалы его большой проектной работы, за исключением нескольких тетрадок дневника.

За исканиями московского школьника усматривается воздействие мощного потока идей, восходящих к «русскому космизму». Это и учение В. И. Вернадского, указывающее на наличие непрерывного тока атомов между живым и косным веществом биосферы,

а также на развитие центральной нервной системы и увеличение объема мозга (цефализацию) как магистральную линию в эволюции человека. Этой концепцией навеяны образы голов — пещерных насельников на иллюстрации Левы. Это и идущие в русской традиции от В. С. Соловьева идеи гилозоизма, то есть всеобщей одушевленности, а также перекликающаяся с ними гипотеза К. Э. Циолковского о духо-атомах, присущая материи. Именно они, по мнению калужского «мечтателя», обуславливали бесконечные переходы органического вещества в неорганическое и обратно и мотивировали достижимое бессмертие.

В предвидениях русских космистов о переменах в образе существования и физическом строении землян по ходу колонизации космоса коренился интерес Льва Федотова к неоконченной эволюции живой природы, включая и человека. Так, в конце 1940 г. и в начале 1941 г. он трудился над последней из своих монументальных работ — художественной летописью Земли. Единственный видевший ее в готовом виде — Михаил Коршунов — свидетельствовал: «Это было лучшее из Левкиных творений...» Рулон белых обоев, который за счет подклеек мог легко удлиниться, как нельзя лучше подходил для выражения непрерывного и неоконченного процесса изменения форм и условий жизни. На нем были изображены плавающие, ползающие, бегающие, летающие биологические особи...<sup>20</sup> Продолжение почти угадывается: после освоения высокоорганизованной жизнью воды, земли и атмосферы на очередь дня поставлены недра земли...

И, конечно же, в базовом послыле — мечты московского школьника шли от Н. Ф. Федорова, провозгласившего священной обязанностью «сыновей» возратить к жизни «отцов» и жить в мире и согласии со всеми и для всех. Прямая связь с Федоровым проявилась и в его изначально взятом курсе на претворение самой головокругительной мечты о победе над смертью, в обход научно-фантастических грез 1920–1930-х о сохранении человеческих жизней путем пересадки органов животных или пролонгации автономной жизнедеятельности мозга после утраты тела. (Вспомним беляевских Ихтиандра, голову профессора Доуэля или опыты булгаковского профессора Преображенского). И в представлении о возможности продолжения духовной сущности человека, как бы она ни была названа (душа, психика), только на основе материального субстрата.

---

<sup>20</sup> Коршунов М. Белый рулон. С. 11. // Личный архив автора.

При желании нетрудно обнаружить зеркальное отражение ряда фундаментальных правил зачинателя учения «патрофикации» (воскрешения отцов) и в образе жизни и мыслей его юного советского продолжателя. Аскетизму Федорова, в частности, его обыновению довольствоваться самым малым в еде, обходиться без верхней одежды зимой, трудиться по восемнадцать-двадцать часов в сутки — корреспондировали аналогичные спартанские привычки и подвижнические принципы Левы, о которых уже известно читателю. Можно думать, что от Федорова и его грез о воскрешении предков как субституте физического рождения в будущем, отменяющего привычные отношения полов, шло и специфическое отношение Левы к прекрасной половине человечества. Конечно, за выраженной им позицией стояла и весьма эффективная советская политика социального уравнивания гендеров. Однако страстность, с которой восемнадцатилетний юноша декларировал свое отношение к женщине только как к товарищу, явно отягощена глубинными убеждениями, выходящими за пределы советской практики эмансипации и вовлечения женщин в общественную жизнь. Безграничному альтруизму философа из Румянцевской библиотеки вполне соответствовал идеалистический посыл советского подростка «быть полезным» стране и обществу, безотносительно к социальному признанию своих заслуг — он не только высказывал это кредо, но и воплощал его в своей жизни.

И все-таки даже при таком большом количестве неслучайных совпадений Лев Федотов явно нащупывал свой подход к решению той грандиозной задачи, которую выдвинул великий философ. Так, московский школьник расходился с автором «общего дела» в аспекте социальных предпосылок проекта: если Федоров, убежденный противник и социализма, и капитализма, видел его осуществление на путях строительства православного психократического царства, то Федотов уверенно связывал его с коммунистическим будущим, притом скрытым не за дальним горизонтом. В этом представлении он отличался и от с «федоровцев» 1920–1930-х гг., усматривавших в советской власти инструмент воплощения некоторых предвидений, вроде регуляции природных сил, научной организации труда, но не предельного идеала учителя. Наконец, его характеризовала и всемерная готовность перейти от разговоров к делу, мотивированная полудогадкой–полугипотезой о возможном обретении витальных источников на направлении палеонтологических разысканий.

Нужно признаться: эта идея не подлежит верификации даже на сегодняшний день, хотя с довоенных времен науки о земле проделали гигантский прогресс, а проблема иммортализма вышла на уровень научного признания и транснационального движения!

Конечно, Лев Федотов находился в начале своего поиска. На этом этапе были преждевременными любые многообещающие заявления, что, собственно, и удерживало его от связного изложения своей идеи — ей следовало предпослать доказательную базу, дать концептуальное оформление. А вес слова, устного или письменного, в его универсуме был выше того значения, которым оно наделялось в обывательском обиходе. Он и сам заявлял об этом, хотя вроде бы и по поводу, никак не связанному с высокими материями. Так, имея уже гарантию получения билета в Ленинград в канун 1941 г., на расспросы знакомых о своем отъезде он предпочитал отвечать неопределенно:

*Вообще... у меня такой существует закон: ни в коем случае никогда не говори заранее. Вот и сейчас! Меня даже, если и спрашивают, еду ли я в Ленинград, я никогда не говорю «еду», а отвечаю: «вероятно» или «может быть». Я буду уверен в поездке лишь тогда, когда билет будет у меня в руке.*

Так что же остается в сухом остатке от этой потенциально плодотворной и прерванной на восходящей стадии деятельности? Только смутные предположения о том, что истина для ищущих бессмертия сокрыта в недрах планеты, а ее полости со временем могут стать средой обитания землян, поменявших свой энергетический и психофизиологический режим существования. Только дерзкая мечта о воскрешении предков и наступлении золотого века на планете после разгрома фашизма и победы СССР над Великобританией и США в результате нового столкновения, хотя и не такого кровавого и ожесточенного, как с нацистской Германией. Еще остается его самоподготовка для будущего осуществления проекта. Как будто совсем немного для того, чтобы феномен Льва Федотова делать объектом серьезного внимания.

В общем-то при желании и переосмысленную им концепцию Федорова можно представить как соединение двух утопий — биокосмической и коммунистической — и на основании этой квадратной степени дезавуировать как предмет анализа. К такому логическому выводу подталкивают и оценочные суждения, воз-



веденные в постсоветский период в ранг бесспорных истин. Так, по авторитетному мнению известного американского русиста и советолога Р. Стайтса, темы предельных возможностей, которыми были одержимы революционные романтики 1920-х, — бессмертия и освоения космоса — являлись коррелятом состояния невежества и варварства, в котором столетиями пребывала вся Россия, за вычетом ее тонкого образованного слоя. Особенно протivoестественной выглядела погоня за этими миражами для страны, у которой физический потенциал был подорван революцией и Гражданской войной, а деревянная соха и гужевой транспорт составляли примету повседневной жизни. Впрочем, по мнению Стайтса, культ науки и машинной техники не был специфически российским явлением, а отражал общую тенденцию отсталых обществ, находящихся в процессе революционной трансформации. Что же касается увлечения идеями бессмертия, то оно концентрировало в себе некую блуждающую ментальность, основанную на хилиастических чаяниях народа и пророческой вере в способность изменить природу и ее законы<sup>21</sup>. С этой трактовкой коллективного сознания эпохи красных кумачей, пожалуй, можно было бы согласиться, если бы не одно «но»: деградация отечественной фундаментальной науки и развал космической отрасли, сопровождающие весь постсоветский период развенчания «коммунистической утопии», перечеркивают нигилистический подтекст подобных характеристик.

Да и сама коммунистическая идея, шагнувшая из области теории в практику социального переустройства, в глазах современников являла собой куда более сложный продукт, чем ее художественные проекции в курсах по марксизму-ленинизму и пропагандистских лозунгах. Не случайно в ряде фундаментальных трудов постсоветского времени акцентируется мистериальный смысл, притянувший к ней самые неожиданные движения — от староверчества и народного религиозно-мистического сектантства до «богоискателей» Серебряного века и интеллектуалов, группировавшихся вокруг литературного сборника «Скифы». По определению А. Дугина, русский национал-большевизм, сложившийся на базе этой идеи и взявший на себя ее воплощение, был модернистским инвариантом мессианских чаяний русского народа, его стремлений к созданию тысячелетнего царства, основанного на принципах справедливо-

---

<sup>21</sup> Stites R. *Revolutionary Dreams: Utopian Vision and Experimental Life in the Russian Revolution*. New York: Oxford University Press, 1989. Pp. 168–170.

сти, правды и равенства. Подобно Традиции, тянувшейся к преодолению границ как помехи полного бытия, национал-большевизм изначально был направлен на преодоление географических и онтологических барьеров<sup>22</sup>.

Эти интенции, как известно, получили свое преломление, с одной стороны, в теории и практике мировой революции. А с другой... в устремленности к покорению космоса, наряду с подготовкой человеческого организма и психики к вселенской экспансии. При этом, предваряя взнеземую колонизацию и клонирование в ее ходе своего жизнеустройства, в смысловом горизонте революции ветхий человек должен был уступить место творцу и созидателю, не отягощенному пороками старого мира. Эта идея, поставленная во главу угла культурной революции большевиков, имела глубокие корни. В ее истоках отчетливо различим религиозно-мистический зов, взыскующий возвышения человека до соратника Божьего в незавершенном деле творения мира. Зародившись в исканиях духовных «столпов» образованного российского общества рубежа XIX–XX вв., сектантском народно-утопическом творчестве и эзотерических практиках, эта ударная волна российского религиозно-философского ренессанса прошла через революцию и на выходе была оседлана большевиками. И хотя первые глашатаи этой парадигмы духовного роста навряд ли согласились бы признать в тех своих наследников, именно они приступили к ее претворению в жизнь. Так, идеократическим режимом, по сути, был запущен гигантский плавильный тигль, в котором наработки Серебряного века, соединяясь с идейными максимумами коммунистических теоретиков, синтезировались в новые этические регламенты и заново создаваемую священную историю. На фоне начатой тотальной переделки старого мира рождение человека новой формации уже не казалась несбыточным упованием.

Его черты с большей или меньшей отчетливостью выразились во всем поколении рожденных под знаком революции. В духовно-культурном коде этой генерации соединились революционный романтизм, примат духовных ценностей над материальным благополучием, вера в неисчерпаемые силы и возможности строящегося общества, пассионарность. Неотъемлемую часть этого мироощущения и связанной с ним преобразовательной деятельности составлял

---

<sup>22</sup> Дугин А. Тамплиеры пролетариата. Национал-большевизм и инициация. М., 1997. С. 52, 95–96.

феномен космизма. По определению современного исследователя, его квинтэссенцией является «переживание человеком целостности мира, своего единства с космическим целым»<sup>23</sup>. Присутствуя в одних персоналиях более зримо, в других — стерто, это мироощущение, тем не менее, принесло поразительные плоды. Так, уже в 1920-е в России появилось Общество изучения межпланетных сообщений, включавшее в себя около 200 членов. Поддерживая связь с К. Э. Циолковским и Ф. А. Цандером, после проведения в 1926 г. московской выставки по исследованию мировых пространств, оно самораспустилось по причине... невозможности практических занятий<sup>24</sup>. Тем не менее на протяжении всего третьего десятилетия XX в. биокосмизм с его лозунгами интерпланеризма и иммортализма оставался одним из самых интригующих и захватывающих направлений научной мысли, в особенности для молодого поколения. Новый всплеск общественного интереса к этим проблемам породило торжественное празднование 75-летия К. Циолковского в 1932 г. в масштабах всего СССР. Несмотря на редкость обращений к этой теме в пространстве СМИ последующих лет, идея продолжала волновать умы. Постоянную подпитку в техносфере ей давали прогрессирующее отечественное авиастроение и рекордные авиаперелеты второй половины 1930-х, массовое увлечение авиамоделированием и парашютным спортом. В художественном творчестве — запечатленные на холсте космические мотивы и образы живописцев из объединения «Амаравелла», литературные прозрения А. Толстого, А. Беляева, Л. Леонова, В. Итина, В. Обручева.

Эти процессы имели самое непосредственное отношение к нашему герою. В его картине мира наиболее рельефно отразились присущие космическому сознанию черты. Это — вытекающая из принципа духовно-материального единства мира и всеобщей взаимосвязи вещей выверенная и ответственная жизненная позиция. Прежде всего, она подразумевала жесткое самоограничение и самоконтроль во всем, что касалось затрат на себя от ресурсов планеты, и, наоборот, щедрую отдачу сил и творческой энергии ради приумножения совокупного блага всего живого планетарного ве-

---

<sup>23</sup> Козютинский В. В. Космизм и космическая философия. // Освоение аэрокосмического пространства: прошлое, настоящее, будущее. Избранные труды X Московского международного симпозиума по истории авиации и космонавтики. М., 20–27 июня 1995 г. М., ИИЕТ РПН, 1997. С. 140.

<sup>24</sup> Изюмова Ю. А. Общественная мысль Советской России: футурологические проекты научной интеллигенции 1920-х годов. Канд. дисс. Самара, 2006. С. 62.

щества. В этом отношении Лев Федотов неукоснительно следовал моральным заповедям космизма, который подчас исследователи называют панморалистичным учением. Именно его адепты возвели этическое начало в ранг управляющей силы мира. А по части трудных предписаний своего образа существования они могли дать фору как монашеству, так и средневековому рыцарству, хотя за их императивами стояла совсем другая философия<sup>25</sup>.

«У него было планетарное мышление. Он чувствовал землю как планету, видел целостную картину мира. Он и войну рассматривал как состояние ужаса планеты» — так кратко характеризовал философско-космическую парадигму Льва Федотова Михаил Коршунов<sup>26</sup>. Также примечательно, что в преддверии этого глобального вызова — на рубеже зимы — весны 1941 г. он вдруг безоглядно погрузился в творчество. И это невзирая на то, что впереди маячили трудные экзамены за девятый класс, к которым он явно не был готов, а восемнадцатилетнему «переростку», уже имевшему опыт второгодничества, совсем не улыбалась перспектива задержаться еще раз в одном и том же классе! Но именно в этот напряженный период, «защепившись» за болезнь горла как за временное избавление от школы, он почти безотрывно (разве только для короткого сна и нерегулярного приема пищи!) писал новые главы своих научно-фантастических романов. А, кроме того, создал серию проникновенных акварелей с ленинградскими видами, цикл картинок, посвященных «церквушке» (церкви Николая-чудотворца, что в Берсеневке), картину воображаемого Дворца Советов, вознесшегося на Волхонке. Вот как он сам описывал свой творческий «запой»:

*Я вставал чуть свет, чтобы лечь поздней ночью. И весь день напролет проводил за столом, забывая все. Я даже не питался, пользуясь случаем, что мамы обычно не было дома; тем более, что голода я не ощущал...*

Судя по записям, этот выбор творчества в ущерб урокам не был ни капризом взбрыкнувшего мученика учительской дрессуры, ни наваждением нахлынувшего вдохновения. В своих глубинных истоках он был предопределен, с одной стороны, потребностью в отреагировании тревожных ощущений, а с другой — стремлением к воссое-

---

<sup>25</sup> Алексеева В. И. Космизм о мире, человеке и обществе (концепции XIX-середины XX вв.). М., 2012. С. 5.

<sup>26</sup> Кучкина О. Указ. соч. С. 4.

динению с силами, действующими на противоположном полюсе от абсолютного зла. Если массовые смерть и насилие в его понимании рождали «ужас планеты» и истончали связь человека с космосом, то светоносные образы, появившиеся под кистью и пером любого человека, включая его самого, были устремлены к восстановлению исходного равновесия. Он знал: ничто не берется ниоткуда, как и не исчезает в никуда — любое усилие, физическое, эмоциональное или мыслительное, получает свое отражение в поле земли.

Разумеется, скептик вправе усомниться в основаниях этой убежденности. Пожалуй, и впрямь ее можно было бы принять за обольщение неискушенного разума, если бы не одно обстоятельство: со стороны мыслящего, пульсирующего вещества планеты, к которому были направлены его мысли, заботы и беспокойство, навстречу шла ответная волна. Именно здесь мы входим в соприкосновение с самым тонким и таинственным фактом биографии Льва Федотова: его умению предвосхищать ход событий.

Стоит сразу оговориться: эта способность не может быть объяснена средствами современной науки, равно как не может быть однозначно локализован ее источник. В терминах В. И. Вернадского, вероятно, он может быть охарактеризован как ноосфера, в терминах П. Тейяра де Шардена — точка Омега, видного советского философа А. К. Манеева — биопсиполе, в эзотерической традиции — эгрегор. Последний определяется как общее психосемантическое поле большой группы людей, связанных по какому-либо значимому признаку. По мнению современного исследователя, энергетически соединенный с другими подобными образованиями, а также с землей и космосом, эгрегор в состоянии наделить своего верного адепта помощью и озарениями, притекающими из глубин его собственного сознания или миров-отражений<sup>27</sup>. Близкое объяснение, хотя и на иной понятийной основе, можно почерпнуть у П. Тейяра де Шардена. По его мнению, сознание индивида, непрерывно растущее в унисон с общим эволюционным движением к сверхсознанию и планетизации человека, получает возможность присоединиться и ко всем центрам универсума, его окружающим<sup>28</sup>.

Как бы то ни было, но московскому школьнику было доступно опережающее отражение действительности, или, как он сам именует,

---

<sup>27</sup> Переслегин С. Возвращение к звездам. Фантастика и эволюция. М., 2010. С. 327.

<sup>28</sup> Тейяр де Шарден П. Феномен человека: Сб. очерков и эссе: Пер. с фр. М., 2002.

эту способность — «догадки». Распыленные в тексте дневника, они сосредоточены на двух обширных темах: биотехногенной эволюции и социально-политических перспективах будущего, в которые включена и история Второй мировой войны. Но и здесь следует подчеркнуть: сам автор дневника не только не был зациклен на продуцировании таких картинок будущего, но и не придавал им большого значения. Поэтому попытки некоторых современных толкователей представить его фигуру в ряду маститых прорицателей наподобие Нострадамуса, ясновидящих — американца Эдгара Кейси или болгарки — Евангелии Гуштеровой, заведомо искажают факты.

И все же что удалось увидеть Лева Федотову за гранью его текущего бытия? В рамках обозначенной первой темы следует отметить догадку о полете американских астронавтов в 1969 г., хотя и не Луну, как это имело место в действительности, а на Красную планету. Правда, реплика по этому поводу, вырвавшаяся у него в пылу увлеченного и легковесного разговора с соучениками, и не претендовала на серьезность. А вот более интересное и, по всей видимости, продуманное соображение: когда-нибудь, размышлял Лева, будет изобретена таблетка (микрочип?), которая при попадании в организм человека позволит управлять его волей и настроением! Похоже, что этому предсказанию сегодня могут предпослать некоторые реальные разработки. Однако, безусловно, приоритетное значение для этого тематического блока, как, собственно, и для всех исканий Льва Федотова имел прогноз бессмертия человечества наряду с преобразованием его телесной оболочки и обживанием подземных квартир. Однако он пока еще не может быть ни опровергнут, ни подтвержден.

Более представительной является подборка высказываний в рамках второго тематического блока. Идя от более частных к более глобальным проблемам, в первую очередь следует отметить предвосхищение им роковой роли войны в собственной судьбе. Это вполне трезвое осознание краткости оставшегося пути проступало во многих деталях. И в тоскливом чувстве, возникающем при расставании с родственником, уезжавшим из Москвы домой в конце 1940 г.

*Мне было не очень-то легко прощаться с ним... Я задавал себе вопрос, увижу ли я когда-нибудь своего дядю или нет?.. Мне теперь все в нем было дорого...*

Это и последнее «прощай!», мысленно сказанное любимому городу на Неве при отъезде в январе 1941 г., и жалость к материнской

доле, которую «заблаговременно» он высказывает Мише Коршунову во время совместных посиделок в бомбоубежище: «Знаешь, кого жалко? наших мамаш...»<sup>29</sup> Это, наконец, высказанная другу в самом начале войны твердая уверенность, что и он, «белобилетник» по здоровью, вместе с остальными сверстниками вскоре окажется там, где и положено быть — на фронте:

*Петя сказал мне, что хочет идти добровольцем на фронт, но его отстранили по здоровью. Я ему, конечно, посочувствовал, а затем поспешил успокоить тем, что придет время — мы все будем там!*

Впрочем, вряд ли такое предощущение всерьез что-либо меняло в его поведении.

Как уникальный факт можно отметить и его умелую ориентацию в пространстве нарастающего беспорядка и паники в Москве, взятой уже в начале войны под прицельный удар врага. То, что для массы жителей являло собой сплошное поле неопределенности и страха, для него дифференцировалось по признакам реальной или ложной опасности. Так, он знал наперед, что первая воздушная тревога, выдернувшая из сна москвичей 24 июня 1941 г., была учебной. Много ли было среди обезумевших людей, штурмующих входы в бомбоубежище, таких, кто это сознавал? А вот 22 и 23 июля при аналогичных обстоятельствах он был уверен, что тревога была настоящей. Но также ведал, что она не угрожает жильцам его дома. Эта уверенность стала причиной маленькой бури в стакане воды. При страшном налете немецких «ястребов» на Москву 22 июля, когда от грохота рвущихся бомб закладывало уши и сдавали нервы у обитателей бомбоубежища, он позволил себе рискованную шутку:

*— Полдома нет, — сказал я. Все дружно рассмеялись, но часть проснувшихся интенсивно выругалась по моему адресу, так как сейчас якобы, не время было шутить. Это говорили явно те, кто впал в полную трусость и панику.*

С первых же раскатов война стала проверкой на прочность его принципов: укоренившаяся привычка к самоконтролю не подвела. Впрочем, в его случае выдержку определяло и четкое видение перспективы событий, заметим, изложенное им за две с половиной недели до 22 июня! Именно этот фрагмент — с 78-й по 83-ю страницу

---

<sup>29</sup> Коршунов М. П., Терехова В. Р. Указ. соч. С. 167.

авторского текста XIV тетради, который и стал своеобразной визитной карточкой Льва Федотова в медийном пространстве, привлекает внимание своей неординарностью. Дар блестящего аналитика (интуитивиста, визионера?) здесь выявился не только в аутентичном сценарии военных действий, которые в этот момент только назревали. Не только в предвидении реальных и конкретных поражений, а потом и грандиозного реванша Красной армии, не только в предсказании распада гитлеровского режима еще до кончины его предводителя. И не только в провидении кардинальных геополитических сдвигов в мире в результате великой победы СССР. За фасадом множественных явлений войны для него была открыта их метаисторическая подоплека, выражавшаяся в тяжелом одолении всеми элементами мыслящей оболочки земли грязных пятен, которые посадила на ней взбесившаяся нечисть. На импульсе этого завершенного правого дела, по его представлениям, объединившееся человечество получало возможность осуществить идеал жизни для всех и со всеми, кто когда-то ступал по земле.

Осмысленная этой перспективой собственная жертва казалась лишь самой малой платой за право участвовать в приближении великой цели.



\*\*\*\*\*

Какое же отношение ко всей рассказанной истории еще не наступивших времен имел дневник? А самое прямое: он изначально рассматривался автором как подспорье тому передовому отряду, который поставит на практические рельсы реализацию «общего дела». Такая мотивация ведения дневников была характерна для многих последователей Н. Ф. Федорова, ставивших за цель донести каждую сколько-нибудь важную деталь и о себе и о тех, с кем были знакомы<sup>30</sup>.

Скорее всего, именно в предчувствии подступающей к границам СССР военной катастрофы с конца 1939 г. он перестроил работу над дневником в соответствии с федоровской концепцией хранилища информационных данных личности, обуславливающего возможность повторной «сборки» ее структуры. Такой шанс он предусматривал и для себя в случае, если ему самому не доведется принять участие в предсказанной реорганизации жизни на земле. А в том, что морально окрепшее, преображенное человечество раньше (возможно, с его участием) или позже (вероятно, без него) захочет и сможет вернуть предшествующие поколения, он нисколько не сомневается. Собственно, его короткая сознательная жизнь, пронизанная поисками алгоритма решения данной задачи и даже подготовленными подземными «квартирами» для громадного пополнения землян, служила подтверждением этой убежденности.

Прояснившееся прикладное назначение дневника проливает свет на отмеченные ранее парадоксы. Это назначение обуславливало его сознательное уклонение от изложения чужих идей и концепций, как бы они ни были увлекательны и, наоборот, методичную фиксацию собственных мыслей, наблюдений, реакций, поступков, самовыражения по ходу диалогов-столкновений и диалогов-рассуждений. Как добросовестный испытатель, Лева старался запечатлеть себя в аутентичном облике. Правда, необходима существенная оговорка: с учетом неординарности его основополагающей идеи, так и возможности попадания дневника в руки критически настроенного читателя часть сведений о себе автор скрыл за недомолвками или непрозрачными намеками. Однако остающийся архив, судя по стараниям его сохранить, был бы способен восполнить этот пробел.

---

<sup>30</sup> Дугин А. Указ. соч. С. 76–77.

Впрочем, даже дошедшие до нас части дневника и архива объемно и многомерно раскрывают личность автора. Близкое знакомство с этими материалами дает право утверждать, что главной пружиной его почти ежедневной хроники являлось не эгоистическое стремление заново войти в жизнь, а научный поиск. Подобно многим великим предшественникам в медицине и фармацевтике, апробировавшим свои открытия на собственном организме или завещавшим свои органы на дело спасения других жизней, Лева фактически предоставлял свою информационную матрицу в распоряжение исследователей будущего для отработки технологии воссоздания человека.

Насколько позволяет судить метод ведения дневника, его замысел не ограничивался собственной персоной. В перспективе осуществления «общего дела» актуальными становились любые точные свидетельства о каждой личности: в их перекрестных потоках открывалась возможность адекватного восстановления каждого, кто когда-то посетил этот мир. Вряд ли мы ошибемся, если предположим, что с помощью длинных диалогов, доносящих рассуждения, реплики и междометия собеседников, Лева пытался сохранить четкий информационный слепок всех тех, с кем сводила его судьба. Визуальные зарисовки и прямую речь «героев» его повествования можно сравнить с серией последовательных снимков, позволяющих увидеть их в разных ракурсах и положениях. Можно догадываться и о мотивах, которые побуждали его уделять особое внимание детям — ведь многим из них война могла оборвать жизнь прежде, чем их личность успела бы отложиться в памяти других людей, а следовательно, его свидетельства могли бы подарить им еще один шанс!

Дневник обрывается 23 июля 1941 г. — ровно на том месте, в котором он перестает быть источником личной жизненной истории, то есть когда на его страницы полноформатно врывается война. Впрочем, к тому времени Лева уже успел сделать свой решающий ход, с помощью которого он намеревался переиграть исторический процесс, как правило, неумолимо стирающий отпечатки пребывания субъектов, неуспевших выполнить своего жизненного предназначения. За две с половиной недели до начала войны он включил в текст дневника футурологическую выкладку о нападении Германии, ходе боевых действий и конечной победе СССР. Она смотрится чужеродным вкраплением в текст. Во-первых, потому что совершенно выпадает из контекста обширной записи от 5 июня, рассказывающей

о заботах, занятиях, беседах и мыслях автора за период от возвращения из Ленинграда и до завершения учебного года. А во-вторых, потому что не находит опоры в содержании его почти ежедневного мониторинга фактов и событий. Искусственность этого включения помечает фраза, неуклюже перекидывающая мостик от сообщения о последнем прослушивании оперы «Аида» в Большом театре к рассуждению о предстоящей войне:

*Мне хочется сейчас упомянуть о моих политических взглядах, которые я постепенно приобрел в зависимости от обстоятельств за все это время.*

Не являвшийся политическим мыслителем по складу ума и наклонностей, Лева проявлял интерес к сюжетам международной политики в той мере, в какой они потенциально вторгались в судьбу страны, его родных и близких, а также влияли на продвижение его проекта. В то же время особые способности позволяли ему усмотреть тренд в развитии событий, не видный менее тароватым наблюдателям. Так, сопрягая просчет поведения противника с адекватным представлением о географии, экономике, психологии общества и государственной власти Советского Союза, он создал абсолютно реалистичный набросок предстоящего военного столкновения с последовательными поражениями и успехами каждой из сторон. И, что особенно важно, успел записать его до того, как предвидение обернулось явью. Собственно, на этом и строился расчет. Прогностическому сценарию предстояло стать мощным якорем, способным удержать его труд от исчезновения среди сокрушительных штормов большой истории. Ведь, в конечном счете, сбывшееся предсказание, тем более судьбоносных событий, неизменно разжигает любопытство и заставляет внимательно, в надежде на новые обретения, штудировать текст, в который оно инкорпорировано. А значит, выводит на магистральную линию помыслов и устремлений в рамках «общего дела», которые, по словам одного из самых продвинутых «федоровцев» 1920-х гг. В. Муравьева, выполняют «роль побудителей и направителей действия»<sup>31</sup>. Это с одной стороны. А с другой... блестящая аналитическая разработка о войне выступает порукой тому, что и главный неоконченный проект автора не добросовестное заблуждение, не блеф и не мистификация. Похоже, этот парень знал, что делал. Недаром же он был «Леонардо»!

---

<sup>31</sup> Муравьев В. Овладение временем как основная задача организации труда. М., 1924. С. 11.

\*\*\*\*\*

Рассмотренное прикладное значение публикуемого дневника Льва Федотова нисколько не отменяет его значения как информационно насыщенного исторического источника. Скорее, наоборот, стремление автора воссоздать максимально реалистично окружающую жизнь предоставляет уникальную возможность — услышать живых современников! Их очень много — от безвестных прохожих, с которыми он пересекался на разных маршрутах, до известных персоналий. Это учителя его родной 19-й школы на Софийской набережной. В том числе известный словесник, автор школьных учебников по литературе Д. Я. Райхин, за глаза именуемый учениками «Додик — литератор, гений и новатор», талантливый физик В. Т. Усачев, презираемая большинством учеников за равнодушие и формальное отношение к делу учительница истории и обществознания Е. А. Костюкевич и ряд других. Он создает их яркие портретные зарисовки, стараясь донести до читателя не только внешний облик и манеру поведения, но и типичные для каждого обороты речи, интонации.

Возможно, некоторые суждения Львы об уроках, системе преподавания чрезмерно резки и категоричны. По ходу своих заметок он не раз выражает отношение к школе как к досадному препятствию на пути реализации собственных планов, а порой как к источнику ненужных схоластических знаний. Не исключено, что такая позиция вообще обоснована трудной адаптацией одаренных детей к массовой школе с ее нивелирующей педагогикой и стандартизированным образованием. Однако в описываемое время других школ уже не было — с 1937 г. в целях консолидации советского общества решением руководства страны были упразднены элитные и специальные школы. Это не означает, что массовая общеобразовательная школа стала плохой, просто явно выламывающийся из предписанных рамок детский феномен часто попадал в ней в дискомфортную обстановку. Это относится и к Льву Федотову. Чем дальше, тем больше он тяготился повинностью учащегося и становился равнодушен к оценкам. Свою главную задачу в конце девятого, предвыпускного, класса он видел в том, чтобы просто без особых издержек и помех завершить учебный год. В первых числах июня он закончил его на одни тройки,<sup>32</sup> однако был несказанно рад этому, поскольку пере-

---

32 Центральный объединенный архив учреждений среднего образования г. Москвы. Ф. 752, оп. 2 л/с. Ед. хр. 1, лл. 50 об-51.

водился в последний класс и обретал долгожданную свободу на период летних каникул, конечно, если только они не будут смяты войной. В его записях мы найдем и описание экзекуции, учиненной над ненавистным школьным дневником и другими атрибутами учения-мучения. Невзирая на достаточно критический уклон в описании школьных порядков, записи Льва Федотова могут служить отличной иллюстрацией постановки учебного процесса, внутреннего климата в коллективе учащихся, отношений учеников и учителей, словом, всей совокупной атмосферы среднего учебного заведения предвоенного времени.

С учетом того, что интересы Львы лежали в стороне от школы, мы познакомимся с теми людьми, которые сопутствовали ему в этой главной ипостаси его жизни. Это и учитель музыки, композитор, ныне совершенно забытый Модест Николаевич Робер и его жена Мария Ивановна. Это замечательный виолончелист и педагог, воспитавший целую плеяду музыкантов, — Эммануил Григорьевич Фишман — тот самый «Моня», муж любимой двоюродной сестры Раи и отец не менее любимой племянницы Норы, которому посвящено немало восторженно-уважительных строк в дневнике. Это и ленинградский музыковед Б.А. Струве, с которым судьба свела Леву в новогоднюю ночь 1941 г. Это, наконец, разнообразные представители обширного клана Маркус, которые регулярно заезжали к ним на квартиру в Доме на набережной и слали о себе вести из других городов.

Конечно, в дневнике запечатлены образы друзей. Те, кому повезло уцелеть в войне, впоследствии стали известными и уважаемыми людьми. Тем более интересно их увидеть глазами школьного товарища в тот период, когда только шло личностное становление и формирование задатков будущих профессионалов. В таком ракурсе читатель увидит и будущих известных писателей Михаила Коршунова и Юрия Трифонова, будущего художника-карикатуриста Евгения Гурова, экономиста Олега Сальковского и ряд других. Нам, умудренным историческим опытом истекших семидесяти с лишним лет, их суждения, оценки, представления о своей стране и окружающем мире иной раз могут показаться наивно-простодушными, иной раз слишком зависимыми от идеологии и пропаганды 1930-х годов. Это относится, например, к уверенности в том, что в случае нападения на СССР капиталистической державы на помощь ему дружно поднимутся трудящиеся всего мира. Прав-

да, следует отметить и другое: если эти иллюзии и имели место, то их развеяло уже начало войны, а в ходе ее битв это поколение продемонстрировало такую силу духа и воли, равной которой и не отыскать в нашей истории. Не случайно из тех, кто родился в 1923–1924 гг., в живых остались лишь 3–4%. Таким образом, за публикуемым текстом вырисовывается и просопографическая перспектива реконструкции ментального кода самого жертвенного поколения фронтовиков.

Как ни удивительно, эта демографическая когорта остается до сих пор «вещью в себе» в аспектах жизненных стратегий, планов, структуры убеждений и поведенческих стереотипов. За всем этим скрывается еще более волнующая проблема — альтернатива послевоенного развития СССР, останься эта генерация в строю. Подтверждение таких потенциальных возможностей — уникальный случай Льва Федотова, во многом опередивший и свое, и наше время.

Тетрадь V.

1939 год. 17 ноября—8 декабря.

8 кл. А

17 ноября

Сегодня на географии я по некоторым обстоятельствам изменил своему месту и перешел к окну, за тот стол, за которым сидели Павлушка, Медведев, Суфьин и Тиунов. Урок прошел мирно и спокойно. Все сидели тихо, и, казалось, упади на пол лист бумаги, он произвел бы грохот.

— Борька, что это у тебя за значок? — спросил я у Медведева. Тот посмотрел на свой ромб с буквой «С» и ответил:

— «Спартак».

— За «Спартака» болеешь?

— Ага.

— Ну, а как эта команда? — спросил я. — Побеждает всех?

— Побеждает!

— Знай, — сказал я, — что эта команда не должна позорить свое имя, она должна также побеждать своих врагов, как некогда победил своих полководцев великий полководец Спартак. Она должна быть достойна его имени<sup>33</sup>.

— А она побеждает, — важно ответил Борис.

К Модесту Николаевичу<sup>34</sup> я пришел сегодня ровно в 5 часов вечера. Мы сейчас же сели заниматься. Между прочим, я показал ему то содранное место на кисти руки, которое я получил еще тогда, когда делал газету.

— Ай-ай-ай! — ужаснулся он. — Как же ты играть будешь?

— Ничего, буду. Это мелочь, она мне не мешает.

— А руки-то у тебя все же потрескались, — сказала М. Ив. — Ты перчатки-то носишь?

— Теперь уже ношу, — ответил я.

---

<sup>33</sup> Спортивное общество «Спартак» было создано в 1935 г. Его название было подсказано одноименной книгой Р. Джованьоли, рассказывающей о героическом восстании рабов и его предводителя. И книга, и ее главный герой были очень популярны среди советских читателей. Отголоски знакомства с этим произведением слышны и в высказываниях Льва Федотова.

<sup>34</sup> Модест Николаевич Робер (1901–1944) — родился в Москве. Окончил Флеровскую гимназию и философский факультет I-го МГУ, параллельно учился в музыкальном техникуме у М. Ф. Гнесина. Сочинял детские песни, оперы, музыку к театральным постановкам. Одновременно занимался преподаванием музыки. (РГАЛИ. Ф. 2037, оп. 1, ед. хр. 254 л. 3.) С Левого его связывали теплые доверительные отношения. В известном смысле чета Роберов была его второй семьей.

— Наконец-то!— вздохнула М. Ив.

— Да! Наконец-то поумнел! — улыбнулся я.

— Ну, а как твои доклады? — спросил М.Н.

— Да так, ничего... — ответил я. — Своим чередом идут. Трудно мне только. Боюсь, что не успею окончить свою «Италию» к поездке в Ленинград. Приходится по два рисунка в день делать.

— Тебе хоть по два приходится делать, а вот мне приходится по три вещи за день сочинять, — сказал мне мой учитель. — Прямо не знаю, что делать. Я сейчас ишу только крючок, чтобы повеситься.

— Да, — вздохнул я.

После занятий я почитал домочадцам свой дневник. Примерно через час открылась дверь и в комнату вошел добродушный седовласый старикашка.

— А-а! Профессор! — вскричал М.Н. — Ты знаешь? — обратился он ко мне. — Это профессор.

Я не буду вдаваться в подробности и описывать дальнейшее. Но скажу только, что этот добренький профессор, несомненно, обладающий удивительным юмористическим красноречием, интересно и живо рассказывал нам о своих летних приключениях. Сейчас я эти сжатые исповедания записал лишь из-за того, чтобы впоследствии иметь перед глазами более пространное представление о сегодняшнем дне, ну и чтобы не видеть в нем какие-либо пробелы.

Итак, вечером в 7 часов я уже был дома. Именно сегодня к нам вечером заглянул Сухорученков со своей дочуркой. Последнюю читатель, очевидно, знает еще по 13-му октября. Как уже было сказано, Сухорученков — один из бывших (неразб.) — парторг, перешедший работать в райком. Его дочь по прозвищу Галина, 7-и лет от роду, будучи чрезвычайно веселым существом, внесла к нам в квартиру вместе с собой смех и веселье.

Я в это время сидел и рисовал один из рисунков к «Италии». Сия дева расположилась около меня, чтобы посозерцать мое творение.

Собственно говоря, сегодня вечером ничего особенного не произошло. Я хочу только записать шуточный и комический разговор, который произошел между мною и вышеописанной Галиной.

В одну прекрасную минуту она случайно взглянула на окантованный рисунок, висевший на стене в комнате, на котором я изобразил ландшафт с бронтозавром. Я о нем, кажется, упоминал 11 ноября, когда мама принесла домой из театра после постановки вместе с другими рисунками.



- А что это такое, а?— спросила она меня, разинув рот.
- Это звери, — спокойно ответил я
- Звери??? А где они сейчас?
- Они сейчас там, где и находятся.
- Нет, правда. Где?
- Там, где должны быть.
- Ну что-о? Ну, правда, а?
- Их сейчас нет. Они вымерли.
- Почему? Как?— удивилась она.
- Умерли все, — пояснил я. — Не вечно же им жить.
- А почему они сейчас нигде не живут?
- Потому что не нашли нужным остаться в живых.
- Нет, правда!
- Но ведь должны они были когда-нибудь умереть, — сказал я. — Ведь всякий зверь, проживши свой век, умирает. Вот и они все умирали да умирали, ну и улетучились в конце концов, все до одного.
- А откуда знают, какие они были?
- А их сейчас в земле находят.
- Ну, что ты-ы! Да брось!
- Конечно. Ведь они, когда умирали, падали на землю, а ветер их постепенно заносил землей. Ясно?
- А-а-а!!! — протянула она. — А тогда люди были?
- Нет. Тогда людей еще не было.
- А откуда же они взялись?
- Да постепенно преобразились из обезьян, которые тогда жили.
- Ну, конечно. Ведь обезьяны-то похожи-то на людей-то, да?
- Вот в том-то и дело, — согласился я, улыбаясь.
- А почему раньше эти звери жили, а потом люди?
- Да потому что не наоборот.
- Да будет тебе, скажи!
- Ну, а если бы начали жить раньше люди, то ты бы спросила: почему раньше не жили звери.
- Ага! А что?
- Как что? — удивился я. — Поэтому-то люди и жили позже, потому что не раньше. Это уже дело природы.
- А «дефы» жили когда-нибудь? — спросила она.
- А что это такое?
- Ну, такие вот... с двумя головами... тремя... Во такие.

— Да что ты?— ужаснулся я.— Что это с тобой, голубушка! Чего ты! Брось ты!

— А скажешь, нет?— с особой интонацией проговорила она.

— Конечно, нет! Ты сама вникни в то, что говоришь: с двумя, с тремя головами! Может быть, ты еще скажешь, что жили на свете животные с сотней голов?!

— Ну, а если...— начала она. Но я ее перебил:

— Да ты пойми, что говоришь!

— Ну...

— Да нет! Ты пойми! По-ойми!!

— Да брось ты! А если...

— Да будет тебе болтать,— сказал я.— Пойми ты и все!

— Да перестань... — взмолилась она.

— Не могут такие вообще жить! Будет тебе зря болтать.

— А если они...

— Да брось ты! Пойми, что ты говоришь.

— Да будет тебе перебивать!

— Да не могут жить они вообще. Ты это откуда взяла-то?

— А мне одна тетенька говорила.

— А она-то откуда такая умная?

— Не знаю.

— А ты их видала сама, этих двухголовых дефов?

— Видала... да,— уверенно заявила она.

— Во сне?

— Не-ет! На сцене!

— Да это ведь неживые! Вот уж сказала!

— Да я знаю. А мне тетенька говорила, что такие есть.

— А ты ее не попросила, чтобы она их тебе показала?

— Нет.

— Жалко. Ну, они жили, значит, по-твоему?

— М-м... Ну, а что же тут такого?

— И ты веришь этой самой тетке? Мало ли, что тебе скажут.

Ведь не все говорят правду.

— Да брось ты! — снова взялась она за свое. Ну, а вдруг они жили, откуда ты знаешь?

— А ты мне докажи?— спросил я.— Если докажешь, я сдамся.

— Да в земле...

— В земле? — удивился я.— Да их там нет.

— А ты разве их искал?

— Если бы я их искал, то это не была бы отговорка. Вот в том-то и дело, что их искали даже все ученые Земли и то не нашли.

— А они скушали друг друга, — вдруг сказала она.

— Конечно, ты права, — согласился я. — Первый «деф» съел второго, а второй, чтобы не обидеть друга, съел первого. Так от них и не осталось ничего.

— Ну-у!... А так не может быть.

— А если не может, то чего же ты так говоришь?

Наконец, она согласилась со мной, и на этом все окончилось. Сухрученков и эта веселая Галина остались у нас ночевать. И сейчас, когда я пишу эти строки, она уже поглощает кислород воздуха лежа. Ибо она уже успела сну отдать на ночь свое сознание.

Все!!!

18 ноября. Сегодня утром я узнал весьма приятную для себя весть. Из телефонного разговора мамы с Бубой (могу напомнить, что Буба, или Люба, это моя тетя) я понял, что к нам в Москву, очевидно, в конце этого года приедет из Николаева дядя Марк. В моих летних записях 1937-го года я упоминал о своей поездке к Марку. Могу, между прочим, удариться в подробности, и сообщить, что Марк — это родной брат маме и Любе. Это добродушный добрый старичок, которого я обожаю больше, чем самого себя.

Ура! Я буду безгранично рад его приезду.

23 ноября. Сегодня утром, еще до того, как я пошел в школу, мы получили открытку из Ленинграда. Когда я ее читал, то мой центр кровеносной системы бешено стучал, силясь разорваться. Рая писала, что Норка-Трубадур с нетерпением ждет меня и что, может быть, в декабре Моня<sup>35</sup> приедет в Москву. Все это, конечно, очень хорошо. В школе ничего особенного не было, и я, проторчав там около 5 часов (дело в том, что у нас изменили расписание и 5-й день у нас теперь не 6-ть, а 5-ть уроков), благополучно вернулся домой.

Мне сейчас придется раскаться в том, что я забыл 10-го ноября упомянуть о том, что в газетах того числа было сказано о покуше-

---

<sup>35</sup> Моня — Эммануил Григорьевич Фишман (1907–1988) — известный ленинградский виолончелист, педагог. Первым браком был женат на Раисе Самойловне Маркус, двоюродной сестре Левы. Имел дочь Элеонору, которую Лева по ассоциации с оперой Верди «Трубадур» иногда называл «Леонорой» и «Трубадур». Дружбой с этой родственной семьей Лева очень дорожил.

нии в Мюнхене на жизнь Гитлера, и я в этом каюсь. В сегодняшней газете я узнал об аресте некоего Георга Эльзера, подготовившего данный взрыв, результатом которого должна была быть смерть вождя Германской империи<sup>36</sup>. Но все произошло благополучно, и удар прошел мимо своей цели, к сожалению одних и радости других.

К М.Н. я сегодня хотел собраться пораньше, чтобы успеть ему прочесть весь свой день 5-го ноября, написанный в дневнике. День этот в записях, как известно, очень сложный и длинный, поэтому, чтобы прочесть его, не отрываясь, с начала до конца, понадобится немало времени.

Вдруг мои действия прервал телефонный звонок. Это звонил Модест Николаевич.

— Послушай, Лева, — сказал он мне. — Ты сегодня, пожалуйста, не опаздывай, так как после тебя ко мне придет Кира, а потом я должен уходить.

— Ладно, — проговорил я. — Я и так сегодня хотел к вам рано прийти, потому что я думал прочесть вам весь тот 5-й день.

— А-а! То твой знаменитый день 5 ноября?

— Ну да, — ответил я.

— Жалко, правда! — сказал он. — Ну, ладно. Тогда ты мне его прочтешь в следующий раз.

— Да, — согласился я. — Придется так и сделать.

Когда я пошел к М.Н., то, помимо нот, захватил с собой и дневник, чтобы показать ему записи этого самого 5-го дня.

— Ну, а теперь ты в перчатках? — спросил меня М.Н., когда мы садились заниматься.

— Да. Теперь я их ношу, — ответил я.

— Где? В кармане? — полюбопытствовала М. Ив.

— Да, сейчас-то они находятся, действительно, в кармане, именно в этот самый момент, — подтвердил я.

После занятий М.Н. сказал мне:

— Ну, дружок! Покамест придет Кира, давай-ка мы с тобой черкнем диктанчик. Хочешь я тебе дам тот диктант, который у меня писала Ия?

— Пожалуйста.

---

<sup>36</sup> Иоганн Георг Эльзер (1903–1945) — немецкий антифашист, плотник, подготовивший 8 ноября 1939 г. покушение на Гитлера: заложил взрывное устройство в колонну в месте публичного выступления Гитлера. Однако оно сработало после того, как Гитлер покинул помещение. Был схвачен и позже казнен.

## Дневник советского школьника

---

— Только имей в виду, что это, хотя диктант и двухголосный, но зато оч. легкий, так как это первый диктант из двух голосов, который она писала.

— Ну, что же, ладно, — согласился я.

Диктант я написал довольно быстро, но не настолько, насколько предполагал.

Я показал М.Н. записи 5-го дня, и он был чрезвычайно поражен их длине.

— Что же это за необычайный день, если на него понадобилось 100 с лишним страниц? — вскричал он.

— Да, это прямо небольшой рассказик, — сказал я. — Даже название ему можно дать: «День из моей жизни».

— Да-а, м-м, — промычал мой учитель. — Интересно, что там у тебя? А знаешь что? — вдруг спросил он.

— Что?

— Покамест нет Киры, ты бы прочел что-нибудь.

— Только не 5-й день — его я не успею.

— Ну, конечно, — согласился М.Н. — Если ты прочтешь, как мы уговорились сл. раз, а сейчас почитай какой-нибудь др. день. Идет?

Я сразу согласился без лишних слов и прочел М.Н. и М. Ив. записи о 6-м ноября — кануне праздников, — т.е. о том дне, в течение которого я был у Юрика на его новой квартире.

— Твой дневник прямо хоть целой книжкой издавай, — сказал потом М.Н.

— Ну-у, до этого еще далеко, — сказал я.

— Ну, а вообще-то, зачем нужно вести дневник? — проговорил М.Н. — Ведь каждую работу следует производить не только для пользы самому себе, но и для того, чтобы принести пользу другим, а также и стране.

— Это вполне понятно, — согласился я.

— Ну, а что касается тебя, то я уверен в том, что из тебя выйдет дельный человек, — продолжал М.Н. — Я думаю, что ты стране пользу принести можешь.

— Это мечта каждого, — изрек я.

— Ну, а кем ты будешь? — спросила М. Ив.

Я задумался.

— Ну, а что же, — ответил за меня М.Н. — Он ведь может быть и биологом, и геологом, и архитектором, и художником, а может быть, и музыкантом.

— Нет, художником я не буду.

— Но ведь у тебя есть большие способности! — сказала Мария Ивановна.

— М-м... да меня вообще профессия художника не влечет к себе, — сказал я. — Я могу быть просто любителем в этой области.

— Ну, что же, это твое личное дело, — проговорил М.Н.

— Тебе нужно было бы поступить в школу, — сказала М.И.

— Да мама меня хотела в нее определить еще летом, да я отказался. Я ей сказал, что насильно она меня все равно не вытащит из дому и что меня сейчас защищает сама конституция. Ее статья гласит: «Каждому по его потребностям, от каждого по его способностям».

— Нашел, что сказать! — похвалила меня М.И. — Ну, а математиком ты можешь быть?

— Нет, математиком я не буду. Я эту науку обожаю, так как знаю, что без нее в жизни не сделаешь и шагу, но не увлекаюсь ею.

— Нет! Я уверен, что ты не пропадешь! — сказал М.Н. — Раз у тебя столько склонностей, то из тебя выйдет весьма полезный человек.

Я молчал.

— ... который должен получить орден, — добавила М.И.

— Ну, орден — это другое совсем дело, — возразил М.Н.

— Нет. Нет! Без ордена я не признаю.

— Главное, чтобы принести пользу стране, — сказал я, — а орден или похвала — это дело десятое. Если ты человек образованный, грамотный, ученый, умеющий приносить обществу пользу, то этого уже достаточно. Ты и без ордена будешь таким же. Орден только подтверждает пользу человека, а ценят человека за его знания и способности.

— Это правильно, — согласился М.Н. — Скромность прежде всего.

— Боже! — проговорился я. — Как я только все это запишу в дневник? Ведь я забуду все эти разговоры! Уж лучше я сразу ушел бы домой после занятий!

— Вот он зачем тут сидит!!! — вскричал М.Н. — Немного помолчав, они сказали:

— Орден — это большая награда, но ведь люди работают не для того, чтобы заиметь орден, а для того, чтобы принести себе и стране пользу.

— Это действительно правильно, — согласился я.

После этого мы попрощались, и я укатил домой.

Вечером я и мама были у Анюты. Читатель ее помнит, очевидно, еще с лета 1935 г., когда я впервые начал вести дневник. Мы тогда с нею еще проводили летние месяцы на даче в Клязьме. Да!.. В то время был вместе с нами и Саша — ее муж — мой лучший взрослый друг, которого я никогда не забуду. Я веду этот дневник, ибо он первый дал мне эту мысль, и я ему за это бесконечно благодарен. ...

Но я об этом лучше расскажу как-нибудь в др. время. Вообще Анюта — наша ближайшая знакомая, так же, как и раньше был Саша, и мама ее знает еще со своих заграничных поездок.

К ней я всегда люблю ходить. Ее небольшая уютная комнатка мне очень нравится, хотя в этом есть что-то и грустное; ведь эта обстановка мне напоминает Сашу... Как было б хорошо, если б Саша знал о моих теперешних интересах, о том, что я теперь так регулярно веду дневник...

Как он всегда радовался моим успехам! Он мне во многом помогал. Хорошим человеком был он... Мне очень тяжело!..

Вечер мы провели у Анюты, как всегда, мирно и спокойно, шутиливо и дружески. Вообще ведь Анюта веселый человек.

Когда я бываю у нее, я всегда люблю смотреть ее фотографические альбомы со снимками и открытками, так как это мне опять напоминает былое...

Я долго всматривался в портрет Саши. Я видел прищуренные добрые глаза, небольшой рот, редкие волосы на голове и удивительно высокий большой лоб.

«Не дурак дядька был, не дурак!.. — думал я сокрушенно. — Эх! Если бы таких было людей побольше!..»

Мне тяжело об этом писать, но я думаю, что и этого вполне достаточно... Собрались мы домой уже в 12-м часу. На улице было темно и ветрено, от чего казалось еще холоднее.

Мы вышли из переулка на улице Кирова и направились к метро — Кировской станции.

— Может быть, нам поехать на троллейбусе? — подумала вслух мама.

— Давай, ведь мне безразлично, — ответил я.

В это время подошел троллейбус — совершенно пустой и мы очутились в его кузове.

Последний раз в троллейбусе я ездил этим летом, когда у нас в конце августа были Рая, Моня и «Трубадур». Мы тогда вместе ездили на Сельскохозяйственную выставку. Это были очень счастливые минуты моей жизни, которые я по глупости не запечатлел у себя в дневнике. Так это и исчезло без следа. Вот тогда-то летом Рая и пригласила меня на зимние каникулы к себе в Ленинград.

Я теперь жалею, что не записал их пребывание в Москве! Тогда мне казалось, что эти записи у меня будут лишние и скучные, а между тем это было все очень интересным, и я это сейчас-то уже понимаю. Но ничего, впредь я буду умней!

Я также помню, как мы все — мама, Рая, Моня, Нора и я — ездили в Мамонтовскую на дачу к Гене — родному брату Рае, а мне — брату двоюродному. И эта поездка мне также казалась недостойной для записей в дневнике, между тем как в действительности в ней можно было бы отыскать кое-что и интересное.

Я помню, как Моня меня спросил еще тогда, когда мы возвращались домой, раскачиваясь на сидениях электропоезда:

— Ну, а этот день ты напишешь в дневнике?

— Да что тут особенно интересного, — ответил я. — Ну, мыехали туда к Гене, побыли там, подышали свежим воздухом, ну, а сейчас возвращаемся домой.

Ой! Какая это была чудовищная ошибка! Я сейчас себя очень виню за то, что не записал такие прекрасные часы в моей жизни, как пребывание у нас наших ленинградских родственников.

Ну, ничего! Вот зато, когда я поеду зимой в Ленинград, тогда я в подробности опишу все это путешествие. Я уже сейчас представляю себе купе поезда, тусклые лампы, ночную темень за окном, отражение коек в стекле и шум колес поезда, несущегося в Ленинград. Да-а! Счастливые минуты тогда будут,.. но до них еще далеко.

Итак, только я очутился в троллейбусе, как мне сразу же вспомнился день, когда мы все были на выставке... Мне почему-то показалось, что это не 23 ноября, а август, конец лета, вечер, и мы все возвращаемся с выставки. Мне чудилось, что если я сейчас обернусь, то увижу около себя на сидении Раю или Моню с Норой на коленях, но это была только иллюзия... Эти воспоминания до того крепко внедрились в мой мозг, что я действительно стал верить в то, что где-то здесь рядом в троллейбусе едут с нами и наши ленинградцы. Я задумался...

Очнулся я лишь тогда, когда мы подъезжали к Малому Каменному мосту. Подходя к дому, я сказал маме о том, что обязательно на-



пишу в дневнике о сегодняшнем вечере, и это нам опять напомнило Сашу.

— Какой хороший и умный был человек, — проговорила мама. — Всякие балбесы да пьяницы живут, и ничего, а полезные люди умирают...

Я ничего не ответил и только сжал плотнее губы...

25 ноября. Ну, сегодня, кажется, действительно наступила зима!

Я глянул в окно и увидел, как: «крестьянин, торжествуя, на дровнях обновляет путь. Его лошадка, снег почуя, плетется рысью как-нибудь. Бразды пушистые взрывая, летит кибитка удалая» и т.д. и т.д.

Ну, а в действительности я увидел побелевший двор, вся поверхность которого была покрыта ровным ослепительным снежным покровом. Ура! Кажется, зима крепко ухватила за Москву! Да здравствует первый настоящий снег! Небо было все в тучах, но, как полагается, оно имело какой-то ослепительный блеск, как будто отражая белизну снега, лежавшего на земле-матушке.

В школу я пошел все равно без пальто, не находя нужным искать защиты от холода. Собственно говоря, мороза не было, и вообще погода стояла отличная.

27 ноября. Вчера вечером — 26-го числа — я уже находился на боковой, когда с работы пришла мама. Она вошла в комнату, завела часы и вдруг сказала:

— Уже началось.

— Что? — не понял я.

— Да с Финляндией. Они уже обстреливали нашу сторону.

Я презрительно усмехнулся.

— Дураки!... Дура страна; вот дура! Идиоты. Честное слово, идиоты. Этот Эркко<sup>37</sup> их крикун... Все они дураки. Это не люди! Люди хоть думают и понимают, так как это высшие млекопитающие, а это... Эти думают, но не понимают! Это не люди! Не-ет! Куда им...

Сегодня же на географии, с презрением глядя на Финляндию, обозначенную на карте, я обратился к Петьке:

— Смотри! Вот тебе СССР, а вот Финляндия. Сравни их величины. Даже смешно подумать о том, что такая страничка собирается идти войной на такую огромную страну. Вот она! Вот тебе Финляндия, любуйся!

---

<sup>37</sup> Эркко Эльяс — министр иностранных дел Финляндии в 1938–1939 гг.

— Есть, но не будет, — коротко сказал Пьетро.

— Да, если она будет и впрямь провоцировать, то ее может не быть больше, — согласился я<sup>38</sup>.

Дома я узнал весьма приятное известие. Я его сейчас же записал в блокнотик с тем расчетом, чтобы не забыть и переписать потом сюда в дневник.

Из разговора по телефону мамы с Любой я узнал следующее: оказывается, Люся, сын дяди Марка, мой двоюродный брат, летом собирается приехать к нам из Николаева.

— Я получила от Люси письмо, — сказала мама Бубе. Он пишет, что получил посылку. Сахар они задержат, а летом сварят варенье, и, когда он приедет к нам на С. — Х. выставку, то привезет его.

Вот из этих самых слов я узнал все!

Хвала выставке! Из-за нее мы имеем возможность повидаться лишний раз со всеми родственниками, которые разбросаны по многочисленным городам европейской части СССР.

28-го ноября. Сегодня вечером я с большим интересом прослушал по радио передачу о Ленинградском Кировском музее. В ней рассказывалось об экспонатах музея, исповедующих о сложной и прекрасной жизни незабвенного Сергея Мироновича<sup>39</sup>. Очевидно, этот музей весьма ценный и интересный! Короче говоря, эта передача заставила меня призадуматься, и я решил, во что бы то ни стало, побывать в этом музее во время моей поездки в Ленинград. Нет сомнения, что я поделюсь с читателем моим впечатлением об этом показателе жизни великого революционера нашей эпохи.

---

<sup>38</sup> Упомянутый мамой Левы обстрел нашей территории финнами — инцидент, произошедший 26 ноября в километре северо-западнее Майнила. В советской печати он был расценен как провокация финских поджигателей войны. «Майнильский» инцидент послужил поводом к началу боевых действий Красной армии против Финляндии. Значительная часть населения СССР, так же как и окружение Левы, под влиянием советской печати воспринимала упертую позицию финской стороны на переговорах октября— ноября и прецедент 26 ноября под углом зрения враждебности северного соседа и призывала к ответным решительным мерам. // Зимняя война 1939–1940 гг. Исследования, документы, комментарии. К70-летию Советско-финской войны. Под ред. А. Н. Сахарова, В. С. Христофорова, Т. Вихавайнена. М., 2009, С. 207–208, 643.

<sup>39</sup> Речь идет о музее С. М. Кирова (1886–1934). К. — руководитель Ленинградской партийной организации с 1926 г., член Политбюро ВКП (б), секретарь ЦК ВКП (б). Убит в Смольном 1 декабря 1934 г. террористом Л. Николаевым.

После этого мне посчастливилось услышать передачу о ноте Советского правительства Финляндскому правительству в протест против провокационных выстрелов. Нота правительства Финляндии меня возмутила. Оказывается, финны скрывают свое преступление. Где это слыхано, чтобы войска какой-либо страны производили учебные занятия в стрельбе на виду у войск граничащей державы. А, между тем, это говорят финны. Уже как будто бы у нас в армии одни только неучи, которые не понимают в военном деле! Во-первых, мы не дураки, чтобы производить на виду у финских войск учебные выстрелы, во-вторых, мы отнюдь не настолько глупы, чтобы сажать по своим же красноармейцам не холостыми снарядами, и, в-третьих, мы уже достаточно умеем обращаться с различного рода огнестрельным оружием, иначе мы не были бы так сильны; и это пусть запомнят те неучи, которые носят имена, как: Каллио, Каяндер, Эркко и Таннер<sup>40</sup>. Вот до чего дошла их шалость! Это чудовищно! Они еще будут угрожать нашему Ленинграду! Ведь Ленинград — наш важнейший порт, принадлежавший только нам. Следовательно, это наше дело, как обеспечивать безопасность его, и мы не позволим финляндским олухам вмешиваться в наши внутренние дела! Пусть они сначала еще оглянутся на свою страну. Там они увидят более ужасные сцены. Но они этого не делают. Заботясь о своем кармане и об угоде Англии и Франции, они сквозь пальцы смотрят на страдания народа своей страны, но они за это скоро поплатятся. Ох, как поплатятся! И час расплаты они приближают сами, своюю неразумной и необоснованной глупой подготовкой к войне с СССР. Финский народ не позволит им безнаказанно угрожать СССР — единственной опоре и защите всех угнетенных масс.

Я очень обрадовался, когда услышал ответную ноту нашего мудрого Правительства изобличившую всю жалкую свору финских палачей и негодяев<sup>41</sup>. Да восторжествует справедливость!

---

<sup>40</sup> К. Каллио — президент Финляндии (1937–1940), в переговорах с СССР в 1939 г. был против каких бы то ни было территориальных уступок; Каяндер А. — премьер-министр Финляндии (1937–1939) — с начала зимней войны отправлен в отставку; Таннер В. А. — министр иностранных дел Финляндии (1939–1940).

<sup>41</sup> Нота советского правительства от 26 ноября 1939 г. по поводу «Майнильско-го инцидента», опубликованная в советской печати на следующий день, заявляла о том, что руководство страны не намерено раздувать историю с провокацией финских частей, но в то же время решительно требовала пресечь подобные происшествия в будущем и отвести финские войска на 20–25 км от границы на Карельском перешейке. // Зимняя война 1939–1940 гг. С. 643.

После этого я начал рисовать к «Италии» следующий рисунок. Делая его, я одновременно слушал передачу оперы Верди «Бал-маскарад». Сейчас я еще покамест ничего не могу дополнить к моим предыдущим размышлениям об этой опере, поэтому я это сделаю лучше в следующий раз. Рисовал я морское дно Средиземного моря, покрытое кораллами, которые из вод морских извлекаются в большом количестве жителями Италии для того, чтобы сделать из них украшения и мелкие изделия.

На этом этот день окончился.

29 ноября. Все утро сегодня на дворе хлестал дождь. Зима оказалась изменницей и бежала за горизонт, предоставив захваченные владения осеннему дождю. На улицах стояли лужи, и блестел тротуар, по которому куда-то спешили прохожие. Всю эту картину я видел утром сквозь оконные стекла.

— Ты к Модесту Николаевичу обычно когда ходишь?— спросила меня мама.

— К 5-и часам вечера,— ответил я.

— Сегодня от 4-х до 5-и нам должны принести заказ. Так что ты подожди заказ. А потом уже иди к нему.

— У-у, вот еще! — с явным неудовольствием разочаровался я.— А я хотел, наоборот, к нему пойти раньше, чтобы успеть прочесть мой 5-й день.

— Ну, а что ж поделаешь-то. Заказ иногда приносят и раньше времени, так что, может быть, на твое счастье и сегодня так будет.

— Ну, ладно уж! — с глубоким вздохом согласился я.— Тогда мне придется ему прочесть 5-й день в след. раз. А я-то ждал этого дня!

Несмотря на дождь, в школу я пошел без пальто. Очутившись в классе, я заметил, что Анастасия Ивановна сажает рядом со мною какого-то верзилу, очевидно, нового ученика. Я недружелюбно покосился на него и вышел в зал. Борька, Мишка, Сало и пр. живодеры нашего класса еще не пришли, поэтому они еще не знали о сладкой добыче. Между тем незнакомец, не зная, что делать, вышел из класса и пошел слоняться по школе.

Это был высокий парень — выше него у нас в классе еще никого не было,— довольно худой, нескладно построенный, казавшийся переломленным, но, кажется, сильный. Лицо его было простодушно, черные волосы были курчавы, а подбородок был украшен бородавкой — одной из помех единственной шкуры человека.

Лишь только в класс вломились наши волки — Павлушка, Медведь, Мишка и Улуш,— я решил доложить им о пришельце, чтобы узнать, как они на это будут реагировать. Первый встрепенулся Павлов:

— Изуродуем! — сказал он, махнув рукой.

Затем он подскочил к доске, схватил мел и быстро накорябал следующие слова: «оглоеда изуродуем!»

— Правильно, ребя? — спросил он. — Изуродуем оглоеда? Ведь полагается же это, а?

Все отнеслись к его словам холодно, не соглашаясь.

— Это тот, что сейчас в зале шляется?— спросил Борька.

— А я знаю, кто там шляется,— ответил я.

— Да, это он! — сказал Сало.— Знамо, он!

— Ну, и детина, братки! — усмехнулся Медведев.

— Знать, выше Боша! — сказал Салик.

Бош, уч. 10-го класса, известен в нашей школе как поразительной высоты человек.

— Что ты, друг! — вскричал я.— разве Бош сравнится с ним? Куда там! Ведь по сравнению с ним, Бош — жалкий котенок!

В это время звякнул звонок, и все разместились по своим местам. Сел возле меня и тот, кого Павлушка окрестил «оглоедом».

Была история и Ан. Ив. // не замедлила войти в класс. Разместившись за столом, она стала перелистывать журнал.

Все молчали, и в классе стояла удивительная, непривычная тишина. Тут бессердечный Сало, желая уязвить новоявленного, громко проговорил лукавым тоном:

— А у нас новенький!

— А это и без тебя всем известно! — строго ответила А.И.

— Он вы-ырос бо-ольно... — протянул Салик.

Немного помолчав, он сказал:

— А я знаю, как его фамилия!

В течение всего этого дня незнакомец был тише воды и ниже травы, хотя, как потом выяснилось на немецком языке, он был переведен в нашу школу из 1-й школы ЛОНО за плохое поведение.

Фамилия его была не то Коротков, не то Котаков... да это и не важно.

Лишь только я очутился дома, как прозвенел телефонный звонок. Это был Модест Николаевич.

— Ты бы пришел сегодня пораньше,— попросил он,— а то я должен сегодня вечером писать срочную работу.

— Знаете, М.Н.,— сказал я,— я вообще хотел к вам сегодня придти рано, чтобы успеть прочесть 5-й день, но сегодня от 4-х до 5-и к нам должны принести заказ, и я должен быть дома. Так что я к вам приду только после 5-и.

— Жалко, правда! — проговорил он.— Ну, ладно! В след. раз, тогда прочтешь его. Тогда мы сделаем так. Если придешь только к 5-и или к началу 6-го, тогда мы с тобой позанимаемся, и я сразу же стану работать, иначе мне не успеть. Ну, окончим мы тогда примерно с тобой четверть седьмого. Итак, я тебя жду.

Однако, на мое счастье, заказ принесли раньше времени, и я уже был освобожден от него в половине четвертого. Собрал свой багаж, а также засунул в портфель и дневник. Перед отъездом я позвонил М.Н.

— Модест Ник.,— сказал я.— Заказ уже принесли, я сейчас тогда приду, и мы успеем почитать.

— Ладно, кати. А урок выучил?

— Да так, кажется... выучил как будто.

— Ну, это хорошо. Ну, иди!

— Бегу! — проговорил я, вешая трубку.

У М.Н. я уже был без четверти четыре.

— Ну, читай,— сказал мне мой учитель.

— До 5-ти часов еще долго. Мы все равно успеем.

— Я только 5-й день не буду читать,— предупредил я.— Мы все равно не успеем прочитать всего. Отложим его лучше на след. раз.

— Ну, хорошо. Читай что-нибудь другое. Я прочел мои мысли насчет «Риголетто», записанные мною 9-го ноября. Когда я ему прочел фразу, где я говорю о том, что тех людей, которым не нравится Верди, на мое счастье, только единицы, он сказал:

— И эти единицы среди музыкантов. Правда, Верди этого не заслуживает. Он был большой. Теперь даже предполагают, что он сделал в музыке не меньше, чем Вагнер. Это как раз предполагает профессор Фермен!

— Вот я пишу у себя, что я приветствую его слова,— вставил я.

— Я с ним учился в консерватории,— продолжал М.Н.— Очень мягкий старикашка. Так вот он говорит, что он думает о большей ценности произведений Верди. Только Вагнер шел в одну сторону, а Верди в другую. Вагнер основывал большей частью свои оперы на мифах. Он имел дело с мифологией, и это отдаляло его от действительной жизни, а Верди, наоборот, он писал о живых образах, о жи-

вых людях. Вообще Верди — ... (нрзб. — И.В.) мелодий. У него очень часто встречаются эти обычные легкие аккомпанементы, которые у него сопровождают песенку герцога в «Риголетто». Вот наравне, рядом совсем с этой легкой песенкой, у него в 4-м действии показана удивительная сложность. Ну, ладно, читай дальше.

— Модест Николаевич, — проговорил я. — А как вы думаете, записать мне в дневнике наш тот разговор или нет?

— Если то, что я тебе сейчас сказал, ты уже знал, то и писать, по-моему, незачем.

— Нет. Это для меня ново, — сказал я. — Я еще не слышал про то, что Верди теперь сравнивают с Вагнером.

— Тогда напиши.

— А вчера передавали «Бал-маскарад». Вы слушали? — спросил я.

— Неужели? — переспросила Марья Ивановна. — Нет, не слышали.

— А по какой линии она шла? — спросил М. Н.

— По дополнительной, — ответил я. — У нас ведь два штепселя, поэтому мы можем слушать и первую, и вторую линию. А у вас, наверное, только основная линия.

— Да, — согласился мой учитель. — У нас лопай, что дают.

— Это ты тоже напишешь в дневнике? — спросила Марья Ивановна.

— Да, что тут такого? Тут ведь ничего особенного нет, — проговорил я.

После этого я им прочел, что требовалось, а потом спросил:

— Ну, а как вы смотрите на выходы Финляндии?

— Дождется она у нас, — сказал М.Н. — Жалко, что народ страдает, а этим волкам мы всыплем по первое!

— Этого они вполне заслуживают, — сказал я.

— Вкатим им как следует, — добавил М.Н. — Запомнят.

После этого мы стали заниматься. Перед отходом домой я спросил у М.Н. о картине «Потомок Чингис-хана»<sup>42</sup>, чтобы узнать, видел ли он эту картину. Ведь читатель знает, что мой знаменитый 5-й день основан именно на точном описании этой картины.

— О-о! Это хорошая картина! — сказал он. — Она давно только шла. Я ее, кажется, видел, но точно не помню.

---

<sup>42</sup> Фильм, снятый Вс. Пудовкиным в 1928 г. по одноименной повести И. Новокшонова. Посвящен национально-освободительному движению в Монголии в 1920-е гг.

— Тогда я вам открою тайну этого 5-го дня,— сказал я. И я рас-  
сказал ему, в чем дело.

— Ну, это не беда,— сказал он.— Я все равно точно не знаю,  
видел ли я ее или нет; а если я ее и видел, то совершенно не помню.  
Поэтому мне все равно будет интересно слушать, как ты ее описал.

Я успокоился.

— Ну, а след. урок у нас когда будет? — спросил вдруг М.Н.

— Как это когда?— удивился я.— Да 5-го декабря, разумеется.

— Да, но пятого — день Конституции, и все школы не работа-  
ют<sup>43</sup>. Как же нам быть с занятиями?

— Ну, так мы ведь к школам не относимся,— сказал я.— Я все  
равно буду свободен, а вы будете иметь столько же времени, очевид-  
но, сколько имеете в обычный 5-й день шестидневки. Зачем же нам  
жертвовать уроком.

— И то правда,— сказала М. Ив.— Зачем это? Ты и так ведь смо-  
жешь прийти 5-го позаниматься. Наоборот, больше времени будет;  
и ты успеешь почитать нам 5-й день.

Дома сегодня я нарисовал следующий рисунок к «Итальянскому  
докладу», рисунок, изображавший пару одиночных асцидий, вы-  
лавливаемых из вод Средизем. моря итальянцами для употребле-  
ния в пищу.

P.S.

Я только что прослушал по радио выступление Вячеслава Ми-  
хайловича Молотова, который в своей ясной, но короткой речи еще  
раз подчеркивает мирную политику СССР<sup>44</sup>.

Многочисленные враги нашей страны, понимая нашу справед-  
ливость, но боящиеся высказать это вслух и бесящиеся от своего  
ничтожества и от правды, которую несет Советский Союз, яростно  
бьются в клеветнических ударах. Они понимают политику СССР,  
но боятся ее, так как они являются врагами коммунизма, так разве  
они останутся в покое в такие времена? Нет! Они стараются оклеве-  
тать, опозорить честь СССР. Не зная, что сказать, они выдумывают  
глупейшие аргументы против нашей страны, лишь бы показать ей  
свою ненависть. Они еще выдумали, что СССР якобы только того

---

<sup>43</sup> 5 декабря 1936 г. была принята т.н. Сталинская конституция. Этот день был  
праздничным в СССР.

<sup>44</sup> В своем выступлении по радио В.М. Молотов заявил о денонсации СССР пак-  
та о ненападении с Финляндией и фактически сообщил о неизбежности военного  
конфликта с «финляндским правительством, запутавшимся в своих антисоветских  
связях с империалистами».



и ждет, чтобы Финляндия напала на него, тогда он под этим предлогом захватит и присоединит ее к себе. Следовательно, по словам этих жалких теоретиков, СССР хочет захватить Финляндскую территорию. Но здесь они глубоко ошибаются, и эти враждебные доводы в пух и прах разбиваются о истинную политику Сов. Союза.

Вы сначала, господа, оглянитесь на свои страны! Скажите честно, что каждая капиталистическая страна только и жаждет расширить свои просторы за счет захватов соседних стран! Это факты! Сколько раз капиталистические страны воевали между собой специально из-за этого? Скажите нам, на милость!

Нет! Об этом вы молчите, а вот о том, что СССР будто бы хочет захватить Финляндию — это вы кричите на весь мир! Вникните в это, пустоголовые бараны, и запомните раз и навсегда — если вы только способны это сделать, — что СССР совсем не собирается присоединять к себе Финляндию. Если бы он этого хотел, то он так бы настойчиво не предлагал ее ослоподобным правителям мир и дружбу, а также и то, чтобы Карелия отошла к финнам. А это, по моему, все совершенно ясно. Он тогда бы не канителился так с этой жалкой страничкой, а взял бы, ответил на ее провокации, да и захватил бы ее всю.

Польша была присоединена к нам только из-за того, что она была вообще покинута своим правительством, и мы не хотели, чтобы ее кровные нам народы погибли под сапогами алчных капиталистов; да и то ведь зап. Украина и зап. Белоруссия были к нам присоединены не по нашей воле, а по воле самих же их жителей. Вот и сейчас СССР не хочет присоединять Финляндию к себе, а хочет только проучить ее правителей за угрозу: освободить финнов от ига поработителей, дать свободу им, а потом отозвать обратно свои войска, чтобы народ Финляндии по своему усмотрению устраивал там, какой ему будет угодно строй.

Так-то, мои милые ослы! Мало вы учились еще, по всей вероятности! Еще природа не освободила ваши головы от тумана, а вы уже беситесь, как паяцы, всем служа посмешищем!<sup>45</sup>

30 ноября. Сегодняшний выходной ничего интересного мне не принес, но зато приятного очень много. Я просидел весь день дома,

---

<sup>45</sup> Фактически Лев Федотов повторяет все те аргументы, которыми сопровождалась эскалация советско-финского конфликта в советских средствах массовой информации.

и успел в «Италии» своей нарисовать три карты и одну диаграмму. Это, по-моему, очень большой успех! Карты я сделал следующие: «Продажа Италии», «Экономическая карта северной Италии», «Итальянская иммиграция» и диаграмму «Распределение угодий на Апеннинском полуострове». Сегодняшним днем я остался очень доволен. Ведь я за один только день сделал то, что мне следовало бы сделать в течение 4-х.

1-го декабря. Вот и наступил декабрь — первый зимний месяц, но последний месяц этого года! Ура! В конце его я уже буду в Ленинграде! Если бы вы знали, как я рад!

Занимались мы первые два урока наверху, в том маленьком тесном классе!

Еще перед уроками ко мне подошел Димка.

— Война! — сказал он.

— Что? — переспросил я. — Уже?

— Да, да! Наши войска уже углубились в Финляндию на 15 километров. Наши самолеты уже бомбили аэродромы Гельсинки. Финляндия-то уже сообщила об этом Англии ведь!

— Долго же она будет ждать у себя этих англичан, — саркастически сказал я. — А ты откуда это знаешь?

— Да вчера ночью передавали экстренные последние известия, — ответил Синка.

На истории я прошептал Салику:

— Неспокойные дни теперь для нас настали. Там Хасан, Монголия, Польша<sup>46</sup>, а теперь новое еще...

— Да, может быть, Англия ей и поможет... Кто ее там знает?

На географии — втором уроке — географ довольно близко познакомился с нашим незнакомцем. Последний уже начал входить в свою обычную колею, так что учитель несколько раз сделал ему замечания.

— И вы, Красильников, тоже замолчите, — сказал он Красиле. — А то болтаете весь урок. Итак, кто мне сейчас отвечал? А... Таранова. Так? Поставим отметку.

---

<sup>46</sup> Бои на озере Хасан с милитаристской Японией, вторгшейся на советскую территорию, шли с конца июня по 11 августа 1938 г. и закончились поражением Японии. Сражения на территории дружественной СССР Монголии с японскими захватчиками проходили с мая по сентябрь 1939 г. и также закончились разгромом японской группировки. На территорию восточной Польши советские войска вступили 17 сентября 1939 г.

— «Отлично» вполне можно поставить, — вдруг прозвучал в классе голос Красильникова. Все рассмеялись.

— Дайте свой дневник! — строго произнес географ. — Мне лучше знать, какие ставить кому отметки. Есть просто нарушители дисциплины, а есть наглые нарушители дисциплины. Вот вы наглый и есть! Да!

— Есть просто провокаторы войны, а есть наглые провокаторы войны, — сказал Сало при общем смехе. Учитель также не удержался от улыбки, но вдруг лицо его изменилось, и он вскричал, обращаясь к новому:

— Вы чего там? Идите сюда!

Незнакомец подошел к столу и остановился в какой-то странной позе.

— Раз вы сидеть не можете, тогда стойте, — проговорил географ. В классе послышался смех.

— Да почему? Я могу сидеть, — возразил тот.

— Ничего, ничего, стойте! В др. раз не будете разговаривать.

Географ подошел к нему и, улыбаясь, проговорил:

— Вот, выше меня. Выше учителя даже. А вести себя не умеет.

Все покатались со смеху.

— Нужно расти вверх, — ответил наш верзила.

— Это правильно, — согласился учитель. — Нужно расти вверх, но также нужно расти вверх и по дисциплине, а у вас этого нет, а вы наоборот!

Виновник молчал. Географ подумал и изрек:

— Садитесь!

Следующим уроком у нас была геометрия, и мы всей гурьбой с шумом и гамом спустились вниз в физический кабинет. Около кабинета биологии я встретил Изю. Мы с ним поздоровались (это у нас принято) и разговорились о политике.

Читатель, если он читал мои записи 1935 года, знает, что Изя Бортян мой старый товарищ еще по тому классу, в котором мы раньше с ним вместе учились. Это серьезный развитый парень, достойный похвал.

— Да, я это уже знаю, — сказал он. — Наши самолеты уже разбомбили два аэродрома финнов в Гельсинках и в Вингури.

— Смотрю вот я на карту, — проговорил я, — и вижу, как мала эта Финляндия и как задириста. Она на Англию надеется!

— А как ей Англия поможет? — произнес Изя. — Самый лучший путь для нее — это Балтийское море. Но зато этот путь закрыт бе-

регами Германии. Англия ведь сейчас воюет с Германией, значит, та ее не пропустит.

— Действительно, это верно! — вскричал я. — Да вообще-то Англия еще вместе с Францией не справится с Германией, а уже на нас хочет через Финляндию идти! Руки коротки! Ты смотри только, какое там движение против войны. А ведь оно увеличится вдвое, если Англия пойдет на СССР, так как английские угнетенные не позволят, чтобы их страна шла против единственной социалистической державы.

— Вот в том-то и дело, — подтвердил Изя<sup>47</sup>.

После этого разговора со мной уже ничего интересного в школе не произошло.

Придя домой, я первым делом взялся за газету. На первой странице «Правды» был напечатан большой портрет т. Кирова. Ровно 5 л. прошло с того момента, когда трусливая подлая рука врага из-за угла направила на нашего товарища дуло пистолета и спустила курок. Хороший был Киров человек! Очень хороший!... Нет, я обязательно пойду в музей его, когда приеду в Ленинград.

В сегодняшней газете был напечатан радиоперехват: «Обращение Финляндской коммунистической партии к трудящимся Финляндии». Я сейчас же его весь прочел. Очень хорошо сказано там все! Просто и ясно! Надеюсь, это поймет каждый рабочий, каждый крестьянин, каждый интеллигент и солдат. По-моему, после ознакомления финляндской армии с текстом этого обращения все солдаты должны, не замедлив ни на минуту, восстать против тупоумных правителей Финляндии, ведущих к неминуемой гибели в борьбе с Советским Союзом<sup>48</sup>.

Снова появились теперь в газете подобные заметки, вроде: «Наши войска в таком-то направлении углубились от границы на 15 километров и заняли такую-то деревню. В северном направлении наши войска заняли поселок такой-то» и т.д. Только раньше это пи-

---

<sup>47</sup> В течение всего первого месяца войны советская печать выдерживала мажорный тон в отображении советско-финского противостояния, подчеркивая абсолютное превосходство Красной армии над войском противника. Кроме того, изначально война освещалась как защита финского народа от его национальных угнетателей. Такая подача создавала иллюзию солидарности трудящихся всего мира с Советским Союзом. Эти акценты пропаганды оказали воздействие на суждения подростков.

<sup>48</sup> Речь идет о стремлении советской пропаганды создать видимость раскола среди финнов, показав, что в стране действует влиятельный отряд коммунистов, поддерживающий Красную армию.

салось про Польшу, а теперь уже... про Финляндию... Как-никак, а сильна наша армия! Тоже Финляндия еще захотела с нами померяться силами. Теперь она видит, что такое армия Советов! Собственно говоря, финны даже не оказывают сопротивления, а прямо отступают, избегая открытого боя и насаживая по дороге предательские мины. Эх! До чего же они подлые и трусливые твари! Не будь мин, мы бы не потеряли ни одного почти бойца, ибо наши войска даже и не вступали в бой со слабой армией Финляндии, а вот из-за этих предательских мин сколько уже погибло наших бойцов!

Теперь-то финны знают силу Красной армии! И то правда! Какое же упорство может оказывать букашка слону? Какое? Разве только то, что она раскроет свои крылышки и упорхнет за тридевять земель? И это видно на деле! С какой легкостью наша армия захватывает финские районы, а вражеские войска даже боятся сопротивляться. Что они могут сделать своими первобытными ружьями против гаубиц наших войск. Красная армия, откровенно говоря, просто одним дуновением сметает финских вояк со своего пути, честное слово!

Ну, ладно! Покамест о политике хватит!

Мне кажется, что я не успею полностью закончить оформление итальянского доклада к новому году, т.е. вернее сказать, к поездке в Ленинград, чтобы исполнить просьбу Раи и захватить его туда с собою, поэтому я решил кое-что в докладе пропустить и оформлять только самое основное, а уже потом, если останется время, вернуться к пропущенному — менее важному. Сегодня я так и сделал. Я решил пропустить ту главу, оформление которой вообще-то известно каждому, поэтому с нею мне и нечего спешить. На мой взгляд, это больше всего подходит к главе «Великие люди Италии», ибо портреты великих людей этой страны и без того известны каждому. А я лучше сделаю самое важное и существенное. Тогда у меня есть шансы на то, что я смогу успеть к концу этого месяца закончить главное, т.е. лицо доклада.

Итак, сегодня я перешагнул через главу растений и приступил к главе о колониях Италии. Я набросал карандашом на карточке вид Ливийской пустыни, как вдруг ровно в 6 ч. вечера услышал вечерний выпуск последних известий. Я поставил радиоприемник на письменный стол и вместе с мамой стал слушать. Не буду много расписывать о том, что мы услышали, но скажу кратко. Мы услышали о том, бараноподобное правительство белогвардейское, услышав, что войска СССР

перешли границу их страны, растерялось, и его члены подали в отставку. Достукались, каналы? А кто виноват? Сами! Какая-то нелегкая вас подталкивала на эту подлую миссию! А вот оно в чем дело! Англичане! Ну, да, теперь-то я в этом уверен так же твердо, как в том, что 5 и 5 будет 10. Да, да! К тому же многие солдаты финляндских войск, поняв обращение компартии, восстали против горе-правителей. Народ также поднял восстание, отказываясь воевать с Советским Союзом, и уже в гор. Териоки (вост. Финляндия) образовалось Народное правительство новой демократической Финляндской республики во гл. с Отто Куусиненом<sup>49</sup>. Война с СССР окончилась! Она началась сегодня в 3-ьем часу ночи и окончилась сегодня днем. Теперь война идет внутри самой Финляндии, война гражданская, война двух правительств — нового правительства свободной Финляндии и темного страшного «правительства» Таннера, заменившего бежавших Каяндера и Эркко. Это, по-моему, была самая удивительная по своей краткости война в истории, ибо она существовала всего лишь в течение полусуток. Удивительная война!

Лишь только окончился выпуск последних известий, как к нам позвонила Люба:

— Ты слышал сейчас выпуск последних известий? — спросила она меня.

— Да, да! У нас радио было включено.

— А мамка?

— Как же?! Тоже слышала.

— В таком случае я вас поздравляю.

— Спасибо, спасибо, — ответил я, смеясь. — И тебя тоже.

— Ну, ладно, — заключала Буба. — Я иду к вам, как мы уговорились. А Анюта будет у вас?

— Да, она обещала придти, — ответил я.

— Я иду.

На этом разговор наш окончился. Я передал его маме, и мы стали дожидаться Бубу и Анюту.

— Маня тоже сегодня обещала к нам придти, — сказала мама. — Может быть, и Тоня придет.

---

<sup>49</sup> Речь идет о формировании с помощью Советского Союза в противовес официальному т.н. Народного правительства Финляндии во главе с коммунистом Отто Куусиненом. Однако в действительности это правительство не имело рычагов влияния в Финляндии. Вопреки суждению Левы, война с Финляндией после образования этого правительства не только не окончилась, но продолжилась с нарастающими трудностями для РККА.

— А Алексей?

— Не знаю.

Читатель, надеюсь, помнит еще по моим летним записям в Удельной, что Маня и Алексей — это наши старые знакомые, а Тоня и Петя — их дети.

Вскоре пришла Люба. Я думал, что она придет с Галей, или иначе с Гагой (как я ее зову), но последней не оказалось, да это меня и не удивило, ибо мне прекрасно известно, что Гага учится в вечерней школе. Если читатель забыл, то могу напомнить, что Гага — моя двоюродная сестра. Это именно у нее на даче я и был летом в «Белых столбах» с Монькой-маленьким. Прошу не путать Моньку-маленького и Моню-большого. Первый — мой двоюродный брат, 10 лет от роду, из Малой Вешеры, а второй — ленинградец, виолончелист, лауреат, около 30 л. от роду, Раин муж, или, короче говоря, также мой двоюродный братик.

Через несколько времени пришла Анюта, и мы все провели от-лично время, беседея о политике.

В тот момент, когда мы сидели за столом и распивали чаек, пришла Маня. Мы с восторгом ее приветствовали, а еще через некоторое время приехала и Тоня. От них я узнал, что Петя, не окончив институт, уехал на Дальний Восток учителем на пару лет. Я был удивлен и поражен до крайности.

— Как бы и ты куда-нибудь не улетела, — с опаской проговорил я, обращаясь к Тоне. — Ведь ты уже 10 класс кончаешь. Скоро пой-дешь.

— Не кончаю, а начинаю, — поправила она. — Сейчас еще и пер-вое полугодие не окончилось.

Вечер прошел дружески и мирно. Я Тоньке показал образцы моей деятельности, как-то: итальянский и украинский доклады, но предупредил ее, конечно, что текст последнего писан не мною. Мы говорили с ней об учебе, вспоминали о наших былых проказах в Ср. Азии и т.д. Повод к воспоминанию о Ср. Азии дал мой застеклен-ный рисунок узбекского храма Регистана, короче говоря, мы с ней беседовали, как старые знакомые и товарищи.

— А где Алексей? — спросил я.

— Папа-то?

— Ну да. А где он? Почему же он не пришел-то?

— Да там его задержали. Да еще и дома нужно кому-нибудь быть, и то, знаешь, у нас в Сокольниках народ отчаянный.

Потом Маня и Тоня ушли, Анюта у нас осталась ночевать. А Люба, когда уходила, спросила меня:

— Ну, ты не забываешь 15-ое число декабря?

— Что ты?! Конечно, нет! Я его все время вспоминаю — ответил я, зная, что 15-го декабря — день рождения Гаги.

— Так ты не забудь. Ведь уже скоро. А у тебя когда? Я что-то забыла. В январе, кажется?

— Ну, да. 10 января, — сказала мама.

— Только, кажется, меня не будет тогда в Москве, — добавил я. — Я в Ленинград еду на каникулы.

— В Ленинград? — протянула Буба. — Вот в том-то и дело, что навряд ли. Ведь он все время сейчас напряжен. Недалеко от него ведь военные операции происходят. Его могут закрыть вовсе.

— Да... — вздохнул я. — Я об этом уже думал. Жалко, правда!.. Но будем надеяться, что за месяц, к Новому году, к каникулам, все уже уладится.

— Будем надеяться. Посмотрим, — сказала Люба. Она ушла, и мы стали готовиться ко сну. Ну, а потом я сел писать дневник, а теперь, вот именно в этот самый момент, я его кончаю.

2 декабря. Боже ты мой, до чего замечательный у нас физик! Я от него без ума, честное слово. Почему? Пожалуйста. Я вам сейчас скажу. Ну, например, взять хотя бы сегодняшние два последних урока физики.

Ввиду того, что наш физический кабинет занял десятый класс, мы отправились наверх, в тот самый маленький классик, с которого мы всегда начинали I-ый день каждой шестидневки.

Лишь только мы уселись, как вдруг дверь класса открылась, и в класс вкатился наш толстенький Василий Тихонович. Мы даже еще не успели затихнуть от неожиданности.

— Тише, тише, тише, мои дорогие друзья, — почти зашептал Василий Тихонович. — Давайте тише...

С этими его словами класс приобрел веселое настроение, залился смехом. На это физика совершенно не тронуло, он начал еще пуще прежнего:

— Но что-о-о это такое, — развел он руками. — Во-от стараются! Ну чего, чего вам? — спросил он добродушным голосом, усаживаясь за маленький столик и открывая журнал. — Ну, тише, тише, мальчики. Мальчики, тише. Тише, девочки. Девочки! Тише, миленькие девочки.



Мы чуть не сошли с ума! Многие, забыв обо всем на свете, не стеснялись ни товарищей, ни В.Т., хохотали во весь голос.

— Ну, будет,— сказал, наконец, В.Т.— Повеселились и хватит. Кто там еще разговаривает? — вдруг спросил он.— Перестаньте! Ай-ай-ай, какие говоруны! Ну, что еще не наговорились? Что же, я подожду. Может быть, вы пойдете в зал? А действительно, идите, а то мне нужно урок начинать. Идите, кто хочет, поговорите, а потом возвратитесь.

— Да-а, а вы не пустите обратно,— протянула Андреева.

— Я, да не пушу?— удивился В.Т.— Никогда! Как же я могу не пустить, раз я сам вам предложил вдоволь наговориться в зале, а потом возвратиться.

— Пустите, значит? — спросила недоверчиво Зайцева.

— Пожа-алуйста,— важно протянул учитель при общем смехе.

— А вы потом скажете директору,— проговорила опять Зайцева.

— Ну, что вы, друг мой сердешный,— сказал физик.— Я честный человек, я никогда ни от кого ничего не скрываю. Когда вы шумите, я тут же вам делаю замечание, и этим дело всегда у меня кончается. Не дальше того, что я вам говорю при замечаниях, Да и зачем это? Зачем? Я человек честный. Я вас всегда понимаю, никогда на вас не кричу, а разговариваю как с товарищами. Так ведь? Вы разве видели, чтобы я когда-нибудь выгонял кого-либо из класса? Нет. Я никогда не буду никого выгонять. Это только, наоборот, ухудшает дело. Я всегда открыт. Вот и сейчас вы разговаривали, и я вам просто дружески предложил выйти из класса в зал с тем, чтобы вы, не мешая занятиям других, поговорили в зале, сколько душе угодно, а потом, пожалуйста, заходите, и я ничего вам плохого не скажу.

Класс одобрительно шумел.

— Ну, а теперь, друзья мои, тише, тише и тише,— закончил В.Т. свою импровизацию. Однако на этом дело не окончилось, ибо он обиженным тоном вдруг сказал:

— Ну вот, видите, я из-за вашего шума сделал в журнале ошибку. Вместо «работа» написал «работы». Видите, как вышло?

— Но это небольшая ошибка,— сказала Цветкова.

— Как это небольшая? Большая ошибка, очень большая, да! Ну, ладно, друзья мои, приступим к уроку.

Я хочу предупредить читателя в том, чтобы он не думал того, о чем, очевидно, подумал сейчас, в этот момент. Не думайте, пожа-

луйста, что В.Т., ведя с классом подобные разговоры, только отнимает от урока время и зря его тратит. Совсем нет. Наш физик никогда не скажет лишнего. Чтобы вам это подтвердить, я не скрою и подскажу вам, что, несмотря на вышеописанные переговоры с нами, он не только успел просто и понятно объяснить нам новую и довольно большую тему, но еще и порешал с нами задачки. Это уже такой гениальный человек!

Итак, В.Т. приступил к уроку.

— Ну, друзья мои сердешные, сейчас мы с вами разберем новую тему, — сказал он. — Тема называется «Работой». Напишите-ка заглавие. Первым делом я хочу еще вас спросить: как, по-вашему, что такое работа? Ну, кто из вас скажет?

Опровергнув все аргументы выступавших питомцев своих, В.Т. велел нам записать следующее:

— Работой, друзья мои хорошие, называется преодоление сопротивления, — проговорил он поучительным тоном, — на некотором расстоянии. Запомните!

Немного побеседовав с нами, он сказал:

— Но самое лучшее определение работы мы имеем у Энгельса. Энгельс говорит, что «работа есть изменение формы движения, рассматриваемое с количественной стороны».

После этого В.Т. объяснил нам, как подобает, это определение Энгельса, а потом продолжил:

— Вообще примеров работы существует чрезвычайно огромное количество, чрезвычайно огромное. Любой взмах рукой, вооруженной молотком, углубившийся в дерево после этого удара гвоздь, работа машины, действие воды, звуковые волны, ток электричества, накал лампочного волоска, движение лучей — все это есть разновидность движения, следовательно, это есть работа. Но работой, друзья мои, не будет называться, скажем, бессмысленное держание в руках какого-нибудь предмета. Я буду, например, держать на руке книгу, — с этими словами он взял журнал, — но не двигаться с места, — и это разве будет называться работой, если я неподвижно буду стоять, как столб, и держать зачем-то книгу? Совсем нет. Я ведь устану, ослабею, но это меня ни к чему не приведет. Мне за это никто плату не даст, ибо работой-то вот именно и называется преодоление сопротивления на расстоянии. Если я возьму да перенесу эту книгу с места на место, тогда это будет работа. Предположим, какой-нибудь мальчишка стоит и подпирает стену. — При этих словах В.Т. подошел к стене и уперся в нее руками. — Пусть он стоит час,

два, три... целый день! И напрасно он будет думать, что за это кто-нибудь заплатит денежки. Хотя он устанет, от него пойдет пар, как от самовара, он изнурит себя, но это не будет называться работой. Придет этот малыш домой и скажет: «Ах, папочка с мамочкой, дайте покушать мне скорей, я уж очень сильно умаялся!» — «Да что же ты делал, наш ненаглядный?» — «Да стоял и стенку подпирал!». — Последние слова В. Т. потонули в громовом смехе. — «Да ведь она и без твоей помощи стоит!» — ответят ему его благоразумные родители, — продолжал наш физик.

После уроков, когда мы спустились в парадную, я сказал Мишке:

— Вот учитель так учитель. Он и учит, и шутит.

— Да-а, — протянул Михикус. — Это нужно быть только Василием Тихоновичем, чтобы так весело, легко, понятно преподавать такой трудный предмет.

Ну, мой дорогой читатель, разве тебе не нравится наш физик? Ну, чем он плох? Разве только тем, что всегда шутит, но успевает укладывать намеченный урок точно в 45 минут? Веселый же он, дядька, право!

3 декабря. Сегодня газеты известили о договоре о дружбе, ненападении и о взаимопомощи между СССР и Финляндской демократической республикой. Вот мы уже и друзья Финляндии. По данному договору мы для общей пользы, то есть для своей же пользы и для пользы Финляндии, уже имеем возможность укрепить свои границы на Балтике и обезопасить Ленинград. Финляндия продала нам кое-какие острова и часть территории на Карельском перешейке, идя нам навстречу в нашем желании отодвинуть гос. границу от нашего славного города Ленина. Мы же дали ей часть Карелии, воссоединив кровные народы Карелии и Финляндии<sup>50</sup>.

Таким образом, мы достигли своей цели, несмотря на желание врагов подорвать наше стремление.

Что не вышло со старым правительством Финл., то прекрасно вы-

---

<sup>50</sup> 2 декабря между СССР и Народным правительством Финляндии был подписан Договор о взаимопомощи и дружбе, удовлетворивший территориальные притязания СССР. Несмотря на заявления советской прессы о том, что старое правительство бежало, и подписание мирного договора с новым, военные действия продолжались вплоть до марта 1940 г. Только после прорыва частями РККА линии Маннергейма и возникновения реальной угрозы захвата страны Финляндия запросила мира, который и был подписан 12 марта на условиях, удовлетворивших СССР.

шло с демократической республикой. Теперь границы на Балтике укреплены, и пусть те старые глупцы грызутся на нас, это уж нам безразлично, ибо теперь-то они ничего не могут сделать. СССР выиграл, его желание исполнилось, а стремление его врагов рухнуло.

Таким образом, Финляндия ведь осталась свободной независимой страной, и мы не думаем ее присоединить к себе. Ведь факты уже налицо, а факты, как сказал т. Сталин, — упрямая вещь! Они говорят сами за себя, против них ничего не скажешь, раз они существуют. А те-то олухи еще орали, что мы собирались «захватить» территорию Финляндии. Ну, и глупцы же они! На выставке дураков они бы, бесспорно, взяли первую премию — я клянусь в этом.

Нужно было бы вам, господа, немного подождать, а уж потом кричать о мнимом захвате СССР, а вы уже заранее дерете глотки, не зная, что еще будет впереди, да и попали впросак. Поспешили, да весь мир насмешили! Захватили мы Финляндию? Присоединили ее к себе? Не дали трудовым финнам образовать свое правительство и укрепить свою независимость? Что вы теперь скажете? А кричали заранее! В таких случаях всегда следует подождать, увидеть и услышать, что будет, а потом развязывать свои органы речи! Олухи! Учить вас, по всей видимости, еще нужно!

**4 декабря.** Сегодня в школе у меня было какое-то праздничное настроение. Завтрашний, Конституции свободный день, уже заранее налагал на меня свою руку. Короче говоря, настроение у меня было прекрасным! Не знаю почему, но самый лучший из свободных дней в течение года, по-моему, 5-ое декабря, и я его всегда с нетерпением жду. Придя домой, я себя почувствовал первым из счастливых во всей вселенной, ибо впереди были свободные два дня! Примерно под вечер, часов в 6-ть с работы позвонила мама. Она сказала мне, что завтра она работает утром и что вечером хочет со мной сходить к Генриетте, так как мы у нее уже давно не были.

— Ты позвони сейчас к ней и договорись, — сказала она мне.

Вот видите, как это плохо, когда человек, пишущий дневник, с самого начала не знакомит читателя с теми, кто его окружает. Вот и я сейчас именно поэтому-то и вынужден читающего смертного познакомить с тем, кого принято величать Генриеттой.

Генриетта — это наша чрезвычайно старая знакомая, которую мама знает еще по Америке. Генриетта, можно сказать, вообще-то американка, поэтому она, кроме русского, еще в совершенстве знает и английский язык, так же, как и ее муж Саша и их дочь Вайола. Ген-

риетта — пожилая женщина, весьма добрая и гостеприимная, невысокого роста, с шевелюрой угольных волос. Саша также пожилой мужчина, веселый и простой, роста не слишком высокого — среднего, даже можно сказать. Их дочери, которая родилась в Америке, всего лишь, кажется около 10–11 лет — я это точно не знаю. Но дело в том, что скоро, а именно 18-го декабря, будет ее день рождения, и число годов, прожитых ею, мне станет известно. Это — чрезвычайно веселая девица, довольно толстенная, румяная и упитанная, как сдобная пышка. По-русски она уже болтает так, как болтает на этом же языке любой уроженец Москвы, проживший столько же, сколько и она. Волосы у нее черные, с пробором посередине и сзади оканчивающиеся двумя небольшими косичками с бантами.

Живут они у Красных Ворот в большом сером доме, стоящим рядом с выходом метро. Квартира их расположена на верхнем этаже. Она представляет из себя агрегацию двух весьма обширных комнат, кухни, ванной, ну... и небольшого придатка, не косвенно касающегося пищеварения человека.

Комнаты их очень светлые, уютные, хорошо и красиво обставленные, в которых преобладающее большинство американских предметов мебели.

Итак, после того, как я разъединился с мамой, я достал лист бумаги и карандаш с тем расчетом, чтобы сейчас же, разговаривая с Генриеттой, записывать разговор, ибо это нужно для непосредственного знакомства читателя с нашей знакомой, еще совершенно незнакомой ему.

Вот мои записи, набросанные быстрой рукой.

Я, значит, набрал номер и вскоре услышал голос Генриетты:

— Але!!

— Это Генриетта? — спросил я, несмотря на то, что и без того прекрасно узнал ее.

— Да. А это Лева?

— Да, я!

— Ну, что там у тебя?

— Вы завтра будете дома? — спросил я в свою очередь.

— А ты хочешь придти?

— Да, мы с мамой хотим придти к вам вечером.

— Утром вот мы идем в кино, а вечером, не знаю, может быть, в театр, не знаю точно.

— Тогда можно созвониться, — сказал я.

- А мама работает?
  - Да. Она сейчас на работе.
  - А завтра как?
  - Завтра она работает утром.
  - А придет домой когда?
  - В 5-м часу.
  - Хорошо, я тогда ей позвоню. Ну, а у тебя что слышно?
  - Да так, все по-старому.
  - Ну, ладно. До свидания. Приходите!
  - Ладно, ладно, всего хорошего.
- На этом наш разговор окончился.

5-го декабря. Но сегодня мы все же не смогли пойти к Генриетте. Мама достала мне билет в свой театр на новую пьесу «Брат героя»<sup>51</sup>, и вечер мы убили на присутствие в МТЮЗе.

Утром сегодня встал довольно поздно, ибо лег вчера тоже не в ранний час. Днем мы с мамой хотели пойти к бабушке, но потом это оказалось невозможным, и мама пошла на работу, а я остался дома.

Чтобы успеть сегодня прочесть Модесту Николаевичу свой 5-й день, я решил пойти к нему как можно раньше. Я позвонил ему, и мы уговорились встретиться в 4-е часа.

Покамест я читал этот 5-й день, М. Н. расклеивал в альбоме снимки, произведенные им и М. Ив. во время плавания по Оке, Волге, Каме и Белой. Однако ввиду ограниченного времени я не дочитал до конца, так как М. Н., узнав о том, что я иду в театр, сам поторопил меня.

Четверть седьмого мы кончили заниматься, и М. Н. сказал мне:

- Шпарь! И, гляди, не опаздывай в театр.

Я примчался домой, разгрузил портфель от нот и ввиду того, что я замешкался, то решил уже не идти пешком, а ехать на метро. Я очень боялся, что опоздаю. С быстротою молнии я очутился на ст. «Библиотека им. Ленина» и, доехав до «Охотного», пересел на поезд, идущий к «Маяковской». Выйдя на данной площади, я свернул в ул. Горького, и направился к театру. Как назло на улице толпилось много народу, и мне волей-неволей приходилось своей энергией вызывать у встречных проклятия и ругань по моему адресу. Однако я пришел вовремя.

---

<sup>51</sup> Очевидно, по повести Л. Кассиля «Брат героя» (1938), ставшей одним из лучших произведений советской детской литературы.

Пьеса мне чрезвычайно понравилась. Описывать ее или излагать мое впечатление после просмотра я сейчас не буду; я советую просто-напросто каждому сходить на эту постановку, и тогда он по своему впечатлению сам догадается, какое впечатление осталось во мне.

Обратно я уже шел пешком, между тем, как мама поехала на трамвае. Москва была одета во все праздничное в честь дня Сталинской конституции. На обширной Манежной площади стояли освещенные елки, трибуны, ларьки с лакомствами и два мощных прожектора, излучавших на здание Манежа потоки ослепительных лиловатых световых потоков. В лучах их стояли две стеклянные вращающиеся тумбы, бросающие на окружающие строения оригинальные полосообразные отражения, похожие на летящих по горизонтали гигантских снежинок. Это было весьма остроумное изобретение.

Я с удовольствием потоптался около прожекторов, а затем направился к елке. Кругом сновали толпы кричащих людей, где-то на платформе грузовика ревел военный оркестр, а у самого Манежа, на освещаемой сцене, топали какие-то плясуны, изрыгавшие частушки в скороговорном стиле.

Все это вселяло в меня какое-то радостное настроение, и я думал про себя: «Ну, как это только можно не описать в своем дневнике?! Обязательно это опишу! И особенно эта елка! Вид разукрашенной ели всегда напоминает мне веселые свободные новогодние дни! Наконец, я повернул на Моховую и тронулся дальше. Мама уже была дома, когда я пришел домой. Не тратя зря времени, ибо был уже первый час ночи, я принялся за ужин.

— Ну,— сказала мне мама.— Пора уже подумывать о билете в Ленинград. Ведь их заранее всегда следует приобретать, а то потом можно и не достать. Ты напиши Рае письмо и спроси, как там у них в Ленинграде в эти дни.

— Может быть, еще и нельзя будет поехать,— проговорил я с явной досадой.— Черт бы побрал этих финских дураков!

— К концу декабря уже должно все уладиться,— успокоила меня мама.

— Придется мне этот наш разговор записать в дневнике,— сказал я.— Ведь на всех этих мелочах основывается такое событие, как моя поездка в Ленинград. Я этот разговор обязательно запишу... И это, что я сейчас сказал, тоже запишу. Это, наоборот, будет только оригинально. И это, что я только сейчас вот сказал, также запишу!..

— Да будет тебе, — остановила меня мама. — Так и конца этому не будет.

— Ошибаешься, конец уже настал, — ответил я.

На этом данный день закончил свое существование.

6 декабря. В грамзаписи сегодня в 12 ч. дня передавали мою любимейшую оперу Чайковского «Пиковую даму».

Слушая это гениальное произведение великого русского композитора, я заодно рисовал рисунок «Стоянка туарегов» к главе «Колонии Италии» из доклада по Италии. К концу оперы я его уже кончил.

Именно сегодня я закончил последний рисунок Украинского доклада, так что теперь мне остается только изрисовать обложку, а затем приклеить ее к альбому вместе с листами, заключающими в себе текст самого доклада.

Около 5-и часов позвонила Генриетта. Я сказал ей, из-за чего именно мы не пришли к ней вчера, и она пригласила меня к себе на сегодняшний вечер. Я дал, конечно, согласие.

Ни минуточку не медля, я оделся и вышел на улицу. Было уже темно. Мост был, следовательно, уже освещен. Погода была замечательной, так что я с удовольствием прошелся от нашего дома до метрополитеновской станции.

Когда я пришел к Генриетте, ее самой не было дома, ибо она с Виолой куда-то ушла. Дверь мне открыл Саша.

— А-а, Лева! — сказал он. — Ну, как у тебя дела?

— Да так. Ничего, — ответил я.

Я разделся и вошел в столовую.

— Ну-с, иди пока что к Виоле в комнату. Там книги, пианино. А она сейчас придет.

Во время моей игры в комнату вошла Виола.

— Здравсте! — пропищала она, надувая щеки.

— Здравствуй, — ответил я.

— А мне вот сейчас подарили игрушки для елки. — И она выложила небольшую коробку на маленький столик.

— У меня, правда, их еще мало, но мы еще купим их, — сказала она, разбирая блестящие украшения. — У нас будет, может быть, елка к моему дню рождения. А ты придешь ко мне тогда?

— Приду! Конечно, приду, — ответил я. — Уже недолго осталось. Всего лишь две шестидневки. Сейчас 6-ое, а у тебя будет ровно 18-го. А 15-го я тоже иду на день рождения.



— А к кому?

— К Гале,— сказал я.— Ты еще, может быть, помнишь? Ты у меня ее видела.

— Это твоя двоюродная сестра?

— Ну да.

С игрушками мы провозились порядочно. Просмотрев их, мы стали поочередно играть на пианино по предложению Саши.

Короче говоря, вечер я провел у них превосходно. Уходя домой, я дал Генриетте слово, что обязательно приду к ним 18 декабря. Таким образом окончился этот день. Все-таки как быстро пролетели эти два свободных дня. Удивительно! А завтра опять уже в школу...

7 декабря Несмотря на то, что я всеми силами старался не видеть в сегодняшнем дне ничего интересного, чтобы сегодня уж не садиться за дневник и, таким образом, отдохнуть от него немного, я все-таки вынужден кое-что записать из сегодняшнего дня.

Сегодня на истории (в этом самом тесном маленьком классе) Сало нагнулся ко мне и с загадочным видом прошептал:

— Левик, ты хочешь присоединиться к нам... с Мишкой? Только никому... никому... не говори.

— Ну, ну! А что?

— Знаешь, у нашего дома там в садике стоит церковь? Это церковь, кажется, Малюты Скуратова<sup>52</sup>.

— Ну?

— Так мы с Мишкой знаем там подвал, от которого идут подземные ходы... Узкие, жуть! Мы там были уже. Вот хочешь с нами организовать такую группу? Мы знаем, что ты пишешь «Подземный клад», так что тебе это будет очень интересно. Ладно? Мы снова на днях хотим туда пойти, в эти подземелья. Только никому не надо говорить. Это вообще не следует разбалтывать. Ну, а если туда будут ходить целые толпы, тогда это не будет так интересно, да и заметить нас тогда еще могут. Так что никому не нужно говорить.

— Можешь на меня положиться,— серьезно сказал я.— Если нужно, я умею держать язык за зубами, как не всякий иной.

В течение всего урока Салик рассказывал мне об их былых приключениях в подземельях под церковью, и я только загорался страстью и любопытством. По его рассказам, там были чудовищно узкие

---

<sup>52</sup> Имеется в виду церковь XVII в. Святого Николая в Берсеневке. По преданию, на этом месте в XVI в. находились палаты Малюты Скуратова.

и низкие ходы, по которым нужно было пробираться или ползком или боком, да и то тогда одежда плотно касалась противоположных стен, до того эти проходы были узкими!

— Когда нет лучшего, нужно довольствоваться худшим, — сказал я. — Когда нет естественных природных пещер, нужно не пренебрегать искусственными подземельями.

— Да-а... худшее! — проговорил серьезно Олег. — Знаешь, как там жутко, небось, получше и многих естественных пещер.

На перемене меня Мишка спросил — сказал ли Сало о подземельях Малюты Скуратова. Я сказал, что да.

— Мы, может быть, пойдем завтра, — проговорил Михикус. — Так как на послезавтра у нас мало уроков, и пойдем туда часа на три. Ты только одень что-нибудь старое, а то там, знаешь, все в какой-то древней трухе. Мы, дураки, пошли сначала в том, в чем обычно ходим, а я еще даже одел новую кепку, чистое пальто, так мы вышли оттуда все измазанные, грязные, обсыпанные, как с того света. Вот побудешь там, так все увидишь! А ходы-то там! Ух, ты-ы! Жуть! Все в трухе, на полу какая-то плесень цветет, сыростью пахнет... прямо могила! Целые пещеры прямо, и темнота... ни черта не видеть! Вот мы специально заготовим свечи и фонарь, иначе там пропадешь. Стены-то там из кирпичей, кричи не кричи, пиши, пропало. Прямо заблудиться ничего не стоит. Там целые лабиринты. Если потеряешься, заблудишься — пропал. Ведь там и развернуться-то негде. Иной раз полезешь по проходу головой вперед, а назад-то повернуться и не можешь, вот и пяться назад, как крот, ногами вперед. А что, если обвалится?

Я слушал, и любопытство овладевало мною все больше и больше. Ведь я еще не был в искусственных ходах, не то, что в естественных пещерах, так что возможность увидеть хотя бы и первые меня неимоверно прельщала. Я представлял себе мрачные темные ходы, сырые и жуткие, зловещие залы с плесенью по стенам, подземные переходы, колодцы, и это все переполняло мою чашу терпения и воображения. Я не представлял себе, что мне скоро суждено это увидеть наяву, короче говоря, я был в наивысшей точке напряжения. Мне даже трудно описать все мои чувства.

На геометрии, в физическом кабинете Сало начертил мне примерный план тех ходов, которые они уже исходили с Мишкой, и я его постарался запомнить. Но дома меня неожиданно объяло

сомнение. Мне почему-то вдруг показалось, что Мишка и Сало меня просто-напросто разыгрывают, потешаясь над моею доверчивостью. Я решил вести себя осторожно и более сдержанно, чтобы укротить их в своей проделке, если это только, действительно, правда.

Вечером ко мне позвонил Мишка, который позвал меня к себе, чтобы побеседовать со мною насчет задуманного путешествия. Здесь мне пришла в голову небольшая хитрость, которая поогла бы мне установить, разыгрывают они меня или нет. Прекрасно помня план подземелий церкви, начерченный Олегом, я решил сверить его с планом, который должен был бы по моей просьбе начертить Михикус. Ведь нет сомнения в том, что они заранее по этому поводу не сговорились. Я предложил Мишке начертить примерный план ходов.

— Да я его так не помню, — ответил он. Я пристально посмотрел на него.

— Ну, хотя бы кое-как, — снова попросил я его.

— Да так трудно... Ну, ладно. Вот смотри, вот... смотри. — И он стал набрасывать своей самопиской планы залов и ходов на тетрадном листе бумаги. План был в точности такой же, как у Сальковского. После этого Мишка стал мне рассказывать об остальных их приключениях в подземельях и рассказал мне также о том, что Сало чуть было не провалился в одном из колодцев и в другой раз из-за своей грузной фигуры чуть было не застрял в узком проходе. По голосу рассказывающего я окончательно убедился в том, что он говорит правду!

— Знаешь что, Мишка! — сказал я. — Я думаю эти подземные путешествия несколько преобразить. До этого ты с Олегом ходил ради любопытства, а теперь я предлагаю захватить с собою карандаш и тетрадку, чтобы кое-что там зарисовывать, записывать наш путь, а также и все наши разговоры, ну и наносить точный план ходов. Это все нам впоследствии может пригодиться с научной точки зрения.

— Это хорошо, — согласился Михикус. — Так как ты ведешь дневник, то ты все записи-то наши и запиши туда. А затем, ведь ты рисовать умеешь, так что ты и будешь там заведовать этим, ладно?

— Что же, я согласен. А знаешь, еще что? — сказал я. — Нужно будет нам обязательно записать наши самые первые слова, произнесенные нами при входе в подземелье. Это будет потом нам и ин-

тересно, а также это будет и большой оригинальностью. Ты понимаешь меня? Вот что именно мы скажем, как только очутимся под землей? Это нужно будет нам потом все записать, чтобы не забыть. Мы расположимся где-нибудь в каморке в какой-нибудь и запишем все. Ну, наверное, первым делом вы меня спросите — ты или Сало: «Ну, Левка, как здесь?» А я, очевидно, отвечу: «М-м... да так, ничего!»

— Это действительно интересно записать, — сказал Михикус. — Самые наши первые там слова! Это здорово!

— А я и это запишу в дневник, — сказал я.

— Что?

— Да вот это, что мы сейчас это говорим. Ведь на этих разговорах и основано наше так называемое путешествие, так что я их все запишу. И это, что я сейчас только что сказал, тоже запишу. И вот эти последние слова тоже запишу! И это... и это!

— Вот так без конца можно, — сказал Мишка. — «И это! И это!»

— А я не дурак, — проговорил я. — Я обязательно запишу в дневник эти слова твои, честное слово.

— А это запишешь, что ты только что сказал? — спросил Михикус.

— Кашу маслом не испортишь. Слово не вредит, — ответил я. — Запишу!

— Экий писака, — сказал он мне.

— Только, Мишка, имей в виду, нам сейчас придется сделать список вещей, которые мы думаем с собою взять.

— Ладно, — проговорил он. — Давай сделаем.

— Ну, говори, я запишу. — И я приготовился записывать.

— Первым делом фонарь электрический. Так? Затем свечей несколько штук, спички и часы ручные... Пото-ом... м-м-м... Ну, это... наш он... да! Лом! Небольшой лом, конечно, и долото тоже! Веревку с гирькой, чтобы измерять колодцы... Ладно?

— Идет, идет, — согласился я. — Давай дальше.

— Ну, затем... тетрадь, карандаш, циркуль... А веревку-то ты с гирькой мы разделим на метры. Ну и все. Да! Давай-ка я тебе наши свечи покажу, с которыми мы раньше ходили. — Мишка порылся в ящике письменного стола и извлек оттуда небольшую стеариновую свечу розового цвета. Он сказал мне, что она очень ярко горит, но с копотью. По моему предложению мы потушили лампу, и Михикус зажег эту свечу, чтобы я посмотрел, как она горит. Пламя свечи дей-

ствительно было большим, и оно отбрасывало мигающие отблески на стены комнаты.

— Туши, — сказал я, зажигая настольную лампу.

Затем я сказал ему:

— Главное, чтобы мы имели с собою или фонари, или свечи — это главное, ибо без них там мы будем жалкими и беспомощными. Пусть мы имеем и тетради, и горы карандашей, и молотки, и стамески, но мы слепы, мы ничего не видим!!!

Мишка рассмеялся. Когда я ушел, он снова мне напомнил:

— Так что не забудь. Одень что-нибудь старое, погрязнее. Иначе сам рад потом не будешь. Но мы еще сговоримся завтра в школе!

8 декабря 1939 г. Итак, сегодня мы решили покинуть подлунный мир и углубиться в загадочные подземелья церкви Малюты Скуратова. В школе Мишка переговорил с двумя учащимися 8-го кл. «Б» Торкой и Нелькой, и те обещали дать ему батареи к фонарю. Король по просьбе Михикуса притащил свой фонарь, который мы взяли на сегодняшний день для экскурсии. Я также рассказал Салику и Мишке о своем американском фонаре, и мы порешили его сегодня у Мишки на дому испробовать, так как я не был все-таки уверен в действии его батареи.

Мой фонарь имел цилиндрическую продолговатую форму; и основаниями этого цилиндра служили — гладкое стекло, через которое были видны лампочка и яркий чистый рефлектор (с одной стороны), и отвинчивавшаяся крышка — с другой. Через отверстие, накрываемое последней, можно было вставлять в фонарь трубообразные небольшие батареи, заключенные в картонную трубу. Весь фонарь покрыт никелем и имеет приятный внешний вид.

— Трудный путь у нас будет сегодня, — обратился ко мне перед физикой Сальковский, мило улыбаясь.

— Погуляем мы славно! — ответил я.

После уроков ко мне подошел Мишка и сказал:

— Ну, готовься уже. Сейчас у нас будет комсомольское собрание, а потом, как я только приду домой, я позвоню тебе. Примерно через час мы уже выйдем.

— Ладно, — сказал я, закусив губу.

Придя домой, я живо пообедал, сделал письменные уроки и стал подготавливаться. Первым делом я решил переодеться. Я пошел в ванную, вынул из бака свою грязную рубашу и, стянув чистую, на-

тянул ту на себя. Я решил пойти в галошах, так как на улице-то все же было мокро, а башмаки мои просили каши. Пальто я решил, конечно, одеть летнее, в котором я все еще продолжаю ходить. Оно у меня все равно старое, и мне не будет жалко, если я его испачкаю. Кепки я вовсе решил не одевать, так как будет лучше, если я вообще поменьше одену одежды, ибо от тела и от волос легче отмывать всякую пыль и грязь, чем от мануфактурных изделий. Я вынул из дивана свой фонарь, проверил его — он у меня не горел, разобрал и снова привел в порядок. Затем я достал из портфеля карандаш с циркулем (резинка у меня всегда лежит в кармане), одну из тетрадок в линейку и стал дожидаться звонка. Настроение у меня было приподнятое. Я прямо-таки не верил, не представлял себе, что сегодня я, по всей вероятности, увижу настоящие подземелья и ходы. Я уж молчу об естественных пещерах... Так я ждал до пяти часов.

Почему же он не звонит? — спрашивал я себя. — Уж не передумали ли они? Я начинал беспокоиться. Затем я позвонил Мишке. Его не было дома. Тогда я решил потревожить Салика, но Нюша (их домработница) сказала, что он занимается. Проклиная все на свете, я положил трубку. Однако Олег мне сам вскоре позвонил. Узнав, что это звонит он, а никто иной, я решил в точности передать впоследствии сюда в дневник наш разговор и взял лист бумаги и карандаш. Разговаривая с Сало, я одной рукой быстро набрасывал на бумаге наши слова. Вот точный наш разговор (сейчас я вам пишу его с того листка).

— Левка! Ну, как, идем? — сразу же спросил он меня.

— Конечно. — не замедлил я ответить.

— Тебе Мишка звонил?

— Нет.

— Тогда иди пока что ко мне, а Мишка сейчас придет.

— Есть, иду!

— Ты там, чем рисуешь — так захвати этот самый карандаш любимый, чтобы рисовать.

— Ладно, захвачу.

— Послушай! Свечки любимой у тебя нет?

— Нет, свечи у нас нет.

— Ну, ладно, иди.

— Бегу. — На этом мы разъединились.

Я одел пальто и галоши, предоставив кепке спокойно оставаться на месте, и стал размещать в карманах багаж. В левый карман брюк

(там, где была резинка) я сунул сложенную тетрадь (в правом у меня обычно лежит платок), в левый же карман пальто я погрузил свой фонарь, а в правый карман пальто я сунул карандаш с циркулем. После этого я потушил везде свет и, хлопнув дверью, вышел во двор.

На улице было довольно сыро, но совсем не холодно. Уже в самом 22-м подъезде я встретил Мишкину маму, возвращавшуюся домой, — дело в том, что и Мишка, и Сало живут в одном и том же 22-м подъезде, только первый проживает на 10-м этаже, а второй — на 9-м.

— Ты к Мише? — спросила она. Я не имел мужества сказать то, что я иду к Олегу. И отвечал неуверенно:

— М-да... к Мише.

Покамест мы поднимались на лифте, она спросила меня:

— А почему ты у нас долго не был?

— Разве долго?— удивился я.— Ведь я был у вас вчера.

— Только вот вчера, это правда, но перед этим-то не был давно.

— Да так... я и сам не знаю, почему.

— Я уж спрашивала Мишу о тебе, я думала, что ты заболел,— сказала она.

— Нет. Я был здоров все время.

— Я очень люблю, когда ты к нам приходишь,— созналась она.— Ты очень хорошо влияешь на Мишу, а вот, когда Олег приходит, мне не нравится.— Я молчал и не знал, что ответить. Когда мы вошли в их квартиру, Миша уже был дома — он только что вернулся с собрания. Я объяснил ему, почему я пришел, и мы уже собрались было спуститься к Олегу, как вдруг к Мишке пришел наш старый товарищ, живший некогда в нашем доме,— Сережа Савицкий — здоровенный, но простодушный детина.

Мы с Мишкой переглянулись и, не сговариваясь, решили поскорее освободиться от пришельца, но сначала, конечно, и не подали виду, что намереваемся его спровадить. Между прочим, я показал Мишке свой фонарь, и он подтвердил, что его батарейки окончательно «сели», но что лампа в полной сохранности.

Поболтав кое о чем с Сережей, мы предложили ему спуститься с нами к Олегу. Он отказался, ссылаясь на то, что якобы плохо знает нашего Салика. Мы кое-как его уговорили на эту миссию и, выйдя на лестницу, спустились этажом ниже и позвонили Олегу. Я уже печенкой своею чувствовал, что из-за Сергея наше дело проваливается. Но мои опасения оказались напрасными. Чтобы не терять

зря время, Олег позвонил Торке, желая сказать ей о том, чтобы она вынесла обещанную в школе батарейку, но той не оказалось дома. Сережа заинтересовался замеченным им у нас стремлением к электрическим фонарям, но мы пустились на хитрость и отвели его по дознания. Кажется, дело уже идет на лад!

Жалко только, что батареи мы не достали! Ну, ладно, это не беда! Под видом гуляния мы вместе с Савицким спустились во двор. Но в действительности мы это сделали для того, чтобы отвязаться от следного, а затем достать свечей. Мишка все же захватил свою знаменитую розовую свечку, а я сунул свой фонарь в карман. Побродив по дворам в надежде на встречу с Торкой или Нелькой (мы думали, что они гуляют и, таким образом, мы бы смогли достать у них батареи), мы направились на почту, откуда Мишка позвонил по автомату к Торке, но опять-таки ее не оказалось дома. Мы, ругаясь, вышли на улицу. Тогда мы решили сходить в наш клуб, помещающийся на 1-м этаже в 3-ьем подъезде. Там никого почти не было, и ярко освещенные комнаты были пусты. Лишь в одной из них томились какие-то ребяташки из нашего дома вместе с заведующей клуба криволицей Мартой Яковлевной.

— Марта Яковлевна! — сказал Салик. — Скажите нам, пожалуйста, номер телефона Нелли Лешуковой.

— А вам зачем это?

— Да так... м. Она нам батарейки от фонаря обещала, — ответил Михикус.

Меж тем мы уселись на столы и принялись рассматривать газеты.

— Вы не давайте им, Марта Яковлевна, — закричал Сережа, взбираясь на сцену зала.

— А вы его не слушайте, — обратился Олег к Марте Яковлевне. — Он того... ума лишенный. Он лишен права голоса, как все сумасшедшие.

— Не давайте им! — между тем завывал Сергей, заливаясь звонким смехом.

— Цыц, — прикрикнул Сало. — А ну, молчи! Он ведь лишен права голоса, — обратился он снова к Марте Яковлевне. — Вы не обращайтесь на него внимания. А ну, молчи у меня! Ну, кому говорю?! Ну, Марта Яковлевна... вы нас этим очень обяжете! — И Салик расплылся в медовой улыбке.

— А это вам очень нужно? — спросила она.



— Очень нужно... чрезвычайно! Сделайте одолжение...— снова заскулил Сало.

Получив номер, мы выкатились на улицу и снова вломились в почтовое отделение. Но Нельки этой самой также не оказалось. Мы проклинали все и всех на свете!!! От Серезжки уже отвязались, ибо он остался в клубе. Ура! По выходе из почты мы наткнулись на Ленку Штейнман. И нам пришлось ее немного поэксплуатировать. Сначала мы послали ее на дом к Торке в надежде, что родители последней и без своего чада отпустят нам обещанные ею батареи. Но Ленка сходила туда и, вернувшись, доложила:

— А Торкина мама даже не знает, где у Торки лежат батареи. Торка ушла куда-то и все у себя закрыла на ключ.

— А-а, чтоб ее холера взяла! — выругался разгневанный Михикус. — Ну, погоди ты! Попадешь ты мне завтра в школу! Я тебя отчитаю!

После этого мы послали Штейнман на дом к Нельке, но и здесь мы потерпели неудачу. После этого мы отпустили нашу невольницу и стали совещаться.

— Плевать! — сказал Олег. — Пойдем и без фонарей. Ну их ко всем... Только вот свечей у нас мало.

— У меня эта розовая, стеариновая-то свеча с собой, — проговорил Мишка.

— А у меня, — изрек ехидно Сало, — есть восковая свеча. Вот она. Я ее называю аварийной. — И он вытащил из кармана тяжелую грубую свечку с длинным лохматым фитилем.

— Ты ее сам сделал? — спросил Мишка.

— Сам. Нюшка, когда натирала пол, достала воск, а я отломил от него кусок и сделал свечку. Она у меня аварийная — я ее так и называю. Вот когда у нас выйдут все свечки, ехидно так... достану ее и ехидно зажгу. И от нее вот тоже польза будет.

— А где же нам еще свечек достать? — спросил Михикус.

— В городе они есть, — ответил Олег.

— А зачем в городе-то?! — сказал я. — У нас в магазине они продаются.

У нас?! — вскричал Олег. — Да что с тобою?!

— У нас их нет, — проговорил Михикус.

— Да в «Бакалее» есть. Я же сам их видел на днях.

— Ну, ладно, пойдём, — согласился Мишка. — Посмотрим, какие там свечи.

— Это что, белые-то и длинные? — спросил Сало.

— Они и есть, — ответил я.

— Черт возьми! — усмехнулся он. — Такими свечами и голову проломить ничего не стоит!

— Вот нам-то и лучше, раз они большие, — проговорил я, — а то кончатся они у нас на полдороге, и что мы будем тогда там делать, в этих ходах в полной темноте. Пропадать?

— Пошли, — сказал Мишка.

В магазине было полно народу; мы подошли к прилавку и спросили, есть ли свечи.

— Семьдесят шесть копеек, — ответила нам продавщица.

Мишка пошел и заплатил. Когда нам подавали нужный нам товар, Сало удивленно вскричал:

— Ого! Ну и свеча! Это на жизнь с такой свечой можно покушаться!

— Если такую свечу разделить на 5 частей, — добавил я, — то каждая часть будет равна пяти метрам!

Продавщица огрызнулась на нас, и мы поспешили удалиться. Затем мы купили несколько коробок со спичками и рассовали их по карманам. После этого мы встали около неработающей кассы, и я циркулем разрезал купленную свечу пополам. Я взял себе Мишкину розовую свечку. А Михикус и Сало взяли по половине разрезанной свечи. Нужно сказать, что каждая половина все-таки была длиннее розовой. Но зато последняя ярче и дольше горит. В этом ее преимущество.

— Ну, а теперь, ребята, пойдем-ка переоденемся, — предложил Олег. — А то я в этом туда не пойду. А ты так пойдешь, без шапки? — спросил он меня.

— Да, так, — ответил я. — Чем меньше я на себя буду напяливать, тем будет лучше.

— Я тоже переоденусь, — сказал Мишка. И мы вышли из магазина во двор. Взлетев на лифте 22-го подъезда наверх, мы разделились, и Сало отправился к себе, а Мишка со мною пошел к себе. С неудержимыми проклятиями Михикус натянул на себя кусачие шерстяные брюки, а затем старое пальто, какую-то мятую кепку, от которой он стал похож на ломовика или на живодера со скотобойни.

— В какие вы подвалы идете? — спросила у меня Мишкина мама.

— Да так... посмотреть, — промямлил я в ответ. Михикус мне подмигнул и поправил на себе свою историческую кепку.

— Ну, путешественники,— обратилась к нам его мама,— уже отправляетесь?

— Уже,— ответил Мишка.

Чтобы было удобно, я оставил свой фонарь у Мишки, и мы вышли на лестницу. В моем кармане брякали карандаши с циркулем, тетрадка. Коробки со спичками, резинка, свеча — и этого мне уже было достаточно. Мишка имел то же самое, за исключением карандаша с циркулем, тетрадки и резинки, но зато на его руке блестели часы, взятые им, конечно, для определения времени во время блужданий в подземельях. Только мы позвонили Олегу, как вдруг дверь открылась, и появился он сам, в полном вооружении. В его бездонных карманах были спички, половина купленной свечи, самодельная «аварийная» свечка и звенящее долото с клещами.

— Молодец, воин! — похвалил я.— быстро собрался! Но где твоя шапка? Ты, так же, как и я, идешь без нее?

Сало, услышав мой вопрос, взмахнул руками и бросился к двери. Нетерпеливо нажав на звонок, он в ожидании открытия двери принялся поплывать русскую. Только ему Нюша открыла дверь, как он бросился туда, вопя во все горло:

— Ах ты, японский бог! Забыл!!!

— Ну, ты, турецкий султан, чего там?— смеясь, спросила она его.

Прошла секунда, не больше, и Салик вновь появился на пороге. На его пышную поэтическую гриву была посажена какая-то общипанная посеревшая старая ушанка, с завязанными наверх ушами.

— Боже ты мой! — вскричал я.— Что это за древность? Ее купили, когда тебе было 5-ть лет, что ли?

Сало лишь улыбнулся, и мы стали спускаться.

— Сколько время? — спросил я у Мишки, доставая тетрадку, чтобы записать туда время нашего выхода.

Михикус глянул на часы и сказал тоном профессора астрономии:

— Ровно шесть... то есть, вернее, семь минут седьмого.— Я поспешил записать эти цифры.

И вот мы вышли во двор.

— Сколько у каждого коробок со спичками? — спросил Олег.

— У меня две,— ответил я.

— И у меня тоже,— добавил Мишка.

— Значит, поровну,— сказал Сало.

— Не забываете,— обратился я ко своим спутникам.— Нам нужно запомнить наши первые слова, что мы произнесли при входе в подземелья.

— Постараемся,— проговорил Михикус.

Небо было совершенно темным, воздух был насыщен большим количеством водяных паров, и у нас под ногами хлюпали лужи.

— А мы с тобою, Мишка, еще без галош,— сказал Сало, уныло усмехаясь.— Левка -то предусмотрительный черт — одел их! Ну и ехидное же создание!

— Да, ехидное,— улыбаясь, подтвердил я.

Наконец, мы подошли к прачечной нашего дома и повернули к церковному садику.

— Ребя,— тихо сказал Олег.— Нам нужно поодиночке пройти, чтобы не заметили. Давай разъединимся.

— Ничего, пройдем и так. Все равно вместе будет лучше,— возразил Мишка.

— Лучше все-таки поодиночке,— настаивал Сало.

— Сначала посмотрим, есть ли около церкви сторож или вахтер, а потом видно будет,— проговорил Михикус.

Мы прошли воротца около нашей амбулатории и вышли на дощатую площадку, откуда шла вниз широкая деревянная лестница в садик, посередине которого и стояла церковь Малюты Скуратова. Это была на вид невзрачная небольшая церквушка о пяти куполах, кирпичные стены которой потеряли свой яркий цвет и потрескались. Теперь в ее зале был гараж, и мы могли, конечно, нарваться на кого-либо, который бы не замедлил спровадить нас обратно. Таким образом, мы соблюдали величайшую осторожность. Но нам не везло. Только мы вышли на площадку, как нам в глаза бросилась расплывающаяся в темноте фигура человека, стоявшего недалеко от склада.

— А-а, черрт! — проскрежетал Мишка.— Вахтер!!! Вечно он здесь околачивается! Когда нам нужен тот вход, он там, когда этот — он здесь! Черт бы его совсем побрал!

— Сделаем вид, что мы хотим просто пройти по садику к воротам и выйти на набережную,— предложил Сало.

Мы так и сделали. Беззаботно посвистывая, мы спустились в садик и двинулись по направлению к воротам на набережную между вахтером и складом, прилегающим к церкви. Здесь мы врезались в полосу жидкой грязи и луж. Не видя в темноте дороги, нам при-

шлось протопать где попало, и вскоре мы очутились на суше. Я покосился на вахтера; он бесцеремонно прохаживался вдоль стены и не обращал, очевидно, на нас внимания.

— Скорей! — шепотом поторопил нас Мишка.

Мы быстро завернули за угол церкви и стали невидимы вахтеру. И вот мы подошли к началу каменной лестницы, уходящей вглубь под церковь. Дальние ступеньки расплывались в жуткой темноте, и нам казалось, что перед нами бездонная пропасть. Вернее, там даже и ступенек-то не было, ибо они от времени успели совершенно истереться. Сама лестница в подземелья церкви находилась рядом со входом в служебное помещение гаража, и нам нужно было скорее скрыться под землю, так как первый же рабочий, вышедший из гаража, увидал бы нас, а там... все понятно!

— Пошли, — шепнул Михикус, нагибаясь и ступая на первые кирпичные ступени истертой лестницы.

— Нагнитесь, а то вахтер нас сразу увидит, если зайдет за угол, — сказал он нам.

Мишка приподнялся на цыпочки и, посмотрев на угол церкви, увидел, что никого нет. Тогда он нагнулся и стал осторожно, но быстро скользить вниз. Мы с Саликом последовали за ним. У меня сильно колотилось сердце, и я задерживал дыхание, ибо нас еще могли заметить. Наконец, мы предстали перед полукруглой дощатой дверью, состоящей из двух створок. Доски были высохшими и серыми от старости.

Первые слова принадлежали Мишке. Он сказал нам шепотом:

— Идите за мной. Я тут знаю... — И он осторожно приоткрыл створку двери. Послышался слабый визгливый скрип. Мы замерли на месте, но в следующее мгновение уже протискивались сквозь дверные створки. Теперь нас никто не мог заметить — мы окунулись в беспросветную темноту первого подвала, входящего в состав обширных подземелий скуратовской церкви.

Мои зрачки широко раскрылись, но я видел только перед собой одну лишь угольную темень.

— Плотно закрой дверь, — услышал я голос Мишки.

Дверь скрипнула, и узкая темно-синяя полоса неба совершенно исчезла. Я ощутил резкий запах какой-то сырости, к которому еще прибавлялся запах не то плесени, не то пыли, не то старых каменных осыпавшихся стен, но этот запах был особенный, какой-то своеобразный.

Атмосфера здесь была весьма спертая, и процесс дыхания не сколько затруднялся. Под ногами мы чувствовали не кирпич и не крепкую землю, а слой какой-то мягкой трухи, похожей на рваные тряпки или разбросанную паклю... но видеть мы ничего не видели.

— Черт возьми... как тут темно... не видать ничего... — еле слышно пробормотал Сало. Я в свою очередь хранил глубокое молчание.

— Ну, зажги свечу-то, — буркнул он Мишке.

— Дурак! Это у самых дверей-то? Чтобы свет увидели? Сказал тоже! Пока спичку зажгу. — И Михикус достал из кармана коробок. Чиркнув по его ребру, он извлек свет. Спичка ярко вспыхнула и разгорелась ровным пламенем. Ее тусклые оранжевые лучи бросали на все окружающее зловещие светлые блики, отчего картина, которую мы увидели, казалась дикой и мрачной. Я оглянулся... Мы находились в небольшом низком подвале, стены и потолок которого состояли из серых невзрачных кирпичей, а пол был покрыт каким-то тряпьем пополам с древней трухой. Комнатка была небольшая. С одной стороны в ней валялись сломанные стулья, серые от пыли, с другой — стояли старые громоздкие бочки. Прямо перед нами чернел проход в следующий подвал.

— Ну, пошли, — сказал Мишка, держа спичку в правой руке.

Тени на стенах задвигались, оживились, и вскоре комната погрузилась в беспросветную темноту, так как мы прошли в следующую залу. Переход был короткий, и мы его прошли быстро.

— Смотри, — сказал мне тихо Мишка. — Видишь, вот туда еще отходит зала. Это вторая половина этого подвала. — И он указал мне налево.

— Давай посмотрим, можно ли нам сейчас пройти по этому ходу, — обратился Сало к Мишке, показав на низкий ход, ведущий влево и имеющий поперечный срез, напоминающий четверть круга. Мишка заглянул в него и проговорил:

— Он замурован. Видишь?

Действительно, пол коридора постепенно поднимался и сливался с потолком.

Во втором подвале Михикус вынул свою белую свечку и поднес спичку к ее фитилю.

— Теперь-то смело можно зажечь свечу. Уже нас никто не заметит, — сказал он. — Но, все же, давайте лучше пройдем-ка дальше, а то свет попадает на дверь.

Второй подвал был по величине почти такой же, как первый. Его мрачные кирпичные стены и потолок как-то необъяснимо да-

вили сверху на нас, и у меня в груди было какое-то странное сдавленное чувство. Противоположная стена была сплошь завалена сломанной мебелью, а в глубине подвала стояли две подставки, на которых лежала старая пожелтевшая створка двери. Это было нечто от слесарного верстака. Воздух здесь был также сырой и имел неприятный запах гнили и еще какой-то чертовщины. Сразу же около окончания прохода, приведшего нас в этот зал, мы увидели у самого пола прямоугольную низенькую дверцу вышней в полметра; она была прикрыта стопками спинок от сломанных стульев.

— У, у, каналы! — выругался шепотом Мишка. — Еще завалили ее этими спинками! Не было печали! Давай их отсюда принимать!

— Тсс!.. — прошептал вдруг Сало... Мы замерли. Где-то послышались близкие шаги. Прогудев над нашими головами, они замерли в отдалении. Очевидно, над нами кто-то прошел.

— Нам нужно тише разговаривать, — прошептал Мишка. — А то здесь звук очень здорово слышен. — Он прикрыл пламя свечи рукой и посмотрел в проход. Дверь на лестнице была видна, и мы старались заслонять свет, чтобы его лучи не падали на ее щели.

После этого, не проронив ни слова, мы стали осторожно обнажать дверцу от сломанных спинок. Спинки были сухие, легкие и пыльные, и мы, устроив конвейер, через минуту уже увидели подножие прямоугольной дверцы.

— Видишь, какая дверца старинная? — спросил у меня Мишка. — Вот в нее мы сейчас и пролезем.

Пролезть в нее нам было мудрено, ибо она была очень маленькой. С колотящимся сердцем я стал ждать.

— Я пойду первым, — предложил Олег. — А то мне всех трудней будет пролезать.

— Давай, — согласился я.

— Такому грузному дяде, — сказал Мишка иронически, — довольно трудно пролезть в такую дверь.

— Но мы-то ведь пролезали в нее раньше, — возразил Сало. Он нагнулся и вдруг замер в оцепенении. Где-то в темноте послышался шорох...

Мы вздрогнули.

— Тише! — прошептал Мишка, закрыв рукой пламя свечи.

Но тревога оказалась ложной. Все было спокойно! Олег осторожно взялся за дверцу и потянул... Послышался слабый писк и скрежет. Я стиснул зубы и сжал кулаки... С кряканьем и вздохами

дверца отворилась, а за нею я увидел крошечную темноту. В лицо нам дуло какой-то подозрительной сухостью.

— Я зажгу свою свечу, — сказал Олег, — и поведу с ней.

Он вытащил из кармана свою половину белой свечи и поднес ее к Мишкиной. Пламя незаметно появилось на фитиле первой, и подвал озарился лучами двух свечей.

— Будет иллюминацию устраивать, — сказал громко Сало, забыв об осторожности. — Туши свою! Нам экономить нужно!

Мы замерли от его громового голоса.

— Тише ори, дурак! — огрызнулся Мишка. — Эка орет! Услышат ведь! — Михикус дунул на свою свечу, и в зале образовался полумрак.

— Зажги свою розовую свечу, — сказал он мне. — А то Олег сейчас влезет, и мы останемся в темноте. Я поведу за ним, а ты за мной.

Я нащупал в кармане свою свечку и вынул ее. Мишка зажег спичку и поднес ее к фитилю. Моя свеча вспыхнула как раз вовремя, ибо в это время в это время Сало просунул свою руку с горящей свечой в отверстие двери и сам с криканием втиснулся туда. Его грузная туша заняла все пространство в открытой дверце, так что мы видели только нижнюю часть туловища и ноги, бессильно скользящие по полу.

— Тише, тише, ты, — шепнул Мишка. — Скорей!

— Да погоди,.. — услышали мы приглушенный голос Салика. Звук даже не имел свободного выхода в наш подвал из того коридора, в который сейчас пролезал Олег. Наконец, нам видными остались только его башмаки. Тогда Мишка потерял руки и, нагнувшись, пролез в дверь. Я остался в зале один, держа горящую свечу в руке.

— Туши свою свечку, — услышал из дверцы голос Михикуса: — А потом лезь сюда за мной. Здесь у Олега свеча горит, да и я потом еще свою зажгу.

Я задул свечу, но перед тем, как присоединиться к товарищам, я оглянулся и увидел вокруг себя одну лишь жгучую темноту...

Подвал погрузился в полный мрак. Лишь узкий луч света падал на пол из открытой дверцы. Я сунул свечку в карман и, плюнув беззаботно, скрипнул дверцей и на четвереньках прополз вперед. Когда я приподнял голову, то увидел только сухие серые кирпичные стены узкого коридора и брюки Мишки, ибо он стоял во весь рост, а я еще только находился почти в лежачем положении.



— Закрой дверь,— шепнул мне Мишка.— Только как можно плотнее. Если кто из рабочих зайдет в подвал, то тогда ничего не будет заметно.

Я изогнулся, втянул нижние конечности в коридор и, взявшись за край дверцы, затворил ее. Она захрипела и с писком повернулась. Кое-как я поближе подвел ее к стене и услышал вопрос Михикуса:

— Плотно закрыл?

— Плотно,— ответил я тихо. С этими словами я напряг мускулы ног и выпрямился во весь рост. И вы знаете, друзья мои, где мы находились? Мы находились в страшно узком, но очень зато высоко проходе. Он был до того узким, что в нем мы могли стоять только боком и, повернув влево или вправо голову, иначе мы бы терлись затылками и носами о стены. Но, несмотря на то, что мы стояли там боком, мы и то терлись грудью и спиной о стены, так что, когда мы продвигались по этому переходу, то наша одежда при плотном соприкосновении со стенами издавала громкое шуршание. Вот в такой темноте мы стояли, повернувшись передом к правой стене. В этом коридоре воздух, хотя и имел какой-то удушающий запах, но был совершенно сух и не содержал той сырости, которая господствовала в подвалах. Стены были здесь кирпичные: кирпичи были древние, выцветшие, облезлые и местами покрытые легко отскакивающей старой светло-коричневой массой, которая за сотни лет успела высохнуть. Эта масса при прикосновении к ней рассыпалась на мелкие кусочки и пыль. Было время, когда стены здесь сплошь были покрыты этой замазкой, но теперь половина кирпичей совершенно обнажилась. Сердце у меня бешено колотилось, в груди давило, и от этой ужасной тесноты выработалось какое-то необъяснимое, странное, неприятное чувство. Я, стиснув зубы, кое-как выпрямился и встал передом к правой стене, повернув голову влево, т.е. в сторону Мишки и Сало, стоящих так же боком, как и я.

Мишка с большими усилиями достал свою свечу и поднес ее фитиль к пламени Олеговой свечки, и коридор озарился огнями двух свечей.

— Вот видишь, какой проход?— обратился ко мне Мишка, кое-как повернув ко мне голову, отчего его кепка, зацепившись козырьком за стены, сорвала кусочек серо-коричневой замазки и сама съехала набок.— Вот это и есть тот самый узкий ход, о котором мы тебе рассказывали. Я молча качнул головой.

— Ну, пошли, что ль? — спросил Олег.

— Давай! — ответил Михикус. И мы, шурша одеждой о стены, стали продвигаться боком вперед. Вдруг в стене, перед моими глазами, проплыло несколько высоких и узких оконцев, уходящих куда-то в темноту. Я заглянул в одно из них, но ничего не увидел. Немного отстав от спутников, я засунул туда руку и ощутил пустоту. Там, очевидно, была камера. Подавленный всем виденным, я стал нагонять товарищей. Эти жуткие подземелья как бы давили на все мое сознание, и я чувствовал себя сдавленным и стиснутым не только физически, из-за узкого коридора, но и морально. Я скосил глаза вниз и увидел, что моя одежда приобрела серый цвет, до того она была измазана стенами прохода. Мишка, продвигавшийся передо мной, и Салик, идущий впереди всех, тоже были похожи на подземных дьяволов, а не на людей.

На вид эта церковь маленькая, невзрачная, подумал я, а под собою имеет такие обширные подземелья! Очень странно!..

Не прошли мы и нескольких шагов от дверцы, как коридор под прямым углом повернул вправо и сделался еще уже прежнего. Я нахмурился и сжал кулаки. Продвигаться даже боком и то стало труднее, и теперь стены коридора касались даже наших ушей, несмотря на то, что мы держали головы боком. Мы оказались в гигантских тисках... После поворота проход опять пошел прямо.

— Черт возьми! — удивился Мишка. — И на кой они делали такие проходы? К чему они нужны, раз они такие узкие?

— Тут опять поворот! — вдруг вскричал Сало.

— Да тише ты... — прошептал Мишка. — Ну что ты все время забываешь об осторожности? Ведь мы тут уже были, и ты знаешь, что здесь два поворота. Первый мы уже прошли, а вот это — второй... И нечего орать!

Второй поворот имел также 90 градусов, и здесь проход, как и раньше, поворачивал направо, следовательно, мы теперь уже двигались по той части прохода, которая была параллельна его первой части — части до первого поворота.

Неожиданно где-то в глубине мы услышали шепот... Мы замерли... Простояв недвижно несколько секунд, продолжали путь более осторожно.

Здесь я в правой стене опять увидел такие же окошечки. Очевидно, мы, обойдя ту камеру, что я нащупал, встретили оконца, находящиеся как раз напротив первых.

— Вот, смотри, — сказал Мишка, повернув ко мне голову.

— Что? — спросил я сдавленным голосом.

— А вот сейчас.— И он, подняв вверх руки, взял горящую свечу из левой руки в правую и сунул ее в оконце. Я заглянул туда и увидел квадратную камеру, стены которой состояли из каких-то посеревших кирпичей. В противоположной стене я заметил темные оконца. Это и были те окошки в стене, что я видел еще до первого поворота.

— Видишь, какая камера? — спросил меня Мишка.

— Вижу, — машинально ответил я, пристальным взглядом оглядывая сквозь узкое высокое отверстие мрачную каморку.

— А-а, ты, черт! Опять обжегся! — прошептал Мишка. И я увидел, как струя расплавленного стеарина скатилась со свечи ему на руку. Кое-как стерев уже застывшие капли, он взял свечу опять в левую руку, и мы, сделав несколько шагов, догнали Салика. Я оглянулся назад, чтобы посмотреть, какой вид имеет проход в полумраке. Не нужно забывать, что лучи от свечей были мне видны только на стенах и на потолке, ибо сами свечи были от меня скрыты Саликом и Мишкой, что сам я шел в полумраке и после меня в проходе также был полумрак.

Ввиду того, что проход был страшно узким, то лучи на стены падали под очень малым углом, из-за чего малейшая неровность на стене отбрасывала гигантскую тень. Итак, я оглянулся назад. Узкий коридор был погружен в полумрак, но я прекрасно видел поворот, ибо прямой угол стены был кое-где освещен лучами, проскальзывающими вдоль стен прохода.

И вот мы дошли до окончания прохода. Это окончание имело весьма оригинальный вид. Стена, преграждавшая нам путь, под самым потолком имела квадратное отверстие шириной в метр. Это было начало наклонного хода, уходящего куда-то налево ввысь. Около этого отверстия, в правой стене нашего коридора, так же под потолком, темнела длинная, низкая ниша, уходящая куда-то в глубь стены. И для того чтобы попасть в наклонный ход, нужно было сначала взобраться на нишу, а уж с нее в него переползти.

— Ну, чего же ты стоишь-то? — сказал Мишка на Олега.— Лезь туда в нишу, только не сорвись; а я потом полезу к тебе и осмотрю этот наклонный ход!

Я немножко отошел назад, чтобы дать Мишке посторониться от взбиравшегося на нишу Олега, ибо тот мог бы ему попасть ногами в лицо.

На обложке рукой автора: Продолжение в VI-ой тетради.

**Тетрадь XIII.**

**1940–1941 гг. 24-го августа — 3-го января**

Продолжение 24-го августа.

— И это правильно, — сказал я. — Чтобы в столичном академическом театре шли произведения, не имеющие совершенно никакой ценности — это возмутительно!

— Да, — проговорил М.Н. — У нас еще до сих пор нет настоящей оперы! Мы еще до этого не дошли!

— ... Теперь там в Большом и «Аида» пойдет! — хитро усмехнувшись, изрек я.

После этого М.Н. попросил меня показать все то, что я приволок из дому. Серия о церквушке им пришлось по вкусу, так же, как и Украинский доклад. Что касается собора, то о нем они ничего не могли сказать, так как это была моя давнишняя работа, но вообще она была, несомненно, хуже висевшего на стене рисунка. Я очень обрадовался их отзывам о моей серии и оформлении доклада...

Между тем, М.Н. сказал:

— Я теперь вижу, что передать точный облик предмета ты умеешь. Это ты делаешь почти в совершенстве! Но ведь не только в одном этом заключается рисунок. Ты теперь возьми за новое... постарайся передавать мораль предмета... его внутреннюю жизнь... Вот, например, купол собора на рисунке, что ты нам подарил, — он живет... Там чувствуется, как говорится, его «душа».

— А ведь он у меня тоже точно сделан, — возразил я.

— Но это не важно! Все-таки купол с его колонками и этой косой тенью изображает нечто живое! Вот ты теперь старайся передавать во всех своих рисунках эти внутренние качества предмета, и все это вместе с твоим умением хорошо изображать внешний облик будет рождать у тебя еще более лучшие рисунки!

— Это правильно, — согласился я.

— Тебя вообще драть не мешает! — вдруг сказала М. Ив.

— Может быть, я и достоин этого... — сказал я. — А что?

— Да я бы на твоём месте, — ответила она, — пошла б в художественную школу и постаралась, чтобы из меня вышел настоящий художник.

— Ну-у! — недовольно протянул я.

— А мама что говорит?

— Она хочет, чтобы я рисовать учился.

— И правильно делает! — продолжала М. Ив. — Ты бы рисовал и был бы пианистом! Чего же лучше?

Мы еще о чем-то поругались, и потом М. Ив. предупредила меня, чтобы я не спускал свои музыкальные знания.

— С вами теперь нужно быть поосторожнее, — сказала она с шутилым упреком, — а то вы заленитесь и заниматься будете хуже!

— О-о! Мы народ тяжелый! — согласился я. Нас нужно держать в кулаке, а то, чего доброго, будем бездельничать и отлынивать от занятий!

— Теперь у меня будет лишь трое учащихся, — сказал М.Н., — а то с вами прямо беда! Трудно очень! Я оставляю себе получше, так как с остальными я буду только время терять. С Кирой я заниматься перестал. С Генькой тоже! Заленился парень! Мальчишка он хороший, но лентяй!!! Можно сказать, я уже перестал с ним заниматься. Я думаю оставить у себя только Лору, тебя и еще там одну..

— Так что вам теперь будет трепка! — сказала М. Ив. — Только держитесь!

— Да, теперь вся ваша строгость будет рушиться на нас лишь троих! — проговорил я. — Ну! Конец нам пришел!

Немного погодя М.Н. спросил меня, как у меня идет переписка с Раей. Я рассказал ему об ее ответе на мои письма, что я получил девятого августа, и добавил, что на днях напишу ей ответное письмо.

— Она писала мне о том, — сказал я, — что я зря читал вам все ее вопросы о вас! Она говорит, что вы ее не знаете и в душе можете обидеться!

— Я? Что ты?! — проговорил М. Н. — Нет, я и не подумал обижаться! Я прекрасно понимаю, почему она так подробно расспрашивала тебя о твоём педагоге...

— ... Она, видимо, хотела, — добавил я, — чтобы я попал к хорошему, вот она и спрашивала меня!

— И я ее понимаю! — сказал мой учитель. — Чего же тут обидного?

Когда я уходил, я сказал, обращаясь к обоим домочадцам:

— Теперь я все внимание уделю докладам и музыке. Отделавшись от всех докладов, у меня останется тогда лишь музыка и рисование.

— Вот, вот! Рисовать ты должен во что бы то ни стало! — сказала М. Ив.

Умалчивая о своем рассказе, я объяснил и о пользе докладов. Ведь они приучают меня к совершенно необычному. Они мне помогают в достижении цели, чтобы стать универсальным художником—

любителем. Ведь в докладах своих я должен рисовать и камни (если это минералогия), и животных (если это зоология), и т.д.

— Очень большую пользу в рисовании, — сказал я, — мне приносит Итальянский доклад. Там я должен рисовать все. И пейзажи, что там имеются, и виды городов, которые там есть, и животных, живущих там, и растений, там растущих, и камни, добывающиеся там, и даже карты географические... а главное — я там должен уметь вообще аккуратно и красиво оформить весь альбом. Короче говоря, самое главное еще впереди. До сих пор я рисовал там маленькие картинки, а под конец у меня там пойдут рисунки во весь лист! В общем, самое трудное в будущем. Мне тяжело с ним будет, но зато, когда я его кончу, я буду счастливейшим человеком, потому что буду иметь его перед собою в полном законченном виде!

25-го августа. Сегодня Илюша уехал в Ленинград. Я проводил его до метро и поручил ему сказать Рае, что я скоро ей напишу ответ.

— А поручений каких-нибудь у тебя нет? — спросил он. — Может, достать для тебя что-нибудь там?

— Вот, если там ты найдешь общие тетради, то это будет хорошо, — ответил я. — А то здесь в Москве их совсем нет!

— Постараюсь их привезти! — проговорил он. — А сколько?

— Да по возможности больше! Но только по возможности!

— Ладно! Идет!

Мы расстались у метрополитеновской кассы станции «Библиотека Ленина», и я вернулся домой. Было ровно семь часов вечера!

27 августа. Весь день сегодняшний из моей головы не выходили мысли о том, что сегодня вечером я услышу «Аиду», а вместе с этим, конечно, и арию Радомеса, и арию Амонасро, и хор жрецов, и Нил, и куплеты Амонасро, которые я знаю почти наравне с хором жрецов...

В половине восьмого Лиля и я уже сидели на своих местах во втором ряду партера, в середине... Мы находились в окружении целых рядов еще пустых стульев, залитых сверху потоками электрических лучей. С боков поднимались сверкающие ярусы, окрашенные золотыми украшениями, а сразу перед ними висел огромный оранжевый занавес. Оркестрантов еще не было, и там стояли лишь пустые стулья и пюпитры.

Сзади нас сидели какие-то иностранцы — англичане, должно быть. Они все антракты напролет трещали на своем языке, и из их

тарабарщины я мог понять лишь то, что они, несомненно, говорили о чем-то, происходящем на земле, а не на Сириусе... Больше я ничего из их разговора не понял.

Дирижер Мелик-Пашаев<sup>53</sup>, невысокий брюнет с широкой головой, плоским подбородком и с очками, скрывающими за собою сощуренные глазки, легко вскочил на возвышение и взмахнул руками...

С первых же звуков скрипок у меня началась лихорадка. Вступление было прекрасное. У Мелика оно получилось ласкающим для слуха и с яркими оттенками. Молитва под его управлением прошла очень хорошо. Жрецы пели едва слышно, почти не открывая рта, и эта величавость произвела на меня большое впечатление. Ариозо Радомеса я, конечно, прослушал с широко открытыми... глазами.

Короче говоря, я больше всего смотрел на оркестр и на дирижера! Появление пленников, ария пленного Амонасро и похоронообразный хор жрецов, как всегда, действовали на меня со сказочной силой. Я всеми силами старался уловить ритм и темп этого хора, чтобы еще правильнее играть его. Хор народа, оказывается, не оправдывает свое название, так как этот мотив, скорее всего, поют жрецы, окружавшие Радомеса и Амнерис, а не народ. Так что, к чести этих кровожадных церберов, два наилучших хора принадлежат именно им, а не кому-нибудь другому.

С большим интересом прослушал я дуэт Амонасро и Аиды в Ш-ьем действии, где пленный царь поет свои знаменитые куплеты: «Вспомни, вспомни, когда настанет время»... Партию Амонасро пел Иванов, первый раз исполняющий эту трудную роль. Между прочим, его пение и игра превзошли все! Он блестяще ее выполнил. По-моему, из всей этой оперы самая интересная партия — это партия Амонасро, хотя и очень короткая. И она к тому же не очень легкая! Его появление вместе с пленниками, его ария перед фараоном, где он открывает свое имя, и его роль в третьем действии — это трудные, высокодраматические сцены.

Я все время следил за дирижером и оркестром, но по отдельным местам я не мог судить, у кого лучше было ведение «Аиды» — у Мелик-Пашаева или у Таненберга (?). Но в общем, разница была: Мелик вел ее лучше, и многие места оперы звучали совершенно иначе! У него ярко бросались в глаза (!) оттенки, и вообще у него звучал оркестр и более мягко, и дружно.

---

<sup>53</sup> Мелик-Пашаев А. Ш. (1905–1964), дирижер, народный артист СССР.

На «Аиду» я вообще хожу как на урок по музыке, так как именно она и дала мне понятные уроки по оркестровке. Ведь нет ни одного инструмента, который, казалось, не участвовал бы в этой опере. И все они почему-то так ярко выделяются, исполняя ее, что я с первого же раза многому научился в области оркестра. Конечно, нужно сказать, передовую роль играют в ней духовые медные инструменты, так сама музыка «Аиды» написана в торжественной форме. Интересная и большая роль имеется в этой опере и у ударных инструментов (барабана, треугольника, тарелок и литавр).

«Аиду» я ценю вообще из-за того, что она представляет из себя превосходное соединение всех стилей оперной музыки... Здесь есть и торжественные, медленные танцы, и быстрые, веселые пляски, и маршеобразные места, и народные мелодии, и трудные хорové сцены, которые, впрочем, даже делятся на ряд форм (если можно только так выразиться), так как есть места, где весь хор поет в один голос, и, наконец, самое главное, в этой опере имеются трудноисполнимые массовые сцены, так называемые контрапункты, где в одно и то же время звучит несколько мелодий, представляя из себя в целом красивое соединение.

Короче говоря, для меня «Аида» — это музыкальная школа!

Невозможно описать то, что творилось со мной сегодня вечером после театра. Я пошел почему-то относить сахарницу не на кухню, а в ванную; уходя из комнаты, я потушил за собою свет, хотя там за столом сидели мама и Лиля; я долго и упорно принялся размешивать чай, забыв, что я туда не положил ни одной крупинки сахара; наконец, в довершение всего, вместо того, чтобы постелить себе на кровати, я потащил всю постельную груду на диван, чтобы разостлать это все на его поверхности!

Не знаю, почему, но Лиля называла причиной всех этих плодов рассеянности сегодняшнюю «Аиду»!

28-го августа. Сегодня днем я позвонил М. Н., и Марья Ив., с которой я разговаривал, пригласила меня на 30-е число текущего месяца этого года! Она не замедлила мне напомнить, чтобы побольше занимался по музыке, а после этого взяла с меня клятву, что я во что бы то ни стало буду играть у них все, что знаю из «Аиды». Сам же я распространил эту клятву на все на свете, только не на марш! Как это ни странно, но я боюсь его еще играть перед кем-нибудь...

Потом у меня появилось... вернее, на меня напало (к счастью, без оружия) большое желание рисовать, и я вдоволь поводил кистью



по рисунку нашей церквушки, dokonчив красить правый корпус нашего дома...

Вечером мы с мамой были у Анюты... Провели там прекрасно время и т.д. Короче говоря, я одного сейчас желаю — лечь на боковую... Кончаю! Arrí gewercí (так! Изд.) (до свидания).

29-го августа. Сегодня утром пришло известие, что Буба достала Лиле билет на поезд, отходящий на юг 3-ьего сентября. Ура! Дело улажено! «Русланом», которого она хочет услышать в Большом театре, мы полюбуемся! Я этому искренне рад!

Сегодня я, кажется, первый раз после конфликта с мамой насчет подбирания «Аиды» и музыкальных уроков позанимался как следует по музыке в ее присутствии. Это не нарушило моей клятвы, ибо я сказал себе, что буду только стараться в зависимости от возможности не заниматься при ней, но так как теперь она в отпуске, и, случается, что она целый день дома, то ничего не поделаешь! Зато я все-таки беру себя в руки и не играю при ней мною подобранное.

Я не желаю, чтобы она обвиняла меня в том, что я якобы все время играю то, что подобрал, и забываю уроки. Мне это надоело, тем более, что это теперь далеко не так!

Перед концом напомним, что скоро уже в школу! А что я сделал в это лето? Нарисовал, да и то не всю серию о церквушке и только! Инкогнито в Звенигород не съездил, доклады в окончил... Это плохо! Впрочем, не беда! Съездить в Звенигород я успею и в будущее лето! Это уж обязательно! Долго только ждать! Да будет мне благоприятствовать в этом Юпитер!

30-го августа. Когда я сегодня проснулся, я услышал, что у нас в кухне с мамой беседует какой-то мужчина! Я насторожился, но никак не мог узнать голоса. «Кого это еще к нам черт принес на кухню?!» — дружелюбно и весьма гостеприимно подумал я.

Оказывается, это был Илюша, возвращающийся из Ленинграда в Одессу.

От него я узнал, что Рая и Моня в доме отдыха, так что он их не видел. Тетрадей он не достал, но это не важно. Главное то, что мне нет смысла писать в ближайшие дни Рае письмо, если у них никого нет дома. Начну учиться — тогда напишу, так как к 1-му сентября они наверняка приедут.

Утром позвонил Стаська, предложивший мне пойти вместе в «Ударник» на хроникальную картину «На Дунае».

Мы встретились на улице и взяли два билета на 12-ть часов 30 минут. Дождаясь начала сеанса, мы покружили по дворам, а потом я предложил сходить на церковный двор. Я имел на это тайную причину... Подойдя с невозмутимым видом к началу лестницы, ведущей в подвалы, я посмотрел на дверь. Одного взгляда было достаточно, чтобы я к радости своей заметил, что она была открыта. В подвале лежали какие-то ящики. Очевидно, про музей забыли, и наша церковь вновь обратится в содержательницу мастерских и всякого ненужного скарба... В первый же подходящий вечер я решил один слазить в подземелья, чтобы исполнить все-таки то, что я задумал еще летом!

После этого мы со Стаськой расстались.

Часам к четырем мне позвонил М. Н., который предупредил меня, что к нему сегодня приехали от брата, так что мне нет смысла приходить к нему. Он сказал, что заранее известит меня о новом приемном дне. Так что сегодня вечером я у своего учителя не был.

Чтобы не скучать вечером, я решил сходить к Мишке. Как обычно, Михикус долго рассказывал о наших физкультурных перспективах, предупреждая меня, чтобы я не отставал от них, а затем поворотил свое внимание в музыкальную сторону, результатом чего были его настойчивые уговоры, чтобы я взял разучивать 2-ую рапсодию. Это заставило меня призадуматься...

Сегодня вечером уехал в Одессу Илюша, пожелав нам счастливо оставаться. Набив своими чемоданами легковую машину, он уехал на вокзал...

31-го августа. В эту ночь к нам прикатил Люська, возвращавшийся с Кавказа. С его появлением в нашей квартире водворилось веселье и остроумные изречения! Ведь вообще Лазарь парень не промах!

А вообще сегодняшней день у меня был однообразным. Пришел Евгений. Я пошел с ним гулять. По дороге уговорился с ним поехать зимой в Ленинград, ибо он тоже едет туда, только не к сестре, а к тете. Всю остальную часть дня гремела гроза, но нам она была ничем: мы с Евгением укрылись под кровлей его жилья, где я пробыл до глубокого вечера!

1-го сентября. И вот наступила осень! Не буду вдаваться в лирику, но скажу, что последний день моих проклятых каникул прошел так же по-пустому, как и все лето. Утром проторчал около двух часов за музыкальными уроками, потом немного нарисовал в рисунок нашей церквушки, а вечером с мамой, Лилей, Бубой и Гагой был в Парке культуры, где скучал на каждой аллее.

Подобная меланхолия даже отбила у меня страх перед школой. Мне теперь безразлично! Пусть хоть земля перевернется кверху южным полюсом... Простите, описка: в астрономии нет понятия, что такое «верх» и «низ»!

Между прочим, в смысле творчества это хорошо, что наступает школьный учебный год, ибо с учебной придут старые однообразные дни, и я снова смогу взяться за свои доклады и рисунки более серьезно, чем летом. Но в смысле свободы... далеко нет... Прощайте, свободные дни!

2-го сентября. Когда я открыл глаза, Люся, с которым я спал на диване, еще не проснулся. Было раннее утро. На улице моросил осенний дождь, и мне под его однообразный стук захотелось забыть обо всем на свете... Я осторожно переменял свое положение, чтобы не разбудить своего спящего двоюродного брата, и прижался к стене... Но мне не спалось, и я тихо встал. Приготовив себе завтрак и поглотив его, я приготовил тетрадь и карандаши, с которыми собирался отправиться в школу.

Часы показали половину девятого, но я все еще не решался покинуть дом и чего-то ждал. Я позвонил Мишке, чтобы вместе с ним пойти в школу, и первое, о чем я спросил его, был вопрос о его настроении.

- Ну, как ты себя чувствуешь... перед этой школой? — спросил я.
- Да так... Ничего особенного... — меланхолично ответил он.
- Не думаешь ли ты выходить?
- Да вот сейчас Олег соберется, мы и выйдем.

Нахлобучив кепку себе на голову, я сунул тетрадь и карандаш в карман и вышел. На душе было тоскливо: мне совсем не хотелось расставаться со свободным летом. Да тут еще дождь вдобавок.

Тут я заметил браво шагавших по лужам по направлению ко мне Михикуса и Олекмуса. Мы дружески поздоровались. Олег за лето почти не изменился. Он оставался все тем же длинноносым толстяком высокого роста с грузной осанкой.

— А ты не изменился совсем! — проговорил он.

— Очень рад! — буркнул я в ответ, хотя и довольный его замечанием.

Покамест мы дошли до школы, нас дождь промочил, как общипанных гусят, но это не заставило жалеть нас о том, что мы не захватили свои пальтишки.

На том берегу стоял в дождевом тумане величественный Кремль, которым я втайне любовался всей дорогой, ругая себя за ошибки, что я допустил в своем рисунке для Раи и Мони.

В школьном дворе мокли под дождем Юрка Симонов, Медведев, который оставался все таким же тощим великаном, и еще кто-то из параллельного класса «Б».

Излив свой восторг от встречи после столь долгой разлуки, мы вломились в школу. По залам носились стаи малышей, новых жертв школы, но нам было не до них. Мы отыскали свой класс (им оказался физический кабинет) и первые вошли в него. Олег и я уселись на свои прошлогодние места за первый стол перед доской.

Вскоре собрались и остальные члены класса, которых мне сейчас нет смысла описывать. Главное то, что на всех я смотрел с каким-то особенным чувством, так как я рад был видеть своих давнишних товарищей по несчастью!

Из всех членов класса я хочу остановиться лишь на самых моих ближних, исключая Мишку, Медведя и Салика: Король из скромного тихого мальчугана превратился в загорелого широкоплечего великана, но с тем же спокойным и тихим характером; Димка, или Синка остался таким же хрупким и тонким чертом, все с той же круглой, словно, луна, головой; Ремка не изменился. Он и сейчас представлял из себя чистенького опрятного нежного бабника со всеми своими склонностями к ехидничеству, противоречиям и жадности; Петька также остался без изменений. Как и в прошлом году, он был вихраст, высок, лопоух, нескладен, тощ, но жилистый, как резина. Павлушки не было. Он уехал в Минск. Тиунова, Стаськи, Красильникова, Юрки Скуфьина и Летавина тоже не оказалось: они остались на второй год, а кто-то из них даже ушел работать (это, кажется, Юрка Скуфьин). Шибан, говорят, нахулиганил в деревне, и его засадили, подлеца, за решетку.

К нам пришел новый парень — Гуревич. Это невысокий мальчишка, с носом, похожим на грушу, с маленьким ртом и с непокорным чубом темных волос. У него крикливый, резкий,

даже режущий голос, который при нужде ревел в стенах класса, оглушая всех нас и вызывая у многих смех и иронические взгляды.

Из девчонок осталась на второй год одна Зернова, а взамен ее оказалась какая-то новая Цветкова, добродушное, простое существо с какой-то японской прической, при которой все волосы были навьючены вкруговую около головы.

Первые два урока были история, которые заменились литературой. Учитель наш, Давид Яковлевич Райхин, уже известен читателю по прошлому году, ибо он один раз приходил к нам заменять Ольгу Ив., когда та заболела.

Третьим уроком была география. К чести Верблюда, который остался у нас преподавать, нужно сказать, что он изменился, стал менее злобен и ехиден, ибо он весь урок спокойно и просто сидел за столом и по-товарищески беседовал с нами об изменениях, произошедших в периоды первой и второй, ныне текущей, империалистических войн.

Пятым уроком была немка. Наша Елизавета Акулимовна осталась все такой же истеричной, крикливой, злобной и придирчивой бестией, а это нам доставляло мало радости.

Наконец, грянул звонок, и мы побрели домой, снова давая возможность дождю обливать нас  $H_2O$ , сколько ему угодно!

Между прочим, забыл сказать, что четвертым уроком у нас была алгебра. Нины Матвеевны уже и след простыл, и нам ее начал преподавать пожилой мужчина, очень симпатичный на вид. Он невысок ростом, весьма солиден по фигуре, с простодушным лицом, которое составляют прямой нос, спокойные и теплые небольшие глаза, очень высокий лоб, округленный подбородок, выпирающие дуги бровей и маленький рот с слегка выпяченными губами. Волосы его коричневато-темные и зачесаны назад. Он был одет в коричневый костюм с галстуком. Голос его весьма слаб по силе, немного сиплый и иногда срывается вверх, что смешило в нашем классе таких дур, как Андреева, Биянова и т.п. тупые создания.

Урок прошел очень интересно. Николай Иванович (так звали нашего математика), видимо, прекрасно знал свой предмет. Хотя мы и не узнали его, как следует, но уже было ясно, что это добрый, веселый и вообще очень хороший человек.

Во дворе я расстался со своими спутниками и направился к своему подъезду.

— Сегодня хорошо,— сказал Мишка еще перед этим, обращаясь ко всем.— Уроков домашних делать не нужно! — Вообще для нас это особенная радость!

Придя домой, я первым делом подумал о плане, который я вел в прошлом году, и я решил его сейчас же возобновить на бумаге с тем расчетом, чтобы как можно скорее иметь удовольствие возобновить его на деле. С сегодняшнего дня я не мог начать придерживаться его, ибо я чувствовал, что в первые школьные дни у меня ничего не выйдет, а уж после первого или, по крайней мере, второго воскресенья, то есть, когда я уже обвыкнусь со школой, домашние уроки будут казаться мне не такими ужасными, я смогу начать свою обычную жизнь.

В план я включил первым делом уроки, затем гуляние, серию «Украинский альбом», музыку, рассказ и дневник. Все это я расчертил на чистой бумаге. Причем уроки, конечно, будут выполняться всегда, гуляние так же, по возможности, серию я буду заканчивать, когда школа перестанет тяготить меня, причем, окончив ее, я заменю ее в плане Итальянским докладом; «Украину» я начну, наравне с серией, музыка — будет всегда, рассказ я буду продолжать тогда, когда напишу Рае письмо, а это мне нужно сделать как можно скорее (между прочим, мне очень хочется даже и сейчас написать его, но школа... она отравляет мне все настроение) и, наконец, дневник будет вестись также всегда. Старый план я сохранил и решил держать его вместе с новым.

Для того, чтобы испробовать себя, я решил сегодняшний первый школьный день провести по плану. Это я и сделал. Я продвинул немного вперед рисунок церквушки и переделал обложку «Украины», чтобы мне было ее легче раскрашивать. В рассказе я ничего сегодня не писал — мне не было смысла на мгновение садиться за него... Его я должен писать с увлечением и сосредоточенно.

Сегодня же я первый раз ходил с Михикусом за молоком. Всю дорогу мы болтали о своих свободных днях, о школе и на другие темы.

Днем мама и Лиля уехали к Бете, чтобы повидаться с ее Люсей, что приехал на пару дней из Ленинграда, так что пошел в театр на «Руслана» я один, а они должны были попасть в театр сразу от Бети, чтобы встретиться уже на местах.

Места наши были неважные — на балконах, но ничего не поделаешь — после драки, говорят, кулаками не машут!

Я не буду рассказывать о музыке, а скажу просто — она прекрасна! Ее я слушал с удовольствием. Эта опера, действительно, гениальное творение, правдивое, сложное и превосходно оркестрованное, заключающее в себе такие сложные сцены, как волшебный мрак после появления Черномора, рассказ Финна о Наине, сцена Фарлафа и Наины в лесу, сцена Руслана в поле и с Головой, волшебные танцы, шествие чудовищ и Черномора и т.д.

Постановка и декорации были просто ошеломительными. Особенно меня поразили: правдивая, словно живая Голова... и летающие феи в замке Наины.

Но все-таки надежды М. Ив. я не оправдал: слушая «Руслана», я не забывал «Аиды», так как я сильно желал все время почувствовать эффект звучания аидовских маршей в зале Большого театра. Да, я «Аиду» не забывал... Лишь в одном марше Черномора я немного (!) забыл ее, но только на мгновенье... Все же таких мест, которые бы могли на меня подействовать так же, как куплеты Амонасро, похоронообразный хор жрецов, сцена фараона и пленного царя, я в «Руслане» не встретил! Подбирать что-либо из «Руслана» я еще боюсь, ибо я его еще не очень хорошо запомнил, между тем, как «Аиду» я знаю почти всю наизусть.

И я все-таки не могу поверить, чтобы оркестровка и сложность «Руслана» была лучше аидовской... Нет! Я чересчур хорошо знаю, понимаю и умею слушать «Аиду», чтобы согласиться с этим...

3-го сентября. Сегодня у нас был не столь трудный, сколь утомительный и надоедливый день, так как у нас было шесть уроков, состоящих из двух химий, двух эволюций и двух физик.

Химия у нас протекала в верхнем классе, где мы когда-то мучились с немецким. Марья Никифоровна осталась ее у нас преподавать, и уроки ее прошли интересно и спокойно.

Эволюции нас начала учить «Труба» — Анна Васильевна. Она попилила нас сначала по привычке, произнесла нам несколько веских фраз, после которых мы не должны были, по ее мнению, плохо учиться и плохо вести себя в школе, а потом уже приступили к уроку.

Но вот наступил долгожданный момент: мы увидели нашего физика. Он был одет в бежевый костюм и что-то творил у себя в кабине. Когда мы расселись, он долго ходил мимо наших парт и среди неопишемого шума и смеха весело здоровался с нами.

— Вот Сальковский, я вижу, возмужал! — сказал он. — Видно, что набрался сил за лето! Стал более солидным. А вот сосед его не изменился. — И он указал на меня.

— А вы, кажется, новый? — обратился он к Вовке Гуревичу. — Откуда? Из какой школы? Зачем пожаловали?

— Я из Воронежа. Мы сюда переехали, — проревел Володька резким голосом.

Затем В. Т. остановил свое внимание на второй Цветковой:

— А вы откуда, друг мой сердешный?

Та назвала школу и район.

— Переехали сюда, следовательно?

Цветкова № 2 качнула утвердительно головой.

— Что имели по физике?

— М... иной раз «посредственно», а вообще «хорошо».

— М... так! — пробурчал физик. — Плохих отметок не было?

— Нет...

— Жаль! — сочувственно отозвался В. Т. при всеобщем смехе.

Подойдя к столу, где сидели Кухрей и Шлейфер, он спросил у последней с тонким намеком в голосе:

— Ну как, Шлейфер, снова думаете пропускать уроки, болеть, получать неважные отметки?

— Посмотрим! — лаконично ответила та.

— Смотреть-то буду я! — невозмутимо отвесил физик, порождая в классе взрыв хохота своим острым ответом.

Два урока физики пролетели быстро. В. Т. рассказывал нам о теплоте, и мы записали с ним кое-что в свои тетрадки.

После 6-го урока он задержал нас на местах.

— Спокойнее, товарищи! — заявил он. — Убирайте книжки, но оставайтесь на местах. — После того он объяснил нам, что вызвался быть нашим классным руководителем и думает, что мы его не подведем. Он не развил свои мысли за тридцать земель, как делают многие учителя, когда собираются выяснять с учениками тот или иной вопрос, а говорил просто, спокойно и кратко.

— Дисциплине, друзья мои, я вам говорить не буду, — сказал он. — Мне в этом нет надобности. Народ вы разумный, и сами знаете, что хорошо, что плохо! Во время объяснений преподавателя, если хотите, ведите записи, но это дело хозяйское — как вам будет угодно! К счастью или к несчастью, выбрал я ваш класс — я не знаю, это покажет будущее. Но я надеюсь, что мне придется радоваться на хороший класс!



После этого он отпустил нас восвояси.

Когда я пришел домой, дома были Лиля и мама. Люся уехал на выставку, чтобы ознакомиться с чудесами природы. Не успел я перевести дух после школы, как вдруг к нам приехал второй Люся — Бетин. Я ему обрадовался несказанно! Ведь я его не видел с 37-го года! Оказывается, завтра он уезжает обратно в Ленинград, и поэтому решил хоть один зайти в нашу харчевню.

Это очень хороший молодой парень. Он был одет в морскую форму. Роста он среднего, с добрым детским лицом со слегка раскосыми глазами, скрытыми за очками, и с очень жиденькими светлыми волосами!

К несчастью, я долго не мог быть дома, так как Мишка уже ждал меня у себя.

У Михикуса я пробыл до самого вечера. Мы все время болтали о своих делах, бичевали школу, говоря, что теперь множество трудных уроков отнимет у нас время на свои домашние дела, и мечтали о том дне, когда мы сможем начать свою трудовую домашнюю жизнь.

Часов в восемь я вернулся домой, так как сегодня вечером уезжала Лиля. Я снял со стены один из моих цветочных рисунков, что Лиле очень нравился (то были анютины глазки) и дал их ей, чтобы она отвезла их дяде Марку. По ее просьбе я на листе бумаги наскоро нарисовал контуры тех же анютиных глазок, чтобы Маня, которой Лиля повезет этот набросок, могла бы вышить их на подушке.

— Дай мне волю, — сказала Буба, приехавшая к нам, чтобы вместе с мамой проводить николаевскую племянницу, — я бы каждый день колотила тебя палкой только за то, что ты не желаешь учиться рисовать!

— Мне эта музыка уже давным-давно знакома и успела мне надоесть! — недовольно, но весьма мирным тоном пробурчал я.

Вскоре я остался дома один! Часов в 11-ть вечера вернулся с Выставки Лазарь. Мы с ним поужинали, поговорили о своих делах, он меня расспросил о моем дневнике, я рассказал ему историю последнего и то, как я веду его, и мы решили, не дожидаясь прихода мамы с вокзала, лечь спать!

4-го сентября. Сегодня первые два урока были у нас тригонометрия и геометрия. Николай Иваныч просто и понятно рассказал нам о значении и истории тригонометрии и объяснил нам, как измеряются расстояния до предметов, которых мы не можем достигнуть.

На геометрии он выявил ряд наших дефектов, и, оказалось, что мы ни черта не помним из прошлогоднего курса!

— Вот вам следы учения Нины Матвеевны! — сказал Мишка Королю и мне.

Ник. Ив. сказал, что сначала он должен узнать и проверить нас, а потом уж приступить к курсу девятого класса. Он сравнил нас с поездом, говоря, что перед тем, как пускаться в путь, следует осмотреть и отремонтировать все вагоны. А то, того и гляди, на половине пути полсостава тряхнется под откос! Сравнение это нам очень понравилось, и мы увидели, что перед нами действительно деловой преподаватель!

На перемене Н. Ив. столкнулся случайно с Олегом и сказал ему:

— Я вижу, ты парень не промах, обстоятельный! Пойдем-ка со мною! Я хочу спросить у тебя кое-что!

После уже Олег рассказал нам, что математик задал ему вопрос о том, кто нам преподавал в том году.

— А одна молодая учительница! — отвечал на это Олекмус.— Она была неопытной, первый год учила!

— Ну, а вы этим пользовались!!

— Да нет! М ее все же уважали, но она вообще все же плохо рассказывала.

— Ну, не беда! — ответил Н. Ив.— Я вас на ноги поставлю!

... Мы уже все успели заметить, что наши блуждания по школе уже снова начинаются! Что ни новый урок, то новый класс! Математикой мы сегодня занимались в нашем бывшем химическом кабинете, теперь оголенном и переделанном в простой класс, а историей, которая должна была у нас быть после геометрии, мы должны были заниматься наверху, в большом, светлом кабинете, окна которого выходили на башни и церкви Кремля.

Грянул звонок, и в класс вошла наша новая историчка. Это старая учительница в нашей школе, и мы, будучи в предыдущих классах, уже видели не раз ее на переменах. Это старушка, среднего роста, довольно слабая, но по внешности весьма солидная. У нее большой выпуклый крепкий лоб, бежево-оранжевые волосы, маленький подбородок и острый нос, высоко приподнятые брови, от чего лицо ее кажется всегда удивленным, и небольшие глаза, скрытые под маленькими очками в форме эллипса и заключенных в тонкую коричневую оправу. Фамилия историческая — Костюкевич.

Есть люди, характер которых узнаешь с первого же часа знакомства с ними. Их нет надобности долго изучать — они все наверху, открыты! К таким же относится и наша историчка! Ее способ преподавания — это имена, даты и события, но не мелкие факты, от чего ее речь была очень простой и легкой! Войдя в класс, она без предисловий приступила к уроку, хотя и видела нас впервые. Рассказывала она тихо, спокойно. Голос ее вообще слабый, немного вялый. Говорят, что она ехидна и упорна, как стадо чертей! Она уж обязательно настоит на своем, даже не слушая возражений. Если во время ее рассказа грянет звонок, она не подытоживает урок, а кончает его на том же слове, на котором ее звонок застал, и уходит из класса. Бывает, что она из-за звонка прерывает рассказ свой где-нибудь на полуслове и даже не договаривая его, оставляет класс.

Последним уроком была литература. Мы все дрожали, как осинный лес, так как не приготовили урока о Лермонтове, но на наше счастье Давид Яковлевич дал нам диктант из «Войны и мира», чтобы испытать нас в применении грамматики.

Я писал карандашом, так как не взял с собою ручки. Учитель предупредил нас, что за карандаш отметка будет снижена.

Сдав диктант, мы побрели домой, рассуждая дорогой о написанных предложениях и словах.

Часа в три позвонил М.Н., и мы уговорились с ним, что я приду к нему на урок перед воскресеньем, в субботу.

Когда я уходил к Мишке, Люся собрал все свои вещи и поехал на вокзал. Мама собралась его провожать, так как он уезжал домой в Малую Вишеру, а потом в Ленинград.

У Мишки я сделал уроки и вернулся домой, захватив с собою всех жуков и бабочек, что он привез мне из Крыма.

Я пришел домой... дома никого не было!... Лиля была уже в дороге, Люся на вокзале... и мы с мамой снова остались одни... Неприятно такое положение после ватаги веселых ребятишек! Да!

**5-го сентября.** Сегодня у нас в школе ничего особенного не было. Правда, по каким-то причинам не явился преподаватель по физкультуре, и мы весь урок занималась алгеброй, к которой нас принудил наш новый завуч Василий Федорович, седовласый, сутулый старик, невысокого роста, с грубым голосом, имеющий пронизательные глаза, схожие с глазами монгола. Он не имел ни бороды, ни усов, но вообще оказался превосходным человеком, хотя и имел в себе ехидного и хитрого человека.

Дома я узнал, что к нам сегодня вечером придет Галина Львовна, приехавшая из Ленинграда, и я сейчас же сказал маме, что спрошу у нее, приехали ли Рая и Моня в Ленинград из дома отдыха или нет, и могу ли я написать им письмо.

Под вечер к нам пришла Буба, так как она хотела лично повидаться с Галиной Львовной, чтобы последняя могла бы передать Рае, что Буба жива и здорова.

Та, которую мы ждали, пришла около десяти часов. Вечер мы провели прекрасно. Кажется, я никогда не считал себя счастливым в большей степени, чем сегодня. Мы беседовали о своих де-лишках, и Галина Львовна рассказала нам о том, что Рая и Моня уже в городе, что Нора очень выросла и что они ждут моего письма. Она еще добавила, что Рая очень любит читать мои послания и, судя по ее словам, она прямо-таки «захлебывается» ими. Я почувствовал себя вознагражденным за все и решил на днях написать им письмо, тем более, что наша переписка оборвалась уже на целый месяц, и тем более, что мои ленинградские родственники уже приехали домой.

Я проводил Галину Львовну до трамвая, и она самым убедительным образом просила меня «заглянуть» к ним в Ленинград в зимние каникулы.

7-го сентября. Я боюсь, что теперь мне не удастся заносить в дневник подробные записи, так как нам теперь столько задают уроков, что мне просто нет смысла уделять много времени дневнику. Боюсь, что мои короткие записи будут скучны, но не от меня это зависит.

Сегодня в газете я прочел, что 10-го числа будут транслировать из филиала Большого театра «Аиду». Это подняло мое настроение! Я, конечно, не пропущу подобного случая!

Будучи сегодня у М.Н., мы побеседовали с ним о «Руслане», так как я ему сказал, что слушал эту оперу на днях в театре; а потом я стал изливать свою горечь о том, что бесчисленное множество уроков не дают мне возможности окончить свои доклады. М. Ив., конечно, не замедлила меня упрекнуть в том, что я, вообще, не думаю учиться рисованию. На это я ответил, что, когда поеду в Ленинград, буду жаловаться на них Рае, ибо она одна пока что благоразумно относится к этому, говоря, что человек должен сам по своему вкусу выбирать себе дорогу.

— И на нас будешь жаловаться? — спросила М. Ив.

— Вас могу пощадить, вы мне еще не так докучаете. А вот моя мама, да еще моя тетушка, так те мне совсем жить не дают! Ну, что я буду с ними делать?!

Дома я узнал сегодня нечто ужасное: оказывается, что Сарра, достав билет, уехала с новорожденной домой в Ленинград, а тетя Бетя и шалун Витторио остались здесь.

— Проклятие! — простонал я. — Все, на кого я не посмотрю, спокойно улаживают дела с билетом и уезжают, а я, как несчастный мученик, смотрю на это издали и никак не могу вырваться из Москвы!

— Ничего, поедешь, — сказала мама.

— Хотел бы я это видеть!... — с горькой усмешкой сказал я.

Вечером, отправляясь к Олегу, чтобы вместе с ним провести время, я зашел проведать нашу церквушку. Я завернул на церковный двор, обогнул церковь, проскользнул мимо гор всякого хлама и очутился перед белой лестницей, уходящей куда-то вглубь. Теперь я был не слишком осторожен, так как странное спокойствие овладело мною. Я, не медля ни минуты, спустился по кривым ступеням и, вытянув руки, дотронулся до пыльных дверных досок... На дверях я нащупал огромный кованый замок.

8-го сентября. И вот наступил первый выходной день. Конечно, я не зевал, твердо решил провести его по-человечески. Полдня мы с Мишкой толкались в спортивных магазинах, выживая гантельки для гимнастики, но ничего не нашли, и я решил утопить свое горе, отправившись вечером вместе с мамой к Гене.

Первым делом я взялся за альбом с фотографиями и с любовью стал рассматривать облики моих далеких родственников, живущих где-то далеко в Одессе и в недоступном Ленинграде. Собственно говоря, я только ради этого альбома пришел сегодня к Гене, чтобы вспомнить свою родню.

10-го сентября. Ввиду того, что у нас не работала вторая линия, по которой передавали «Аиду», то мне пришлось отправиться к Мишке, где я и прослушал всю оперу. Ну что это за опера? Ведь в ней участвуют прямо-таки живые люди! Это не те картонные куклы, о которых говорил Чайковский! Завидовал он, что ли, подлец? Думаю, что завидовал: ведь не каждый композитор мог бы написать оперу так, как написал Верди свою «Аиду». Да! Толь-

ко благодаря «Аиде» я понял оркестровку. Верди не совал (так! Изд.) инструменты один за другим, лишь бы, чтобы сказать, что, дескать, его опера заключает в себе всевозможные формы оркестровки, а он подбирал инструменты со вкусом и удивительной тонкостью.

Трудно описать мои чувства, когда в оркестре и на сцене проводится сцена появления пленных эфиопов. Слушая всегда этот отрывок, я начинаю дрожать, как дрожит бедный щенок, попавший под дождь. Я не могу спокойно слушать эту сцену. Разве это не душераздирающий момент, когда предстают перед фараоном униженные, связанные пленники, и Аида, увидев среди своего отца, эфиопского властителя Амонасро, с криком бросается к нему, оплакивая обезглавленную отчизну. Амонасро грубо схватывает ее и шепчет, чтобы она не предавала его!... Да, это одно из лучших мест оперы.

Да и вообще я не могу себе представить, как это только люди (а их немало), вдобавок даже люди, понимающие музыку, могут равнодушно относиться к такой опере.

12-го сентября. Сегодня мы получили письмо от Лили, где она пишет, что благополучно доехала до Николаева. Короче говоря, все обошлось как нельзя лучше. Она также касалась в письме и того, что зимой к нам, может быть, приедут дядя Марк и их Люся. И это уже, кажется, решено!

14-го сентября. Будучи сегодня у М.Н., я случайно посмотрел на висевший на стене рисунок Исаакиевского собора, вспомнил, что я когда-то ходил по этой площади, когда-то взбирался на вышку, когда-то непосредственно созерцал золотой купол собора, и я вспомнил о трудностях, которые должны будут мне помешать поехать зимой в Ленинград.

— Смотрю я на этот рисунок и думаю,— обратился я к М.Н.— удастся ли мне увидеть этой зимой этот собор и эту площадь наяву или нет?

— Да,— согласился М.Н.— для тебя это не очень-то приятный вопрос! Но ничего, может быть, попадешь туда!

18-го сентября. Еще 15-го числа, встав как можно раньше, я начал писать в Ленинград письмо. Было 6-ть часов утра, мама спала, и в комнате было тихо. Так постепенно, за эти три дня я написал

все письмо, уделяя ему внимание, главным образом, по утрам до школы. Я решил написать все и обо всем, ответить на все вопросы, которые Рая задавала мне в предыдущем письме и, так как на меня вдруг напало желание закатить Рае художественно обработанное, богатое письмо, то я и написал его... Скорее всего, это был у меня целый рассказ. Я взял для этого письма целую тетрадь, хотя и не думал над тем, что это письмо у меня займет ее всю; но вот письмо я окончил, и от моей тетради осталась одна обложка с промокашкой. Все письмо у меня уместилось на 25-и страницах, и к тому же я писал его, как обычно, очень мелко и в каждую клетку. Окончив его, я был рад, как не знаю кто! Именно поэтому я и разглагольствую сейчас так пышно! Я писал его по краткому плану, который я составил для того, чтобы не упустить ни единой мысли. Я, конечно, потом вложил этот план в конверт, где хранится последнее Раино письмо, которым я пользовался при своем писании, и конверт сунул в обложку истраченной тетради. Это я решил оставить себе как добрую память, в честь такого гигантского письмеца. Я даже и не собрался переписывать его в дневник, как я обычно делаю, — ведь это адский труд! Я просто попросил Раю сохранить его с тем намерением, что я зимой (если буду у них) спишу себе наиболее нужные мне места.

Написал я Рае положительно все! Я объяснил, почему долго не мог писать; описал ей всю историю моего старания попасть в Ленинград; описал, как я был в Звенигороде; ответил ей на ее вопросы о моих взглядах на будущее и о многом другом.

Я еле-еле запихал все письмо в конверт. Боясь, что его могут не принять на почте (я, безусловно, думал послать его), я сунул конверт под тяжеловесные тома «Истории Земли» и поставил наверх всего этого настольную лампу; все это я проделал с тем, чтобы мой конверт принял более или менее приличный вид.

В школе сегодня ничего особенного не было. Правда, на истории мне вздумалось разработать финальную иллюстрацию к моему Итальянскому докладу и я набросал чернилами набросок будущего рисунка, который должен был изображать в конце доклада нечто торжественное, подчеркивающее. Я изобразил овальную картину Везувия, наполовину накрытую материей, рядом торчали у меня ноты, лавры и смычки, а из-за всей кутерьмы виднелись сверкающие спартаковские мечи и шлемы.

Вот примерно какой я хочу сделать заключительную иллюстрацию в Итальянском докладе. Посмотрим, как все это получится!

19-го сентября. Письмецо всю ночь пролежало у меня под тома-ми геологии, но я решил продержатъ его еще до вечера, а нынче же вечером отпустить его в путь-дорогу.

Погодка была сегодня прекрасная. Когда я шел в школу, то я заметил, как Кремль отражал от себя ярко-желтые лучи восходящего солнца. Дворец и церкви его, казалось, были выкрашены в густую, яркую желтую краску. Тени на них были истинно голубого, как лазурь, цвета, ибо холодный воздух раннего утра давал о себе знать. Ярко-желтые освещенные места и небесно голубые тени вместе казались чем-то необыкновенным, и весь Кремль был похож на театральную декорацию. Короче говоря, освещение пейзажа было прямо-таки сказочным.

Вечером я извлек конверт на свет, и, отправившись на почту, сдал его, полагаясь на честность наших железнодорожников. Ничего особенного не случилось, и письмо было принято без какого-либо рода указаний или замечаний на внушительный вид конверта.

22-го сентября. Сегодня я встретился с Женькой Гуровым, чтобы снова поболтать о прошедшем, поговорить о настоящем, помечтать о Ленинграде. Я рассказал ему, что теперь из-за школы совершенно перестал рисовать, возиться с докладами и вести дни по намеченному плану. Очень трудно все это ставить наравне со школьными уроками; а мой планчик, очевидно, пойдет у меня в «архив древностей». Мы начали строить планы на нашу поездку, и я, между прочим, заявил ему:

— Теперь меня совершенно ничто не трогает! Я ни на что не обращаю внимание, ничто меня не трогает — я лишь считаю дни и с умилением думаю каждый вечер, что, вот, дескать, день прошел, и Ленинград стал для меня ближе!

— Ты прав, голубчик! — заявил мне Евгений. — У нас с тобою расстояние до Ленинграда измеряется не километрами, как обычно, а днями...

— И даже часами, — добавил я. — Весьма странное измерение пространства, не так ли?

Когда же мы заговорили о билетах, то Женька сказал мне, что их какая-то знакомая работает на вокзале, и она может достать нам два билета.

— Это, смотря на каком вокзале она работает, — осторожно сказал я.



— Да на Ленинградском же! — выпалил Женька.  
И мы решили, что дело в шляпе.

23-го сентября. Сегодня я узнал из газеты, что 27-го будет передаваться «Аида». Ну, я, конечно, сейчас же проболтался Мишке, и сказал ему что, если, на этот раз ее будут передавать по нашей линии, то, чтобы он обязательно явился ко мне; в противном случае нам придется слушать у него.

Совершенно неожиданно для меня сегодня вечером транслировали «Травиату» — понятно, никто не мог меня оторвать от репродуктора.

Когда уже начиналось III-ье действие, внезапно загремел дверной звонок. То оказалась Раина приятельница Тина, которая была в Москве проездом из Ленинграда в Одессу. С нею пришла к нам какая-то маленькая девочка, румяная и довольно крепкая по здоровью, если судить по ее внешности. Пришедшая приятельница моей сестры нас лично не знала, но она по своей удивительной памяти узнала сейчас же и маму, и меня, так как, по ее словам, она видела нас у Раи на снимках. Она принесла нам весточку от Раи. Я к своему величайшему удовлетворению, узнал из нее, что, придя 21-го поздно домой, она получила мое письмо, «которое не успела еще целиком прочесть, ибо рано утром отправилась по своим делам».

— «Травиату» передают! — вдруг проговорила меньшая пришедшая, когда началось III-ье действие.

Я, конечно, не мог не обратить внимания на эту фразу и мысленно похвалил эту девчурку за ее храбрость в музыке.

27-го сентября. Ура! «Аиду» передавали у нас! Я вечером перед началом оперы позвонил Михикусу, и тот, явившись, уселся у радио вместе со мною. Он успел прослушать со мною два действия, так как куда-то спешил, и, уходя, сказал мне, чтобы я спал спокойно, так как «Аида» ему пришлась по душе. Нет сомнений, что сам я прослушал ее до конца. И выключил радио лишь по ее окончании, т.е. в 11 часов ночи. Короче говоря, сегодняшним днем я остался доволен!

28-го сентября. А сегодня я еще получил нечто приятное и от других лиц, которых я встретил в школе. Оказывается, Димка, будучи у себя дома, тоже слушал «Аиду», и ему очень понравилась сценка с пленниками и куплеты Амонасро. На одной из перемен, встретив-

шись с Изькой, я узнал от последнего, что он, подлец, тоже вчера упивался «Аидой» и, будучи человеком, который неплохо разбирается в музыке, указал мне на арию Аиды в 1-м действии и на молитву жриц и жрецов, которые, как и вся опера, — гениальны. Правда, он остается равнодушным ко всем частям оперы, за исключением марша и суда Радомеса, но я, уж, так и быть, прощаю ему этот промах! Одного я не мог ему простить, это то, что он, мошенник, не обратил свое внимание на куплеты Амонасро в III-ем действии. Он ответил, что он их просто как-то не заметил.

— Это не важно, — сказал я. — Я их сам только недавно узнал! Они очень короткие и легко могут ускользнуть от слуха. Но ты гляди! В следующий раз во что бы то ни стало внимательно прослушай их и скажи мне, как ты их находишь.

И я объяснил Изе, в каком примерно они месте, чтобы он не рыскал по всем действиям. Он обещал мне не дать промах при первой же следующей трансляции «Аиды».

30-го сентября. А сегодня меня ждала новая неожиданность: оканчивается, 4-го октября будут передавать в грамзаписи «Трубадур», в исполнении миланцев. Я мигом настроился на то, что пройду огонь и воду, а «Трубадур» услышу!

Сегодня наша семья пополнилась новым членом! Старший вахтер нашего подъезда дал нам одного из детенышей их кошки. Этот детенышем оказался маленький, белый, с серыми пятнами, котик который весь день совал свой нос во все углы и неистово пищал!

Ему вторил малыш Витторио, которого привела к нам Бетя. Очевидно, Витьке было скучно, потому что он орал весь вечер без передыху. Он сидел, как идол, на диване и, раскачиваясь, вроде колоды, с увлечением выл, разинув широко рот!

1-го октября. Какое совпадение! Именно сегодня, в первый октябрьский день, я, сидя сегодня на уроке химии, заметил через окно, как на дворе деревья уже стали приобретать желтые листья. Деревья казались унылыми и печальными, но я сам зато радовался, так как зима была уже не за горами!

4-го октября. Какое мошенничество! «Трубадур» не передавали по нашей линии! Предварительно выругав всех чертей, я отправился к Мишке, и мы прослушали всю оперу целиком. Дома я, конечно, сейчас

же уселся за пианино и на свежую память изменил оба марша из «Трубадура», так что теперь они у меня стали более похожи на оригинал.

Мишке опера понравилась — особенно он был в восторге от походной песни графских воинов; между прочим, я это уже предугадывал заранее.

5-го октября. Будучи сегодня у М.Н., я выслушал небольшую шутивную нотацию от М. Ив. за то, что я все еще не хожу в пальто. Так как М.Н. был простужен и лежал на диване, то М. Ив. сказала мне, что и со мной будет так же, если я не буду одеваться по-человечески.

— Вот М.Н. в детстве ходил так же, как ты, а теперь, видишь, боится дуновения ветерка! — сказала шутивно она.

— Наоборот! — возразил мой учитель. — Я потому теперь и сваливаюсь так часто от простуды, что перестал так ходить. Продолжай я ходить этак и далее, то теперь мне было бы не опасной миссией и купание в проруби!

— Ура! — сказал я. — Приветствую своего сторонника!

10-го октября. Сегодня со мною случилось нечто необыкновенное! Не знаю, почему, но, придя из школы, в меня вселилось чудовищное желание сыграть марш из «Аиды». Я его вообще люблю играть только с настроением и никогда стараюсь не садиться, чтобы его сыграть без охоты и без чувства. Никого дома не было, и меня никто не стеснял. Я вложил в марш сегодня все свое чувство и проиграл его по всем правилам — со всеми его многочисленными сложными оттенками и пр. Обычно мне всегда кажется, что у меня марш выходит бесчувственным и сумбурным, но сегодня я могу прямо сказать, что благодаря особому желанию его проиграть, он у меня звучал недурно. Я бы желал, чтобы он у меня всегда так выходил.

Сегодня вечером к нам неожиданно приехал из Николаева Люся, сын дяди Марка. Он был членом делегации от их газеты, где он работает, на ВСХВ<sup>54</sup>. Вечером к нам зашла Буба, чтобы повидаться со своим племянником.

— Я от Раи письмо получила, — сказала она. — Там она о тебе рассказывает, — обратилась Буба ко мне. — Говорит, что ты ей написал большое письмо.

---

<sup>54</sup> Всесоюзная сельскохозяйственная выставка (1939–1941). Открылась заново после длительной реконструкции в 1954 г. и вскоре получила новое название — ВДНХ.

Я прочел открытку. Там Рая писала, что ей интересно знать, какие у меня будут занятия в дальнейшем и т.д. Упомянув мои письма, она писала далее, что она с Моней и Норой пользуется большой симпатией у меня! Такое прямое признание мне не понравилось, и я бы, на ее месте, написал это как-нибудь более незаметно, а то и просто бы не вставлял в письмо.

11-го октября. Сегодня мы получили из Одессы от тети Доры письмо, где Лиза спрашивает нас, может ли она снова приехать к нам, так как из-за ее болезни ей опять нужно менять климат. Я до того обрадовался этому, что решил сейчас же вместе с мамой ответить на это послание, чтобы лично пригласить Лизу и уверить ее, что мы с нетерпением будем ждать ее! — что я и сделал.

12-го октября. Отправляясь сегодня утром в школу, я по дороге опустил в ящик вчера написанное письмо, уверив себя, что оно непременно придет к месту назначения.

А вечером я узнал, что дядя достал Бете билет в Ленинград и что она завтра вечером уезжает домой. Я с прискорбием узнал, что билет был приобретен с огромными трудностями. И я, к несчастью, лишился нескольких шансов поехать в каникулы к Рае. Боже! Что это за недоступная крепость?!

17-го октября. Сегодня за обедом я все-таки решил расспросить у мамы, при каких обстоятельствах был добыт для Бети билет. Уехала в мягком вагоне, и я думал, что ей вынуждены были достать билет в мягком вагоне, ибо в жестких билетов не было. Но я оказался не прав: Бетя сама хотела ехать в спокойных условиях.

— Ну, я думаю, тебе никакие мягкие не нужны? — сказала мама.

— Разумеется! — ответил я. — Пусть хоть я буду стоять, но я все равно соглашусь на поездку. Меня это не смущает! Ведь раз Женя едет к тете, то нам вдвоем будет не так уж плохо! Будем болтать друг с другом, лишь бы билеты были!

Вечером к нам снова пришла Буба, и приехал с выставки Люся. От Бубы я узнал, что этой ночью из Ленинграда звонила Рая по различным родственным и хозяйским делам.

— Ну, что она еще говорила? — спросил я.

— Ну, как что? Конечно, тебя приглашала на каникулы. Говорила, чтобы ты обязательно приехал к ним!

Я думаю, читатель понял все мое состояние, когда я при этих любимых словах вспомнил толкотню на вокзале, беспределные очереди и пр. прелести, которые витают вечно в вокзальных стенах...

19-го октября. Сегодня, как перед воскресеньем, мы с мамой решили зайти к бабушке, чтобы узнать, когда она уезжает. Мы знали, что она собирается ехать в Зап. Белоруссию, где живет известная читателям ее дочь Лина. Но мы нашли закрытую дверь, а от соседей мы узнали, что уже уехала, и не далее, как сегодня в 3-и часа дня. Мы были обескуражены, но ничего не поделаешь: нам оставалось только желать благополучного конца этого последнего путешествия бабушки. Дедушка сейчас находится в доме престарелых, а бабушка приближается к бывшей границе с Польшей... Вот и кончилась навсегда их дружная совместная жизнь...

И мама, и я чувствовали после этого, что нам что-то недостает! Только бы бабушка выдержала эту утомительную поездку, и нам больше ничего не нужно...

20-го октября. Сегодня мы снова с мамой были у Гени. Я, конечно, сейчас же уселся за альбом и вместе с маленькой Софьей стал вспоминать своих и ее родственников. Под конец Софа по предложению Берты облачилась в какую-то красную хламиду и, встав посреди комнаты, стала распевать частушки, из которых мне особенно врезалось в память следующее четверостишие:

*Стоит Милка у ворот,  
широко разинув рот!  
И никто не разберет,  
где ворота, а где рот!*

Придя домой, мы нашли у себя два письма, в одном из которых Лиза писала, что уже собирается ехать к нам и благодарила маму и меня за приглашение, а в другом — узнали, что Бетя благополучно доехала до своей хижинки.

22-го октября. Сегодня ни дома, ни в школе ничего особенного не было, но зато на улице нашли первый снег, по крайней мере, тот снег, который я впервые заметил. Небо было хмурое, осеннее, и

снег, попадая на мокрые тротуары, превращался в обыкновенное  $H_2O$ , от чего только усиливалась октябрьская сырость. Меня зима к себе сейчас не влечет — рано или поздно ли покроется земля снегом — мне все равно. Главное то, что дни от этого длиннее не делаются, а главное, что Ленинград продолжает приближаться все так же равномерно и неуклонно!

24-го октября. Сегодня наступающая зима обманула нас — снег исчез, и перед нами снова предстали типичные осенние виды: мокрые блестящие мостовые, сверкающие лужи, серые однообразные тучи и пр. скука.

Но зато именно эта скука и заставила меня сегодня обратить внимание на два вида из окон нашей школы на Кремль. Вид из химического кабинета привлек меня своею сложностью и красотой: окна нашей химической комнаты выходили на Москва-реку и на угловую башню Кремля. Другой вид представлялся зрителю из другого, смежного с химическим кабинетом класса, из которого Кремль был виден поверх крыш соседних домов. Если бы не школа, то я бы в какие-нибудь два дня начиркал бы себе эти пейзажи, но я ничего не мог поделать.

Вечером я узнал от мамы, что завтра приезжает Лиза! Слава небесам! Наконец-то нам интересней станет жить!

25-го октября. Сегодня ночью в моем сознании протекло довольно интересное сновидение. Я видел себя вместе с Женькой на лестнице вокзала в Ленинграде, видел нашу церквушку, в которой якобы жили Рая и Моня, и которая каким-то чудом очутилась там, видел шалунью Нору, — короче говоря, это был искушающий мою душу кошмар. Я и желаю и не желаю видеть подобные сны. После них у меня всегда тяжело бывает на сердце. Великий Юпитер! Когда же все эти кошмары превратятся в реальность?

Вечером я немного зато рассеялся: приехала Лиза, мы перетащили ее скарб от машины домой, и тут снова началось то же самое, что и весной, когда она также приезжала к нам: узелки, всякие безделушки и разная хозяйская утварь были извлечены из чемодана и распределены по своим новым местам; к ужину все угомонилось.

Лиза не виделась с Люсей, так как он уже уехал опять в Николаев, о чем она сожалела, но зато она имела прямую возможность видеть своих многочисленных московских родственников.

За ужином Лиза заговорила о той самой Раиной подруге, которая недавно проезжала через Москву в Одессу. Они уже виделись в Одессе, и Лиза, таким образом, знала все последние подробности Раиной жизни.

Лиза заговорила и о моих письмах к Рае и Моне.

— Ты знаешь, что она тебя очень хвалит за письма? — спросила меня Лизавета.

— Кто это хвалит?

— Рая, конечно. Это нам говорила ее подруга Тина, что приехала из Ленинграда. Она говорит, что Рая просто гордится твоими письмами. Говорит, что ты хорошо очень пишешь, и всем показывает их.

— Что, письма! — трагически изрек я. Письмо сунул в почтовый ящик, и оно уже обеспечено, а вот ты сам унижен иметь дело с вокзалом, билетами, поездами... Горькая наша жизнь!

26-го октября. Разве можно сравнить такие два противоположные понятия, как поездка в Ленинград и школа? Школа — это торга! В школе вообще все с ума сошли! Школа, кажется, сейчас задает такую пропасть уроков, что просто деваться некуда... С болью на сердце отправился я сегодня к М.Н. и излил ему всю свою желчь. Он, я знаю, мировой парень, поэтому он с участием отнесся ко мне и сказал, что зато в Ленинграде уж я поликую! Такие люди бывают всегда правы!

27-го октября. Встав сегодня рано утром, я сел за составление конспекта по географии, но мне скоро суждено было прекратить это священнодействие, ибо ко мне неожиданно позвонил и пригласил к себе мой старый друг Юрикаус<sup>55</sup>. Я сейчас же помчался к нему. Юрка, ни в чем не изменившийся по внешности, встретил меня на улице. Он немало удивился, увидев меня в этот холодный день без пальто, но вспомнив мои былые проказы, он успокоился. У него пробыл до глубокого вечера. Мы на первых порах разобрали случаи в нашей жизни, которые произошли в дни нашей долгой летней разлуки, а потом Юрка таинственным образом показал мне чудо природы: трубкообразный карманный микроскоп. Мы с ним сейчас же уселись за стол и при помощи данного инструмента стали созерцать все, что нам ни попадалось: поверхность стола, бумагу, рисунки, шрифт на

---

<sup>55</sup> Имеется в виду Юрий Трифонов.

газете, волос, который Юрка зверски выдрал у себя из шевелюры, вплоть до блохи, что мы нахально украли у их кошки. То, каким чудовищем стала для нас эта тварь, нет слов описать... Преимущество этого микроскопа было то, что для него не нужно готовить препарата; все, что требуется рассмотреть, непосредственно подставляется под трубку и на данный участок рассматриваемого предмета направляется луч света, отражаемый маленьким зеркальцем у основания трубки. Короче говоря, это инструмент, приготовленный, очевидно, для путешествий! Увеличивает он в 40–60 раз — совершенно достаточно, чтобы отражение многих предметов...

29-го октября. Сегодня из газет я узнал, что из-за каких-то неизвестных разногласий между Италией и Грецией первая объявила войну последней. Несогласия их, кажется, заключались в том, что Англия желала употребить Грецию в качестве мест для аэродромов, а Италия, несомненно, стояла против этого<sup>56</sup>. Вот и все, что случилось особенного в мире за последние дни!

Это было в мире, а что же было в школе?

А в школе было то, что меня Василий Тихонович оставил после уроков у себя и дал задание написать плакаты для класса к праздникам, на которых я должен буду письменно изобразить характеристики физиков, портреты которых висят в нашем физ. кабинете. Я согласился, так как не нашел нужным огорчать нашего добряка!

31-го октября. Сегодня после школы я пошел к Димке за обещанными им мне плакатными перьями. Я побыл у него пару часиков, поболтал с ним о школьных делишках и вернулся домой около 7-и часов вечера. Но не успел я моргнуть глазом, как узнал, что Лиза и мама сегодня достали билеты на «Музыкальную историю»<sup>57</sup>. Картина мне очень понравилась; тем более, она мне пришлась по душе из-за того, что там было кое-что сказано о Верди, о Чайковском, о Бородине, о Р.-Корсакове и о Бизе. Лемешев, исполняющий главную роль, играл хорошо. Виды Ленинграда (Исаакиевский собор, ул. Герцена, на которой живет Рая, Петропавловская крепость), которые мелькали в картине, взбудоражили меня еще больше, так что картиной я остался очень доволен.

---

<sup>56</sup> Фашистская Италия напала на Грецию 28 октября 1940 г. Эта агрессия вызвала подъем патриотического духа и ожесточенное сопротивление греков.

<sup>57</sup> Фильм режиссеров А. Ивановского и Г. Раппапорта, снятый в 1940 г.



Придя домой, мы получили от Раи письмо, где она ругала свою сестру (Лизу, конечно), что та, дескать, не пишет ей, как она доехала до Москвы. Из этого же письма мы узнали, что Рае известно о скором приезде в Москву дяди Марка. «Уж скорее бы он приезжал!» — подумал я.

1-го ноября. И вот осталось до Ленинграда еще 2 месяца! Помоему, это еще очень и очень долго...

Сегодня мы опять получили от Раи открытку, где она писала нам, что получила от Лизы то письмо, которое та послала ей в день своего приезда в Москву. Рая также обращалась и ко мне, говоря, чтобы я писал ей и не забывал о существовании ленинградских родственников. Я сейчас же решил написать ей письмо в праздники.

Сделав все уроки, я разложил листы красной бумаги на письменном столе и уже при помощи белил сделал первый плакат с характеристикой работ Александра Вольта<sup>58</sup>. Кончил я эту стряпню около десяти часов вечера, оставшись довольный тем, что я уже смог в первом же плакате раскрыть все трудности этого дела: ведь до сегодняшнего дня я еще ни разу не занимался подобным видом искусства...

2-го ноября. Сегодня зима снова охватила Москву! Ударили морозы, пошел густой, пушистый снег, и гололедица завладела улицами города! Идя сегодня к М.Н., я всеми силами старался держаться на ногах; это мне удавалось, но с огромным трудом. Лед покрыл буквально все! Я был счастливецом, когда добился того, что, не сверзившись на землю, я весь путь провел на ногах, но... как назло, очутившись уже у парадной двери и занесши ногу над ступенькой, я так крепко тряхнулся об тротуар, что один этот промах вознаграждал меня за весь проделанный мною путь! Я встал, упомянул черта и, как побитая собака, вошел в дом... Бывает же, когда не везет человеку!..

3-го ноября. Придя вечером от М. Н., я заглянул в газету, прочел о политике и решил узнать программу передач на ближайшие дни. О радость! 5-го передают «Аиду»! Прекрасно! В этот раз я уж свершу то, о чем мечтаю! Я сделаю подробный план всей оперы, чтобы иметь его потом всегда под рукой.

---

<sup>58</sup> Вольт А. (1745–1827) — итальянский физик, внес вклад в изучение электрических и магнитных явлений.

Лег я вчера в 2-а часа ночи, ибо решил «в доску», как говорят, провозиться с плакатами. Благодаря этому мне сегодня осталось только написать один плакат — о Попове<sup>59</sup>, что я и сделал.

4-го ноября. Сегодня на одной из перемен меня изловил Изя, предложивший мне оказать кое-какую помощь школьной редакции при выпуске праздничной газеты. Ну, что ж! Жалко, что ли! Я согласился! Он сказал, чтобы завтра я остался в школе после уроков и отправился бы в комсомольскую комнату.

— Только гляди, мошенник, — сказал я, — если мне предложат целую газету сделать, я стану тверже камня. Надуть себя я не дам!

5-го ноября. Забыл сказать, что вчера на географии Верблюд раздавал задания на II-ю четверть, связанные с выделкой карт каких-нибудь стран. Мишка и я вызвались сотворить карту Англии. Чтобы показать, что мы не меньшие мошенники, чем другие ребята! Нужно же все-таки утереть нос нашему географу.

Сегодня же я остался после уроков в физическом кабинете и с некоторыми членами нашего класса, как Штейнман, Сердюк и Сучкова, развесил плакаты, которые я принес в школу, по стенам кабинета.

Затем меня утащили в комсомольскую комнату — маленькую такую, но уютную конуру.

Там меня встретил Азаров — энергичный парень из 10-го класса, Мархлевский из 9 «Б» — светловолосый немец с горбатым носом и Тоня — ученица того же 10-го класса — вертлявая, веселая девчонка. Там они развернули передо мною ... чистый лист бумаги! Делай, дескать! Ну, я, конечно, сказал, что, дескать, я не дурак и тратить время на газету теперь не стану. Моя взяла верх, и мы решили перенести малярничество на завтра.

В восемь часов вечера я был уже у Мишки и начинал слушать «Аиду». План я сделал весь. Сидя со своей маленькой карманной книжкой у приемника с карандашом в руке, я тут же, непосредственно за оркестром и певцами, записывал план одного действия за другим. То, что можно было писать словами, я писал словами, а мотивы, которые нужно было изображать как-то иначе, я записывал графически, в виде кривых линий. Теперь у меня будет всегда со мною вся «Аида»!

---

<sup>59</sup> Попов А. С. (1859–1906) — отечественный естествоиспытатель, один из изобретателей радио.

6-го ноября. Сегодня был у нас веселый денек! Все время я проторчал в школе, размалевывая вместе со своими «однокорытниками» газету. Время было веселое! Явились известные читателю некоторые члены 10-го класса, вроде таких активистов, как Азаров, Иванова, Сучкова и пр. существа! Те стали вырезать буквы и звезду, а я со скрежетом в зубах, сотворяя проклятую газету... Вскоре пришел Мишка, которого я не отпускал до самого вечера. Школьный вечер был не бедный: кто-то пел, кто-то кричал, кто-то хлопал... Школа отпустила лишь к часу ночи! Денек был незабываемый! Веселый денек!

7-го ноября. Хотя сегодня были и праздники, но я решил устроить сегодня творческий день. Лиза все время выходила на улицу послушать оркестр, посмотреть на знамена, кошка наша, как бешеная, носилась по кухне, а я решил немного продвинуться в области начатого рисунка вида нашей церкви из окна кухни. Я раскрасил амбулаторию и решил на этом остановиться, занявшись географией. Так как у меня нет своего учебника, то мне пришлось взять его у Мишки для составления конспектов. Я нагнал за один день курс по географии, составив конспект по Бельгии, Голландии, Франции, Англии и Германии. Теперь я мог смело ждать контрольной по географии.

Вечер, как всегда в праздники, я провел у Виолы, барабани там с ней на пианино и рывшись в энциклопедиях. Вволю наболтавшись с тамошними жителями, я отчалил домой.

8-го ноября. А сегодня вообще ничего не было! Днем явился Мишка, и мы начали составлять карту Англии, что нам задал Верблюду. Собственно, делал ее-то я, а Мишка только хлопал глазами, да бездельничал; но уж ладно! Я прощаю ему этот промах.

Хотя вечером пошел дождь пополам со снегом, я все же отозвался на приглашение и съездил к Гофманам, где меня радушно приняли. Я, конечно, снова углубился в разные книги о художниках и опять просмотрел альбом с видами бывшего Петербурга.

Поздно вечером выпал глубокий снег, и я еле-еле вырвался от сострадабельческих хозяев, которые, видя, что я без пальто, хотели облачить меня в шерстяную хламиду. Но я отстоял свою свободу и через полчаса был уже дома.

9-го ноября. Ввиду того, что сегодня был свободный денек, Женька снова прикатил ко мне, чтобы поболтать о блаженных днях в Ленинграде. Мы решили, что до Ленинграда нам, очевидно, не удастся исполнить наше общее желание — сходить вместе на «Аиду», и поэтому там, по всей вероятности, нам, может быть, посчастливится пойти на нее в Ленинграде. Я показал ему свой план «Аиды» и подробно объяснил ему свою старую мечту о том, что, когда я поеду в поезде, то в своем сознании проведу всю оперу от начала до конца. Я просто мечтаю об этом! Короче говоря, я лишний раз прослушаю «Аиду», ибо при грохоте идущего поезда мне в сознании легче подражать звукам оркестра и певцов.

— И так и знай! — сказал я. — В каких бы мы условиях ни ехали (будем ли мы стоять в бесплацкартном вагоне, или сидеть, или лежать), «Аида» все равно пройдет у меня до конца. Вот интересная штука! Красота прямо! Не так ли, голубчик!

10-го ноября. Сегодня я встал рано! Было еще часов шесть. Мама и Лиза спали, и кошка тоже дремала за батареей в ванной. Я уселся за письменный стол, зажег настольную лампу и, достав лист бумаги, начал царапать ответ на все Раины письма.

11-го ноября. Сегодня я не встал рано и поэтому не смог окончить письмо, но я не унывал. Тем более, что сегодня была у нас контрольная по географии, и я нарочно напрягал всю свою память, чтобы добиться приличной отметки и доказать, что я тоже мальчишка не промах!

13-го ноября. Сегодня я окончил и отослал письмо, в котором обращался к Рае и к Моне. В нем я написал о Лизе, о своей жизни и о том, что я думаю привезти к ним свои записи о церквушке, чтобы ознакомить их с этими интереснейшими часами в моей жизни. Конечно, я разъяснил предварительно, что это за записи и что это вообще за церквушка. Это я, конечно, объяснил только для Раи, так как Мونها с этим уже знаком, ибо я ему еще летом рассказал вкратце о наших похождениях. Об этом, я думаю, читатель помнит!

17-го ноября. Сегодня я увидел то, что надеялся увидеть полгода тому назад! Сразу стало видно, что за нашу церквушку взялись как следует, чтобы превратить ее в настоящий музей. Я с удивлением заметил утром, что вся верхняя часть церкви, в том числе и купол,

были окрашены в белый свежий цвет. Это сразу мне подсказало, что нам в церковь тем более уже не попасть, так как теперь это уже не заброшенная церквушка, а готовящийся государственный музей<sup>60</sup>. Все-таки жаль... А я так бы желал еще хотя бы раз поблуждать по ее подземельям!!! Интересные были часы, проведенные нами в них!

21-го ноября. Сегодня Верблюд нам раздал контрольные, и я, слава Юпитеру, получил две «отличные». Наверное, Георгий Владимирович и сам был удивлен, ибо я у него еще такие успехи не продельвал.

— Ты что, в свою старую колею снова вошел? — спросила меня сидящая сзади Цветкова.

— Наверное, — ответил я, весьма пораженный такому результату при преподавании нашего Верблюда. Теперь я «отличную» отметку с рук не спущу! Это я прямо говорю! Мне уже надоела вся эта вольнка с «посредственными» отметками по географии!

24-го ноября. Еще несколько дней назад пришло известие, что к нам собирается приехать Монька, так как Сема, будучи в больнице, не может его содержать. Читатель, я думаю, помнит Моньку по моим прошлогодним летним записям. Это отвратительный молосос, которого я не перевариваю за его злобную хитрость, задирность и лебезивость перед взрослыми. Люся, правда, писал, что теперь Монька изменился и стал серьезнее, но я сегодня этого еще не смог приметить. Мама ездила его встречать и привезла его, облаченного в мятую кепку и поношенное пальтишко. Я встретил его приветливо, так как придерживался своего обычного закона ждать, когда противник нападет первым, чтобы вина была на его стороне, а затем дать ему достойный отпор!

24-го ноября. Монька ужился у нас и вел себя прилично: он бездельничал, не упорствовал, не выкидывал дурацкие штуки, мирно жил с Лизой и возился с кошкой, так что ничего особенного еще не было.

Вечером мы неожиданно получили телеграмму из Николаева о том, что на днях приезжает к нам повидаться дядя Марк! Ну, наконец-то!!!

---

<sup>60</sup> Лева ошибается: церковь служила общежитием для обслуживающего персонала из Дома правительства. Только в 1958 г. в ней разместился НИИ музееведения.

29-го ноября. Сегодня к нам приехал дядя Марк! Его поехали встречать мама, Буба, Лиза и Геня! Я с нетерпением ждал результатов их поездки на вокзал. Часов в девять позвонил с вокзала Геня, от которого я узнал, что дядю они еще не встретили... Это меня озадачило!

Вдруг в полночь весело заверещал дверной звонок, и в квартиру вкатили все до единого вместе с приехавшим николаевским родственником.

Дядя Марк сильно постарел, его волосы и пышные, но небольшие усы поседели, но он все-таки еще выглядел неплохо. Все уселись вокруг стола в столовой и, конечно, на первых порах переговорили обо всем том, о чем может говорить подобное общество в подобных условиях, т.е., когда кто-нибудь из собеседников откуда-нибудь издалека приезжает... Я как человек, не поддерживающий сплетников, умолчу о темах их беседы.

Когда Геня и Люба ушли, мы все стали готовиться ко сну, уговорившись, что дядя будет спать в кровати, Лиза — на диване и т.д. Моськи у нас не было, так как он ночевал у Бубы, да мы были и рады этому, ибо с ним вместе наша квартира была бы похожа на полную доверху горницу!

30-го ноября. Забыл сказать, что вчера от дяди Марка мы узнали, что примерно 3-ьего декабря приедет в Москву из Киева дядя Исаак! Вообще у нас теперь все родственники почти собрались! Веселое время!

Утром сегодня была истинная зимняя погода; снег был крепкий, как камень; можно думать, что он уже не пропадет и останется до самой весны. Короче говоря, зима началась!

Когда я пришел из школы, все были дома: дядя Марк лежал на диване, а мама и Лиза что-то творили на кухне. Моська тоже приволокся от Бубы и фамильярно рылся в книгах, перепутав их все до единой.

Сегодня у нас были монтеры, которые починили вторую линию радио, чему я был ужасно рад, ибо теперь я мог свободно слушать «Аиду» и дома, не тревожа из-за этого Стихиуса.

У М. Н. я сегодня прекрасно провел время! Я рассказал ему и М. Ив., что собрался срисовывать из нашей школы виды на Кремль, и в подтверждение этого я набросал у себя в книжице вид из окна химической комнаты. М. Н. внимательно просмотрел его и сказал,

что вид действительно интересен. В финале нашего разговора я предупредил М. Н., что, к несчастью, я не скоро осуществлю свою мечту, так как школа и уроки препятствуют этому...

1-го декабря. Эх, красота! Сегодня воскресенье! Бывают же свободные дни у людей. А то все школа да школа!

Сегодня вечером я с Монею ходил к Бубе. Ничего бы особенно не произошло, если бы Гага не предложила б мне составить для развлечения нашу любимую игру «Путешествие на Луну». Она достала бумагу, цветные карандаши, и я до того увлекся игрой, что она превратилась в целую панораму правильно окрашенных планет. Нет слов, чтобы описать чувство, с каким я сидел над этим листком бумаги! Не имея времени и возможности рисовать большие рисунки, я, воспользовавшись случаем, решил как можно художественнее, богаче и более картинно отделать игру. Хоть в оформлении астрономической игры мне бы вспомнить свои мечты о создании астрономического альбома, хоть в простой игре мне бы вспомнить о своих былых проказах в рисовании: такие трагические мысли наполняли мою голову. Вот до какого жалкого положения дожил я, что мне пришлось на какой-то игре применить свое прошлое умение немного водить карандашом по бумаге.

Видя, что я чересчур усердствую, Гага хотела меня остановить, но я сказал, что она тут ни при чем, и что, хотя игра создается для нее, я все таки разрисовываю планеты для себя, для своего удовольствия.

3-го декабря. Когда я сегодня пришел из школы, то неожиданно встретил у нас дома дядю Исаака. Оказывается, он приехал сегодня утром и теперь уходил куда-то по делу. Вечером он пришел, и мы все уговорились, кто и где будет проводить ночь. Мне все-таки досталось место на стульях, чего я и добивался.

4-го декабря. Сегодня утром Моська был у Бубы, и я попросил его захватить с собою ту самую игру «Путешествие на Луну», которую я желал еще окончить.

Вечер у нас сегодня был веселый! К нам пришел Геня с Бертой и с Софой, чтобы повидаться еще раз с дядей Марком и Исааком! Софка что-то пицчала, не отходила от меня ни на шаг, прыгала по полу и под конец что-то нарисовала на бумаге, наподобие домика с гигантскими ромашками, венчики которых были на вышине двух-

трех этажей. Это произведение искусства я спрятал себе в ящик, когда наши гости уже отправились домой.

5-го декабря. Ввиду того, что сегодня был день Конституции и божьи силы освободили меня от школы, я решил встретиться с Женькой Гуровым. Он привел с собой своего товарища, некоего Леву. Мама вытащила мое пальто, и я с проклятием натянул эту тюрьму на себя.

— Первый раз в эту зиму пальто одеваю! Ей богу! — сказал я Женьке. — Черт меня возьми, если я не чувствую в карманах целые глыбы нафталина! — И я выпотрошил данное вещество из карманов.

— И охота вам, мошенники, таскать на своих телесах такую хламиду, как пальто? — спросил я, в порыве веселости хлопнув Евгения по плечу. — А ну, сдергивай его сейчас же! То ли дело я! Декабрь, а я в майке в школу хожу! Эх, вы, подлецы! Нужно быть закаленными против холодов, а то, что это такое — парни не промах, а они, знай, кутаются!

Кое-как оправившись в своем необычном наряде, я сказал своим друзьям:

— Хотите верьте, хотите — нет, но сегодня я клянусь вам сатаной, дьяволом и одной третью черта, что завтра я уже эту тюрьму носить перестану! Ради вас я одеваю его, чтобы на нас на улице олухи не глазели! Умные-то ведь, понятно, не будут раскрывать на нас глаза!

Покрутивши часа полтора по городу, мы разошлись по домам.

7-го декабря. Сегодня в школе ко мне неожиданно подошла Маргаритка и изъявила желание получить мой доклад по Италии. Зная, что она большая мошенница, я отказался и пожелал узнать причину. Я заранее знал, что с ответом она не поспешит, и на этот раз я не ошибся. «Век живи — век учись» — ведь это уже не впервой.

Вообще на этой неделе нам давали такую уйму уроков, что мы, несчастные труженики, не имели и продохнуть. Понятно, что я отправился к М.Н. с недоученным уроком, о чем я его и предупредил. Услыхав, как я «ползаю» по клавиатуре, он сделал обиженное лицо и проговорил:

— Бегемот ты этакий!

Я действительно был бегемотом!



...Вернувшись домой, я застал дома дядю Марка, ужинавшего за столиком; Лизу, священнодействующую у плиты, и Моньку, который готовился мыться. К нашему несчастью. Монька сегодня что-то взбунтовался. Бултыхаясь в ванне, он налил на пол целое море воды, орал песни, хотя мы с Лизой то и дело говорили, что у дяди болела голова, и, наконец, он отказался ложиться спать, хотя уже было десять часов. Он злобно заявил нам, что «принципially» не будет сегодня спать до двух часов, и, если мы его засунем под одеяло, то все равно назло нам не закроет глаз. Он стал натягивать на себя одежду, и, оставив после себя в ванной разбросанные полотенца, начал прохаживаться по комнате, насвистывая какую-то песенку. Мне надоела вся эта волянка, и я энергично воздействовал на него, после чего, бормоча проклятия по моему адресу, он залез под одеяло и начал насвистывать какую-то дребедень. Чего это он вздурил, я не понимаю; по крайней мере, вся вина этой катавасии пала на него полностью.

8-го декабря. Сегодня — благодать: выходной день! Я позвонил Женьке, чтобы узнать, говорил ли он о билетах со своею знакомой.

— Да ведь еще же рано! — ответил он.

— Экой же ты, черт! — сказал я. — Да ведь разве ты не понимаешь ценности раннего предупреждения? (Так! Изд.) Ведь тогда у нас больше шансов будет на то, что мы получим билеты! А будет разве хорошо, если ты перед самыми каникулами ошарашивешь ее этим?

— Хотя верно! Нужно будет сказать об этом маме, чтобы она переговорила с ней. А знаешь, еще в чем загвоздка?

— А в чем? — спросил я.

— Я ведь еще не знаю, осталась ли она работать на этом вокзале!

— Ну, а мы унывать не станем, — сказал я. — Наверное, «шарлатан Юпитер», как некогда сказал Спартак, поможет нам! — Женька сказал, что, наверное, к следующему воскресенью все уже будет известно и что он известит меня об этом.

— Мне это все не важно, — ответил я, — мне важно, чтобы мы в каникулы оба были в Ленинграде!

Под вечер пришел Исаак. Он сегодня уезжал обратно в Киев, и поэтому весь вечер мы укладывали его багаж.

— Ну, как у тебя дела? — спросил он меня, когда надевал чистый дорожный пиджак.

— Да так. Ничего, — ответил я.

— Когда окончишь школу, куда думаешь попасть? Что тебя вообще влечет?

— Больше всего меня влекут к себе биология и геология — природоведческие науки; природа, короче говоря.

— Да, природа — это самое интересное! — согласился мой дядя. — Тут я с тобой согласен. Если бы мне не удалось встретиться с газетой нашей, я обязательно бы избрал себе какую-нибудь отрасль биологии! Зоология, ботаника — это самое интересное из того, что я знаю. В природе нет каких-нибудь злых хитростей, там все просто — умей только правильно разглядывать и открывать ее законы!

Эти слова Исаака мне очень понравились. Когда он уже собрался на вокзал, я спросил его о его билете. Он ответил мне, что рано утром отправился на вокзал и сделал заявку на билет, за что заплатил рубль. Через некоторое время он получил этот билет и теперь спокоен за свою судьбу.

— Если я в Ленинград достану так же легко билет, как ты достал в Киев, то это будет прекрасно; но к несчастью, я мало верю в это!

Горячо попрощавшись со своим братом, дядей Марком, он уехал на вокзал в сопровождении мамы, Бубы и Лизы.

Дядя Марк был очень огорчен и удручен отъездом Исаака, и мне было дано поручение поехать с ним к Гене, куда после вокзала приедут мама и Лиза. Мы собрались и тронулись в путь.

На улице было ветрено. Земля была покрыта островами замерзшего снега, и небо было чистым, хотя и без звезд.

Еле-еле дождавшись 26-го, мы вдоволь потолкались в вагоне, покрутили по темным, кривым переулкам и очутились перед нужным нам домом. Пройдя множество дверей и лестниц, мы, наконец, очутились у Гени.

Дома были все: и Геня, и Берта, и Софа, которая особенно была нам рада. Софка утащила меня во вторую комнату и стала показывать мне свои книжки.

Когда пришли мама и Лиза, разговор зашел о Ленинграде. Геня сказал, что туда очень трудно достать билет, что народ днями стоит в очередях и что никаких заявок, кажется, на билеты в Ленинград не принимается.

— Боюсь, что ты проклянешь эту поездку,— сказал он мне.— Засядешь ты в этом Ленинграде и не увидать тебе Москвы.

— Ну, нет, этого, наверное, не будет,— сказала мама.— Моня нам еще летом говорил, что, пусть он к нам только приедет, а уж билет мы ему достанем.

Когда я уже был дома, я почему-то вспомнил то, что было со мной ровно год назад — 8 декабря 1939 года.

Мне представились Олег, Мишка и я сам, которые из-за любопытства копались в церковных подвалах... Да и что об этом вспоминать?! Ведь нам уже там не быть!

13-го декабря. Сегодня я узнал, что Буба достала билет для дяди Марка на сегодняшний вечерний поезд и что он сегодня выезжает через Харьков в Николаев. Мне было не очень-то легко прощаться с ним... Я также поехал на вокзал, в одном из модных вокзальных залов мы простились, и я вернулся домой. Ибо дома меня ждали уроки... Я задавал себе вопрос, увижу ли я когда-нибудь своего дядю или нет?.. Мне теперь все в нем было дорого...

14-го декабря. Сегодня Маргаритка вырвала у меня нужный ей мой доклад «Италия». Я это позволил лишь из-за того, что она открыла мне причину, зачем он ей стал нужен. Он ей понадобился для какой-то статьи о музыке или об астрономии... да это и не важно! Главное то, что здесь не было ничего преступного!

Дома я застал Бубу, которая как раз в это время уже уходила домой.

— Ты не забыл, Леван, что у нас будет завтра? — спросила она, намекая на день рождения Галы. — Гляди, не забудь, что завтра 15-ое декабря!

— Помню, помню, — ответил я. — Я также прекрасно помню и знаю то, что сегодня 14-ое декабря!

К М. Н. я сегодня не пошел, о чем я его известил заранее, ибо я сегодня шел с классом на экскурсию в музей Дарвина. Я зашел за Мишкой, и мы направились в школу, где встретили почти всех членов нашего класса. Дотянувшись пешком до трамвая, мы вползли в сороковой номер и, вылезши на нужной станции, всей гурьбой двинулись по какому-то захолустному переулку. Вечер был морозный, холодный, но, к счастью, не ветреный, так что нам эта прогулка принесла только пользу. Крутили мы долго, пока не натолкнулись впотьмах на заветное здание.

... И вот перед нами замелькали залы, лестницы, покрытые вековой пылью статуи чудовищ, зеркальные шкафы с чудесами природы и прочие прелести музея, вплоть до профессора, который прочитал нам в одном из залов обширную и увлекательную лекцию об эволюции. Это был солидный старичок, с длинными серыми волосами и с некрасовской узкой бородой. Шутник он был большой, так что речь его была переполнена веселыми и истинно остроумными выражениями, благодаря чему мы частенько растягивали рты до ушей.

На обратном пути мне удалось встретиться с Анной Васильевной, которая также возвращалась из музея. Будучи с ней в трамвае, я на ее вопрос о лекции профессора сказал, что я остался доволен. Ударившись в раж, я рассказал ей еще о музее ленинградской Академии наук, в котором я бывал не раз, когда проживал в Ленинграде. Анна Васильевна также не осталась в долгу, и я услышал от нее целую историю о том, как этот шутник-профессор создал этот дарвиновский музей. Таким образом, я узнал, что этот старичок был чрезвычайно энергичный смертный.

15-го декабря. Сегодня вечером я отправился к Гаге. Много народу у нее не было, но зато я встретился там с Сережей. Я показал ему свой план «Аиды», мы с ним поболтали о музыке, а затем он меня попросил нарисовать ему что-нибудь.

— Я знаю, тебе удастся исторический жанр... особенно восточный,— вот ты мне бы и начиркал какую-нибудь мечеть или храм.— И он набросал у меня в книжечке примерный набросок какой-то мечети, который и сейчас еще красуется в моей книжице.

— Только раньше лета не жди! — предупредил я его.

Под самый конец, когда уже многие разошлись, у мамы, Бубы и Кости зашел разговор о моей поездке в Ленинград. Они то и дело звали меня к себе из другой комнаты, где я играл во что-то с Гагой и Меньшой, чтобы попилить меня за то, что я не хотел и не хочу ехать туда разодетым, как барин. Другое дело быть опрятным! А опрятность и простоту костюма я больше ценю, чем разные глаженные галстуки, пиджаки и т.д. Пусть на мне будет простая рубашонка, но, если она будет опрятной, мне ничего и не нужно больше. Я, как дурак, слушал наставления взрослых, излагающих мне свои предложения насчет одежды, но я и признавать не хотел их всякие пиджаки, да какие-то там части хламиды...

— Мое решение твердо! — сказал я потом Гаге и Моньке, которые были на моей стороне. — Я хозяин своего слова. Все-таки я возьму верх!

16-го декабря. Сегодня на уроке Георгий Владимирович напомнил нам о картах, которые класс брался сделать еще с конца I-ой четверти. Он так нам и сказал: буду, дескать, ставить «плохо», кто не выполнит своего задания. Говорят, что нужда — лучший учитель в мире! Так оно и случилось! Нежелание заработать плохую отметку влило в Мишку и меня столько энергии и желания, что мы за один только сегодняшней вечер сделали всю карту Англии, за исключением некоторых значков, обозначающих промышленность в городах. Короче говоря, работой своей мы остались довольны и думаем, что получим за нее, по крайней мере, неплохую отметку.

18-го декабря. Сегодня ввиду того, что, вопреки обычному, я не пошел к Виоле, так как она перенесла празднование своего дня рождения на субботу, я отправился к Стихиусу, и мы окончили карту Англии. Сработали мы ее лихо, так что теперь нам остается узнать, что скажет завтра нам на это наш дорогой Верблюдашка!

19-го декабря. А сказал наш Верблюд следующее:

— Вообще карта очень хорошая! Только вы еще добавьте обозначения сельскохозяйственных р-онов (так! Изд.) и различных культур — тогда будет все хорошо!

Мы не заставили его долго ждать и сегодня же вечером уничтожили свои грехи.

20-го декабря. Сегодня после уроков меня поймал десятиклассник Азаров, который притащил мою душу под взоры уже известной читателю редакции, состоящей из его сотоварищей по классу: Борьки Кравцова, энергичного плотного парня с широким ртом и с каким-то певучим голосом; затем Лены Тооц и Сучковой. Оказывается, меня кто-то там выбрал в редакцию, и мне пришлось вместе с вышеназванными существами обдумывать, какими нужно сотворить новогодние газеты. Мы уселись у окна в голубом зале и заслушали импровизацию Борьки, который воодушевленно и, жестикулируя, объяснил нам, что газеты будут под названием «Ха-ха-хи!», в которых он думает обдурочить честной народ, обещая ребятам в

крупном шрифте: и «великолепный концерт», который будет идти некогда в консерватории; и «роскошный фейерверк», которого не будет, ибо потом авторы газеты отказались от подобной мысли; и джаз-оркестр, который, к сожалению, не будет приглашен на новогодний бал, и множество другой всякой всячины.

Мы со всей этой волынкой согласились и решили уже завтра приступить к делу, держа всю эту кутерьму в полной тайне.

Вечером я съездил к Генриетте, чтобы она объяснила мне кое-что по немецкому, что она и сделала с удовольствием. Виола все время мне напоминала, чтобы я не забыл завтра прийти к ней на день рождения; я уверял ее, что не забуду, но она не успокоилась до тех пор, пока ее не послали спать!

21-го декабря. Сегодняшний день был для меня одним из самых тяжелых и страшных, которые я только переживал на своем пути... К несчастью, то, что привело меня в неопишимо тревожное состояние, еще не окончилось...

У меня даже нет особенного желания и расписывать об этом много... Дело началось с урока литературы. Давид Яковлевич выбрал меня, чтобы я читал в классе роль Кулигина в «Грозе» Островского. Я напрямик отказался, тем более, что с роли Кулигина и начинается пьеса. Для меня это было непреодолимой работой, ибо, когда я выступаю перед многими людьми, у меня отнимается язык. Я теряюсь и не могу выдать из себя ни одного слова... это было хуже пытки!

Учитель сказал, что, если через 2 минуты я не начну читать, он уйдет из класса... Я чувствовал приближающуюся грозу, хотел было начать, но я не имел силы воли открыть рот!.. Что я мог сделать с этой слабостью! Давид Яковлевич покинул класс... Я был полностью уничтожен!.. Потом я узнал, что он отказывается от нашего класса... Я знал, что Давид Яковлевич потому так упорно и добивался моего выступления, так как думал, что я из-за гордости упрямец... А зачем мне это? К чему мне эта гордость!?! Я был самым несчастным человеком... Из-за меня класс лишился лучшего преподавателя. Класс был взбудоражен, и одни встали на сторону Д. Як., а другие — против. Но я знал, что никакого преступления в моем отказе нет, что я просто не мог побороть свою моральную слабость, что я не упорствовал из-за какого-то дурацкого принципа, который мне совершенно не был нужен. Что же тут преступного, если я не могу выступать перед многими, что я теряюсь, что меня смущает

и сковывает мысль о том, что множество людей — все таращат на меня свои зрачки... Я был до того уничтожен, что даже и не старался брать себя в руки, чтобы успокоиться...

Когда я пришел домой, я не находил себе места, хотя в кругу домашних я чудовищными усилиями старался скрывать свое состояние. Позвонившая мне Исаева предложила мне как можно скорее найти и объяснить все Давиду Яковлевичу. Я и без того хотел уже было все это сделать.

Встретив его в школе, я постарался объяснить ему причину моего молчания. Он серьезно отнесся к моим словам и убедительно просил меня понять, что он не мог оставить меня в стороне, что он уверен в хорошем моем исполнении роли и что он не мог махнуть на меня рукой и просто-напросто передать роль другому...

Нас прервал звонок, и я вернулся домой. Я ругал и проклинал себя на чем свет стоит, я был несчастен, как никогда...

Тут я вспомнил, что мне нужно было идти опять в школу для участия в создании новогодней газеты, но я был растерян, ибо мне нужно было отправляться к М. Н., а затем к Виоле... У меня трещала голова от всего этого... Я не знал, что мне делать!.. Я чувствовал себя таким разбитым и уставшим, что решил на все махнуть рукой и поступать благоразумно: сначала я позвонил М. Н. и попросил его принять меня не сегодня, а завтра, в воскресенье, на что он и дал согласие. Затем я отправился в школу. Но скоро вернулся, ибо 10-й класс был на собрании, и редакция не могла состояться... Я встретил на улице Мишку, который мне сказал, что Д. Як. не придет в наш класс, пока я не начну читать. Он слышал, как тот об этом говорил!..

— Вся школа уже об этом знает! — сказал Стихиус весело. — О тебе, братец, говорит вся Европа! Гордись!!! В школе только и разговоров об этом...

Я уныло слушал эти слова... «Гордись!»... А зачем, к чему мне это все?..

Вечер у меня уже был отравлен. Я еле-еле заставил себя пойти к Виоле, и только там, в обществе крикливой детворы, у меня в сознании немного сгладились воспоминания о сегодняшнем казусе.

22-го декабря. Сегодня я еле-еле позанимался по музыке и отправился к М. Н. Я героически брал себя в руки, только чтобы никто из посторонних не узнал о моем положении.

Веселье, влитое в меня Модестом Николаевичем, успокоило меня, но я все же знал, что как-никак, а я большой дурак, что отравляю себе существование воспоминаниями о вчерашнем. Вечером мне опять позвонила Исаева! Она сочувствовала мне и попросила, чтобы я завтра же как-нибудь сговорился с Давидом Як., ибо нашему классу директор уже подыскивает другого преподавателя!.. Черт меня возьми, если я не удержу нашего литератора в нашем классе! Он останется у нас!

23-го декабря. Сегодня я себя чувствовал на уроках, как не в своей тарелке... Николай Иванович спросил меня по геометрии, но я стоял у доски, как дурак, и ни на что не мог ответить. Я чувствовал такую душевную и физическую слабость, что считал себя счастливейшим человеком, когда я получил «плохо», но зато сел на место! Потом я осознал ужас и чудовищность этой отметки, которую я заработал перед самым Ленинградом, перед концом четверти, и я решил во что бы то ни стало исправить ее.

После уроков я договорился с Давидом Яковлевичем, что ввиду его надежды на мое удачное исполнение роли я постараюсь оправдать его надежду и попробую прочесть. Он сказал, чтобы об этом узнал весь класс, и тогда он придет на урок!

Я, наконец, успокоился!..

24-го декабря. Утром мама мне поручила спросить у Василия Тихоновича о том, когда начнутся каникулы, чтобы знать, на какое число стремиться достать билет в Ленинград. Я забыл сказать, что Женька, очевидно, поедет после Нового года, и, так как мне это не улыбается, мы с ним уговорились встретиться уже в Ленинграде.

Но у Василия Тихоновича я так и не спросил, ибо это я узнал от Тарановой после уроков. Она мне сказала, что слышала вчера по радио, будто 31-го мы учиться не будем за счет воскресенья 29-го, который станет учебным днем.

— Ты это наверняка знаешь? — спросил я ее.

— Да, я вчера это слыхала.

Я дружески хлопнул ее по плечу и весело сказал:

— Да ты в меня жизнь вливаешь! Молодец! Хвалю тебя за то, что ты меня успокоила приятным известием.

Сегодня вечером я от мамы узнал, что Буба через свое учреждение уже заказала на 30-ое число билет!..



Я был ошеломлен этим до крайности, хотя внешне постарался не показывать своей радости. Одна мысль о близости Ленинграда приводила меня в радостный трепет...

25-го декабря. Придя сегодня в школу, я первым делом постарался устроить так, чтобы Давид Яковлевич во что бы то ни стало явился к нам на урок. Кое-кто из класса сходил к нему и сказал, что класс будет его ждать. Давид Яковлевич пришел, как ни в чем не бывало. Все сгруппировались у доски, и я, поборов самого себя, приступил к чтению. Потом я освоился, и все пошло благополучно! По крайней мере, я остался рад, что все так мирно кончилось.

Сегодня под вечер, когда уже стемнело, Монька, окончив уроки, умчался на улицу, и я остался один. Мама была на работе, Лиза куда-то уплыла, и только кошка кричала в кухне на полу. Чего она кричала? — понятия не имею! Я лег на диван, потушив в комнате свет, и, закрыв глаза, решил провести у себя в сознании III-ье действии «Аиды», чтобы прорепетировать его к долгожданному моменту, когда у меня зазвучат в поезде «аидовские» мелодии. Сцены за сценой протекали у меня в сознании, и внешне даже не было видно, что сейчас у меня происходят сцены у Нила, где Амонасро в бешенстве проклинает свою дочь, где невольно изменяет отчизне Радомес и т.п. душераздирающие моменты, ибо я лежал спокойно на диване, как будто дремля.

К сожалению, я сегодня сделал ужасную оплошность, которую я осознал лишь после прихода мамы с работы. Мне, олуху, следовало бы узнать у Бубы, как насчет билета, так как то лицо, которое достает билеты, могло и не согласиться по каким-либо причинам на эту миссию... Да, а вдруг это так?! Это будет чудовищным тогда для меня ударом! Но мне было бы желательно, чтобы я лучше хвалил фортуна, чем проклинал! Это лучше и ей, и мне!

26-ое декабря. Сегодня на контрольной по геометрии я исправил свою плохую отметку, решив все три примера, которые нам были заданы. Окончив писать, я раньше звонка отдал работу и вышел в зал. Тут меня сцапал Борька Кравцов, и мы пошли в комсомольскую комнату, где уже были Тооц и Сучкова. Передо мною снова разложили пустой лист, но я отказался от него, и заголовок пришлось начать Тооц.

— Вы опять начинаете мошенничать?! — сказал я. — Меня пригласили вам помочь, а не делать целую газету!

Нарисовав карандашами две улыбающиеся рожи по бокам заглавия, я ушел домой, так как мне больше ничего не оставалось делать!

Дома я нашел записку от мамы, где она писала мне, что Буба заказала билет, и что на 30-ое число он будет получен.

Я свободно вздохнул и почувствовал облегчение. Словно я сбросил с плеч целую гору!

27-го декабря. Сегодня мы снова собрались после уроков в комсомольской комнатухе, и, пока я делал заглавие II -го номера газеты, Сучкова написала красками текст I-ого. Возились мы часов до пяти. Азаров что-то священнодействовал у стола, а Борька бездельничал и воодушевлял нас стихами.

— Мы здесь такую волюнку накрутили, — сказал я, рассматривая I-ую газету, — что с таким же успехом могли бы обещать ребятам организованного нами полета на Марс к новому году!

— Вот-вот! Именно! — согласился Азаров. — Ты прав! Мы именно «накрутили»!

— А чем плохая мысль? — сказал Борька. — Если б осталось место, мы бы могли и об этом написать...

— Только потом добавить, — продолжал я, — что ввиду отсутствия эстакады и гремучего пороха этот полет отменяется и ожидается в 1969 году в Америке!

— Можно было бы подурочить ребятешек!.. — гремел Азаров.

— Ладно! Бросьте трепаться! — сказал я. — Вы бездельничаете и нам, рабочему люду, мешаете!

— Действительно, — подтвердила Сучкова.

Около шести часов Борька скатал в трубу газеты, и мы покинули школу.

Вечером мне позвонил Женька.

— Ну, как у тебя с билетом дела? — спросил он.

Я рассказал ему, что надежды есть!

— А мне, — сказал он, — мама накануне через эту знакомую достанет. Ты когда едешь, 30-го?

— Думаю, что да, — ответил я.

— Ну, и я тем же! Ведь 31-го мы не учимся! Только жаль, что мы теперь врозь действуем! Так бы поболтали б с тобою в поезде! Хотя я и забыл! Ведь ты «Аиду» будешь слушать!

— Да! Вот счастливый момент будет! — в энтузиазме сказал я.

— Или нет! Почему же это мы не смогли бы разговаривать-то? — вдруг произнес Евгений. — Ведь у тебя «Аида» будет что-то часа 3-и, а потом ведь мы можем болтать сколько угодно!

— Ты прав! Только «Аида» будет длиться не 3 часа, а около 4-х. Если бы мы выехали вечерним восьмичасовым поездом, то около 9-и или 10-и часов опера бы началась и окончилась бы примерно в 2-а ночи. Главное то, что для меня это не будет никакой трудностью! Играть или петь и то труднее! Для этого нужно двигать руками или напрягать голосовые связки, а тут у тебя может быть все в покое — ты сидишь неподвижно, и раз ты хорошо знаешь вещь, то независимо от тебя у тебя в голове она сама по себе течет, и ты только слушаешь ее, и больше ничего. Вдобавок, под ритмичный грохот поезда легче всего в сознании у себя изображать звуки певцов и оркестра! К тому же мне никто не будет мешать представлять себе оперу зрительно, воображать перед собой сцену и героев, так что я, откровенно говоря, лишний раз услышу «Аиду» во всей ее красе и вдобавок услышу ее в том виде, в каком я ее понимаю, ибо, собственно говоря, в этот раз она будет идти как бы под моим руководством. Уж тут-то я исправлю все дефекты, внесенные нашими театрами, поставившими «Аиду» у нас в филиале!

— Да! Я тебя понимаю! — сказал Женька. — Тебе это будет очень интересно!

— И главное то, что я еще никогда не проводил за один раз всю «Аиду» полностью, и я нарочно это не делаю, чтобы усилить эффект всех 4-ех ее действий, когда они протекут передо мною одно за другим! Вот что интересно!

— А я бы что делал, несчастный? — спросил Женик. — Сидел и смотрел бы на тебя?

— Зачем? — удивился я. — Ты бы мог время от времени толкать меня в бок и спрашивать, какая сцена, дескать, сейчас происходит? И я бы говорил тебе, что сейчас такое-то действие, такая-то сцена. А то я мог бы еще вынимать свою книжечку с планом, которая всегда при мне, и указать для наглядности твоей в нем это место. И наконец, я бы тебя обрадовал известием о том, что опера окончилась и что Радомес с Аидой отдали свои души Изиде, находясь в подземелье храма этой богини!

28-го декабря. Итак, я оказался прав! По геометрии за контрольную я получил «отлично», а на сегодняшней контрольной по триго-

нометрии решил все примеры, что привело меня в полный восторг. Ввиду того, что сегодня Борьки Кравцова не было в школе, то редакция сегодня не состоялась, и я пошел после уроков домой. Мы слышали, что завтра все же будет воскресенье, так как 31-го будет учебный день. Понятно, что все мы были этим недовольны, ибо нам было желательнее, чтобы день перед новым годом у нас был свободен.

Часа в 4-е позвонил Женька. Он мне излил искреннее желание, чтобы мы поехали вместе. Да и я очень жалею, что мы едем не вместе!

— А так было бы все хорошо! — сказал я. — Мы рядом сядем на скамейке. В купе горит лампа, за окном темно, стучат колеса... Вот жизнь! Прямо не верится, что после школьного ада попадаешь прямо в рай! После моей «Аиды» мы бы всю ночь болтали о чем-нибудь! Я думаю, что мы бы в эту ночь и не думали бы спать!

— Что ты, братец! Конечно! — согласился Женька.

Затем я объяснил ему, где живет Рая, и он нашел этот дом у себя на плане Ленинграда. Потом я ему сказал, что я обязательно пойду с вокзала пешком, и, если будет еще ранний час, то зайду еще на площадь Урицкого<sup>61</sup>, полюбуюсь на Зимний, а потом лишь направлюсь к своей сестре, надеясь застать ее уже вставшей и начавшей свой трудовой день, так же, как и Моня, и Трубадур.

Мы еще кой о чем помечтали, и я отправился к М. Н. Придя к нему, я первым делом сказал, что билет заказан.

— Счастливый ты, честное слово! Я тебе завидую! — сказала Мария Ивановна.

— Ты, гляди, мерзавец, пиши нам! — шутил сказал М. Н.

Я даже подпрыгнул от радости!

— Ты смотри, как он обрадовался, что я его мерзавцем обозвал! — удивился мой учитель.

— А что же? Я заслуживаю этого! — ответил я.

— Ты бы нам прислал открытку с каким-нибудь видом, — попросила М. Ив.

— Это уж обязательно! — согласился я.

— Я тебя знаю! — сказал недоверчиво М. Н. — Гляди у меня! Не напишешь, наверное!

— Что вы! Упаси меня Юпитер от этого! — ужаснулся я.

---

<sup>61</sup> Так в 1918–1944 гг. называлась Дворцовая площадь Ленинграда. Была названа в память о М. Урицком (1873–1918) — деятеле Октябрьской революции 1917 г., впоследствии — председателе Петроградской ЧК, который был убит террористом в 1918 г.

Когда я отыграл урок, то перед уходом решил посмотреть на висевший на стене Исаакий!

— Наверное, на днях увижу его! Это уж не то будет, что здесь на бумаге, — произнес я.

— А у нас он многим нравится! — сказала М. Ив. — Кто у нас только не бывает, все смотря на него! А мы отвечаем, что это нам нарисовал наш ученик и друг!

— Но теперь я его не таким увижу. — проговорил я.

— А почему? — спросил М. Н.

— Да теперь он будет лиловым от морозного воздуха, будет под пеленой снега... Теперь зима! А на этом рисунке изображено лето!..

29-го декабря. Сегодня я встал рано, ибо решил составить конспекты по географии по тем странам, по которым в первые дни III-ей четверти будет контрольная. Я решил взять тетрадь с собою, чтобы за каникулы как следует вытвердить курс и получить не ниже «отлично».

Не успел я закончить конспект по Швеции, как ко мне ввалился Женька. Домашние и кошка только что встали, так что комната выглядела далеко не по-рабочему, но я, не смущаясь, повел своего гостя в нашу хижину и усадил у окна.

— Ну, как, голубчик, у тебя с билетом? — спросил я.

— Да вот сейчас уж деньги отнес. Налаживается, кажется.

— А я, может быть, завтра укачу, — сказал я, весьма уныло. — Жаль, что мы едем не вместе! И зачем это ты не хочешь пропустить один день учебы — 31 -го?

— Да уж теперь поздно!.. Ничего не поделаешь! — ответил Евгений.

— Я до того свыкся со всей этой вокзальной волынкой, — проговорил, — что теперь я просто не верю, что я поеду. Ведь сколько раз я собирался туда и сколько раз не доставал билета! Понятно, что теперь у меня в сознании не укладывается мысль об этой поездке. Как это только я смогу попасть в поезд, быть в другом городе! Это какое-то сновидение, а не реальность! Ну, я просто не верю!

— Да, тяжелая вещь! — сказал Женя. — А я теперь, когда хожу по улицам, все время воображаю себя в Ленинграде. Это до того впало мне в голову, что я стал даже грезить этим.

— Вообще, — проговорил я, — у меня такой существует закон: ни в коем случае никогда не говори заранее. Вот и сейчас! Меня

даже, если и спрашивают, еду ли я в Ленинград, я никогда не говорю: «еду», а отвечаю; «вероятно» или «может быть». Кто знает? Ведь может и билета и не быть! Я буду уверен в поездке лишь тогда, когда билет будет у меня в руке! Если билета не окажется, то тебе будет тяжелее пережить эту неприятность, если ты уже уверен был в поездке и мечтал о ней, чем тогда, когда ты еще не был в ней уверен полностью.

Когда Евгений уходил, он мне сказал:

— Ну! Я надеюсь, что следующая наша встреча произойдет уже не в Москве...

— ... А за 640 км от нее! — добавил я.

Днем я пошел с Монькой к Бубе, чтобы отнести ей кое-какие продукты. Уходя вечером домой, я спросил ее, не известно ли, как дело обстоит с билетом.

— Да уж известно все! — ответила она.

— Ну, что? — спросил я.

— Тот, кто пошел на вокзал, уже звонил мне и предлагал билет на сегодня 12-и часовой поезд, но я отказалась. А ты-то как, поехал бы сегодня? Я был несколько ошеломлен таким быстрым результатом, но тут же отрицательно покачал головой.

— Так вот! Он говорит, чтобы готовились к завтрашнему дню! Все сто процентов за то, что он достанет!

... И все-таки меня еще отделяет от Ленинграда бездонная пропасть! Будь у меня билет, я бы сказал, что меня отделяют от города Ленина лишь одни часы, но сейчас я этого еще не скажу.

Вечером мне звякнул Женя. Он дал мне свой адрес в Ленинграде, а потом произнес:

— Да будет тебе это не в обиду сказано, но я желаю, чтобы тебе достали билет на 31-ое, а не на 30-ое.

— Друг мой! — ответил я. — Я и сам бы желал этого, лишь бы нам покатить вместе! Но уже поздно!

— М-да... В это время завтра ты, может быть, будешь уже в поезде...

— Хотел бы я этого! — сказал я. И тут я снова, вспомнив о своей «Аиде», начал изливать ему свой восторг перед тем, что я в поезде услышу всю «Аиду»!

— Ведь это то же самое, — проговорил я, — что, если бы в вагоне заиграл расположившийся симфонический оркестр и запели бы певцы. Эффект одинаков!

— Но ты бы все же согласился, наверное, прослушать бы «Аиду» в исполнении артистов в вагоне, чем в исполнении своем собственном!

— Ты ошибаешься! Ведь «Аида» у меня будет не в моем исполнении! Ведь ни петь, ни играть я не буду! Это у меня в сознании будут звучать звуки оперы, врезавшиеся в мою голову после многих раз ее прослушивания.

— Я это понимаю, — согласился Женик, — но, а все-таки?

— Да меня чересчур прельщает мысль о проведении мною всей «Аиды» полностью, — ответил я. — Ведь я нарочно еще никогда не проводил ее всю, чтобы сочетать этот случай в моей грешной музыкальной жизни с таким замечательным моментом, как поездка в Ленинград.

— Ну, теперь мне все понятно, — сказал Евгений.

— Ну, а что же ты будешь про себя петь? — спросил я.

— Частушки! — невозмутимо ответил он.

— Вот оригинальный ответ! — восхищенно сказал я. — Да ты просто гений, Женька!

— Ну, марш из «Аиды» про себя могу промычать, — сказал он.

— Да... один только марш! А я всю оперу, все ее 4-е действия, от начала до конца. До малейшей ноты!.. Разница огромная!

— Действительно, не маленькая!

После разговора с Женькой я снова сел за географию. Около двадцати часов ночи пришла с работы мама.

— Я, что, возьму с собою рис для Раи? — спросил я.

— Конечно, — ответила мама. — А вообще, что ты возьмешь?

Для верности я составил список того, что, бы я желал иметь при себе. В список я включил альбом, цветные карандаши, тетрадь с конспектами по географии, немецкий учебник, чтобы выполнить задание по немке (так! Изд.), которое было задано классу на каникулы, дневниковые тетради и т.д.

Я надеялся взять с собою один лишь портфель, ибо свобода движений и действий в дороге для меня дороже всего, но я убедился, что весь мой скарб далеко не уместится в нем, да и как назло мой портфель был уже кое-где разорван. Мама вытащила какой-то коричневый чемоданчик, который, правда, был велик для моего груза, но я смирился со своею участью.

Вообще я терпеть не могу брать с собою в дорогу много хлама. Один пакет или сумка, или портфель, в крайнем случае, чемодан небольшой — вот мой предел. Да и то, если бы не рис, то я бы обя-

зательно бы взял с собою один лишь портфель! Это была бы красота! Со стороны можно было бы сказать, что, дескать, мальчишка собрался идти в школу, а не вздумал посетить другой город! Но я рад, что я ограничусь одним небольшим чемоданом; значит, я буду в дороге не стеснен своим грузом, буду сравнительно свободен! С такой поклажей будет не только не трудно, но и будет интересно даже отмахать пешком весь Невский проспект, от Московского вокзала до ул. Герцена!

30-го декабря. Уговорившись вчера вечером с мамой о том, в чем я потащу свои пожитки, я снова сел за географию и к 2-м часам окончил конспект по Румынии. Теперь я могу смело брать эту тетрадку в Ленинград. Не желая откладывать записи в дневнике на сегодня, я сейчас уселся за стол снова и только к 4-м часам окончил записи о вчерашнем дне.

В школе я сегодня чувствовал себя как на празднике; правда, я все еще сомневался в поездке. Придя из школы, я застал дома маму и Моникауса.

— Ну, как, тебе Буба звонила? — спросил я.

— Звонила.

— Ну, как с билетом?

— Завтра едешь! — с усмешкой ответила мама. Я чувствовал, что она шутит.

— И будешь ты Новый год встречать в поезде! — продолжала она.

— Да нет! Я тебя серьезно спрашиваю!

— А я тебе серьезно отвечаю!

— Ну, когда? — прямо спросил я.

— Есть билет на сегодня.

— На какой поезд?

— На часовой.

— Э-э! Это хуже! Значит, я туда приеду поздно! Он почтовый?

— Нет, скорый!

— Ну, это уже лучше! — облегченно произнес я. — Да! А место указано?

— Указано.

— Следовательно, мне нечего брать его с боем? Тем лучше!

— Сидячее оно только.

— Эка важность! Буду сидеть, да думу думать!



— Если бы ты занял верхнюю полку, то мог бы взять постель! — предложила мама.

— Ну нет! Я бы уж не стал с ней возиться. Мне на голой полке лежать спокойнее, чем воевать с простынями!!! Без них — я свободный человек! Да! А где билет?

— Он у Любы, — ответила она. — Она мне его на работу принесет!

Итак, теперь меня от Ленинграда отделяет одно лишь время. Странно, что я чувствовал себя более спокойно, чем я предполагал раньше; да это и лучше!

Около шести часов позвонил Женька.

— Ну, как билет? — спросил он.

— Есть! — ответил лаконично я. И я ему рассказал, на какой поезд он получен.

— Когда же у тебя начнется «Аида»?

— Ну, если в час поезд отходит, то около 2-х часов я могу начать. Ведь пока расположусь, пока освоюсь... А для верности я проведу сначала в виде вступления какой-нибудь марш из «Трубадура», а потом уж начну «Аиду». Примерно около 6-и часов утра она окончится.

Поговорив еще кое о чем, я сказал:

— Вот чего я не люблю, так это первые минуты встречи! Я, наверное, буду даже оттягивать время! Может быть, зайду на площадь Урицкого, полюбуюсь на Зимний, обойду Исаакий два раза, а потом лишь направлюсь к своим родственникам.

Вечером, придерживаясь своего списка, я собрал все свои вещи. Положил у чемодана пачку белых карточек для рисования (альбома подходящего у меня не было), цветные карандаши, дневниковые тетради с описаниями наших путешествий под церквушкой и летних каникул, тетрадь с конспектами и учебник по немке, сунул в дневник оконченные рисунки из серии о церкви и даже известную читателю игру «на Луну», чтобы играть иной раз в нее в обществе Норы. Мама уже умудрилась, правда, без меня напихать в чемоданчик уйму белья и прочего груза, но я решил все же на первый план поставить мои дневниковые тетради и принадлежности для рисования. Моська все время бегал за мною и твердил мне о том, чтобы я не забыл от него передать привет всем ленинградцам.

Около 9-и часов вечера пришла с работы мама.

— Ты имей в виду, — сказал я, — что мои тетради займут у меня первое место. Я еду в Ленинград не для того, чтобы носить всю эту

уйму хламид, а для того, чтобы употребить все эти тетради и карандаши.

— Все устроим! — сказала она.

Я переоделся, и мама уложила все в чемоданчик. Я яростно боролся против того, чтобы мне дали на дорогу еду, но разве с такими хозяйками совладаешь?! Еду одну лишь ночь, а зачем-то пихают еду! К чему она?

Время шло... Часы показывали начало одиннадцатого! Я должен был сесть, чтобы написать о сегодняшнем дне в дневнике...

— Ты имей в виду, что я сейчас напишу о сегодняшнем дне, и ты положишь еще одну тетрадь в чемодан, — сказал я маме, — так что ты не ругайся потом!

И я сел писать. Теперь я кончаю. Часы уже показывают четверть двенадцатого. Моська уже улегся и все еще трепетя, чтобы я не забыл о приветии Рае, Моне, Трубадур и т.д.

Ну, хватит! Надеюсь, что завтрашняя запись моя уже будет произведена не в Москве!

Только что позвонил Женя. Он обрадовал меня тем, что билет у него уже есть на часовой поезд, отходящий в новогоднюю ночь.

— Значит, в этом году я никуда не еду! — сказал он.

— Действительно так, ты прав! Зато я, как видишь, еду за целый год до тебя, — проговорил я. — Женя! Знаешь что?

— Ну?

— Хотя я дневник свой уже положил в багаж, но я сейчас достану его и допишу, что, дескать, ты мне звонил и известил о получении билета.

— Ну, давай! — Мы разъединились, и я, как видите, тетрадь достал и вот уже кончаю эти дополнительные строки! Все!

31-го декабря. Окончив писать (нет сомнения, что это происходило еще вчера вечером), я погрузил кое-как оную тетрадь в чемоданчик, который уже ломился от всякого совершенно не нужного мне хлама, вложенного туда моей заботливой мамашей, я стал ждать, когда грянет гром, т.е., когда придет долгожданный момент, чтобы (слава тебе, господь!) укатить на вокзал.

Лиза что-то творила в кухне, а Моська уже успел повоевать с водой перед сном и улечься в кровать. Не зная, на что убить время, я решил разузнать, успел ли Моникаус заснуть или нет. При виде меня он приподнялся, и я увидел, как его физиономия расплылась в улыбке.

— Ну, что, голубчик! Остаешься?— спросил я весело.— Едем со мною! Жаль только, что ты не войдешь в мой карман!

— Мошенник же ты, — сказал он, скаля зубы.

— Ты еще не ругал господу за то, что он сотворил тебя больше моего кармана?— осведомился я.

— Нет еще.

— Ты, гляди, ругай его, только не забудь. Это тебе может помочь.

— Завидуя я тебе, черту, — проскулил он.

— Гм! — самодовольно кашлянул я.

— Черт тебя возьми! — засмеялся Монька.

— Да, черт меня возьми! — согласился я. Вот именно! Ты прав!

Время шло, и нужно было собираться. В кухне я взвесил на руке чемодан и удостоверился, что до самого Ленинграда я его доставить сумею. По крайней мере, не выроню из рук. Я себя как то неловко еще чувствовал в этих серых брюках и бархатной куртке, но радостное чувство перед поездкой говорило мне, что всякий феномен сопровождается чем-то непривычным и новым.

Я кое-как надел на свою новую хламиду мое легкое осеннее пальтишко, отправился в ванную, чтобы там натянуть галоши, и, нахлобучив ушанку, вернулся в кухню. Лиза пожирала меня глазами: очевидно, она не прочь была поменяться со мною местом. Мама тоже оделась.

— Ну, поцелуй за меня Норочку!— сказала Лиза.

— Да уж, жди! — недовольно ответил я.— В жизни никогда не занимался подобным делом!

— Счастливый ты все-таки, — проговорила она.— Норочку увидишь, — пояснила она.

— Что это за выражение? — удивился я, впрочем, весьма спокойно.— Что она, не от мира сего?

— Попрощавшись с Монькой (который при этом кинул на меня восторженный взгляд) и с Лизой, я с мамой вышел в парадное, крепко сжимая в руке свой небольшой груз.

Я даже боюсь описывать те чувства, которые клокотали во мне в те минуты. Читатель, надеюсь, их понимает! Двор был пуст, и, так как было уже около двенадцати ночи, один из фонарей был погашен. Корпуса дома из-за темных всех окон казались мрачными глухими стенами.

Была отличная зимняя ночь. Кажется, даже звезды мерцали, и тротуары казались в темноте ослепительно белой сахарной пеленой. В воздухе был небольшой, но весьма крепкий и веселящий душу мороз.

На мосту кое-где мелькали темные фигуры запоздалых прохожих. Все они куда-то стремились, спешили, но, очевидно, оставались в рамках Москвы, а я...

— Куда я иду? — ежеминутно думал я. — Ведь сколько раз я шел именно этой дорогой по мосту, но иной раз я шел к М.Н., другой раз направлялся к Жене, а теперь... Теперь я иду, хотя и по этой же дороге, но финал моего пути далек отсюда! Прямо не верится! Так и думается, что я и сейчас, будто бы, как всегда, иду на музыку или куда-нибудь к знакомым!!!

В метро, еще не спустившись на платформу, мы отошли в сторону, и мама дала мне открытку, чтобы я по приезде в Ленинград, сейчас написал ей, как я доехал.

— И опустишь ее там же, на вокзале! — сказала она. Я, разумеется, дал ей согласие.

Спускаясь к поезду, я с сожалением заметил ей:

— И к чему тебе нужно было давать мне столько ненужного багажа? Ведь не месяц же, по крайней мере, я там буду жить! Только лишний груз! А я-то мечтал, олух, что поеду с одним невинным портфелем!

— Ничего лишнего, по-моему, нет, — ответила она. — Если бы не рис, который Рая просила захватить им (ведь там у них нет его), то еще можно было б уложить все в портфель. Но ведь рис-то не оставишь же здесь в Москве!

— Дело не в нем, — возразил я. — Рис я и сам ни в коем случае не согласился бы оставить. Уж я лучше б вынул часть моих тетрадок, но рис бы Рае привез.

На платформе под яркими снопами лучей разгуливало немало смертных, подобных нам. Я уж не помню, как я ехал в метро, что именно делал, но я знаю твердо, что никакого чувства радости во мне уже не было; я прямо-таки находился в каком-то волшебном забытии. Будто я и не сознавал, куда я еду, и Ленинград якобы даже исчез с поля моей памяти.

— Ну, вот и едешь, — сказала мне мама, когда мы с потоком остальных пассажиров поднимались по лестнице на улицу. — Дождался, наконец.

Что я мог ответить на это? Ничего: это было так!

На площади зимняя ночь чувствовалась еще резче: по снежному ковру, пересекаясь, пробегали огни машин и трамваев, а здания вокзалов походили на освещенные пароходы, стоящие у пристани.

Мы приближались к заветному ленинградскому вокзалу, перед которым сновали толпы людей, и, мирно беседуя, спокойно топтались группы носильщиков.

— Давно уже я не был на этом вокзале с тем, чтобы сесть на один из его поездов и направиться в Ленинград, — сказал я.

Перронная касса находилась на какой-то лестнице, выходящей из вокзала прямо на улицу. Наверху она была закрыта и представляла из себя нечто вроде комнаты с окошком в стене. Тут уже толпилось несколько человек. Мама приобрела себе перронный билет, и мы прошли вовнутрь здания. Пробравшись через толпы мешочников по громадному, ярко освещенному и дьявольски накуренному залу, мы направились на перрон.

— Ты сразу же напиши, как приедешь, — поучала меня моя родительница, — и там же на вокзале опусти.

— Да я и так знаю, что все будет благополучно — да вот я здесь напишу это слово, а там опущу. Зачем мне зря задерживаться только там на вокзале?

— Ты этого не делай! Там лучше напиши. Так вернее.

— Ну, что же, ладно.

Пробираясь вдоль длинного состава, мы отыскивали нужный нам вагон. Возле него стоял проводник с фонарем, отражавший атаки будущих пассажиров. Это был шумевший сутулый, широкий дядька с тупым медным лицом, широким ртом и накаленным грушеобразным носом. Фуражка на нем сидела основательно и даже закрывала часть ушей.

Показав билет, я прошел в вагон, надеясь отыскать свое место. Мама осталась снаружи. Проход в вагон был запружен людьми, расковырявшими свои тюки по верхним полкам, так что продвигаться было весьма затруднительно. В воздухе под потолком у мерцающих оранжевым светом ламп вились голубые ленты табачного дыма. «Тоже уж, подлецы! Дымят!» — злобно подумал я.

На нижних полках, в тени от верхних, уже сидели, так как вагон был с сидячими плацкартными местами. Понятно, что своего места я не нашел, ибо тут каждое существо могло владеть любым им захваченным местом по праву первенства. Дойдя до конца вагона, я кое-как протиснулся назад.

— С какой же стати тогда на билетах обозначены места? — полюбопытствовал я у одного служащего в железнодорожной форме, стоящего в начале вагона в дверях, ведущих в отделение проводника.

— Да так, для вида, — ответил он вяло, но весьма учтиво. — Какое свободно — занимай.

Вообще он, очевидно, был более человечен, чем сам проводник, да и внешность его была далеко не ужасна: он был высокого роста и с простым добродушным лицом.

Тут я обернулся и увидел, что перед служебной комнатой проводника боковое нижнее место было свободно.

— Оно не занято? — спросил я у моего собеседника.

— Нет. — Я в этом не сомневался, так как все обычно по привычке проходили в глубь вагона, проворонивая золотые места. Я занял правое сидение, предоставив левое моему будущему соседу, который в то время, может быть, еще был даже не на вокзале, а сам решил сказать маме, что все в порядке.

— Скажите, пожалуйста, что это место занято, — попросил я железнодорожника.

— Э-э, я уж не могу. Тут, кто займет, тот и владеет, значит! — ответил он.

Не желая потерять место, я быстро оповестил обо всем мамашу, и она повернула домой, между тем как я сам вернулся к месту, где увидел, что его без меня никто не захватил. Ура! Я владел сей хижинкой!

Не снимая пальто и шапки, я бухнулся на сидение и погрузился в черную резкую тень от боковой полки. Чемоданишко я положил себе на колени. Нужно сказать, что устроился я весьма удобно. Я был очень рад, что успел занять это место, так как оно было уединено, спокойно и находилось против помещения проводника; а это было уже небольшое преимущество в смысле интереса, ибо проводники — народ боевой, шумливый и разговорчивый. Я сидел и спокойно глядел, как мимо меня проносились толпы нагруженных людей, кричащих, изрыгающих проклятия, кляня друг друга и ругаясь. То было сборище превосходнейших экспонатов с «выставки» проклятий, которая, к счастью, конечно, не существует. Всюду слышался глухой смех, разговоры и указания тех, кто устраивался на местах своих вместе с багажом. В вагоне оказалось столько дымящих, что скоро все было от меня немного скрыто призрачной голубоватой пеленой.

На левое сидение, передо мной, уселся какой-то дядька в кожаном пальто и кепке, титанического телосложения. Другой встал возле него, и они начали болтать, поминутно смеясь и тревожа свои трубки с табаком.

Я с невозмутимым спокойствием созерцал всю эту картину, зная, что меня ничего из их дела не касается, и ждал только одного — скорого отправления поезда.

— Сколько до отхода-то? — спросил стоящий великан.

— Десять минут, — ответил сидящий, глядя на ручные часы.

Я принял его ответ к сведению. Между тем, суматоха несколько улеглась, хотя в дымном воздухе, под мрачными лучами лампы, все еще гудел многоголосый шум. Смотря на отражение служебной двери в темном окне, я ждал, сидя совершенно неподвижно и еще даже не изменив своего первоначального положения.

Вдруг что-то с лязгом дернуло, и послышался слабый стук, сопровождавшийся медленным, равномерным качанием.

— Тронулись, — проговорил сидящий силач.

Стук становился чаще, и вскоре вагон развил достаточную скорость. Проводник вошел к себе вместе со служащим, моим бывшим собеседником, и дверь закрылась.

Я неподвижно сидел в моем темном уголке и думал, что лучше этого места нет во всем вагоне.

Мысли сменяли друг друга в моей голове. Трудно даже сказать, о чем я думал. Я даже не верил, что еду в Ленинград, до такой степени привык лишь только мечтать о нем. Мне казалось, что вагон едет, да только куда-то, во что-то неизвестное, только не в город, к которому я так долго стремился. Люди, окружавшие меня, ехали в Ленинград — это я знал твердо, но я ехал не туда; цель моя казалась мне другим, чем-то божественным, неземным. В моем сознании просто не укладывались мысли о том, что, вот, дескать, завтра я уже увижу ленинградские улицы, Неву, Исаакиевский собор; увижу близких мне по родству и по чувству Раю, Моню и Трубадур. «Да, все люди эти, что в этом вагоне, едут в Ленинград, — думал я, — а я еду... я еду во что-то неведомое!..» Но только какое-то странное, новое, торжественное чувство говорило мне, что все это — реальность. Честное слово! Я был, как во сне, в каком-то забытии. «Прощай, Москва, — думал я, глядя на темное окно. — Прощай, надоедливая школа, парты, классная доска! Ну вас, к черту! Теперь я свободная птица! Я независим от вас!

Я даже чувствовал в себе какую-то понижающую, но слабую дрожь, которая приготавливала меня к нечто великому. Я никак не мог от нее отделаться, но я, собственно говоря, и не гнал ее от себя.

Вскоре стоящий геркулес куда-то исчез, и веселая беседа моих соседей прекратилась.

Наконец-то настал момент, когда я могу приступить к исполнению своей мечты — начать «Аиду», думал я.

Для начала в моей голове прозвучал один лишь марш, потом я его повторил, но для третьего раза у меня уже не хватило духу. Чтобы свыкнуться с обстановкой, я провел оба марша из «Трубадура» и на этом остановился. Равномерный стук колес был прекрасной подмогой для ясного и правильного звучания моих воображаемых певцов и оркестра. Начало оперы я все еще оттягивал, так хотел по-смаковать блаженный момент и не решался все еще приступить к вступлению к «Аиде».

Неожиданно стоящий колосс исчез, и его место занял какой-то рядовой член подсолнечного мира, с простоватым лицом и в самой заурядной одежде. Не будучи дураком, он разложил на столике свои запасы. И его челюсти приступили к своим функциям. При виде этого я тоже вспомнил о своих продовольственных складах и тоже, не считая себя идиотом, решил приступить к своей трапезе. Есть я не хотел, но я знал, что чем скорее я отделаюсь от ненужной мне провизии, тем лучше и легче я могу продвигаться и жить дальше.

Я открыл чемоданчик, кое-что там разворошил и достал какую-то часть моей провизии. Кое-как поглотив ее, я успокоился.

Вскоре мы проехали Клин, где стояли изрядное число минут, так что меня даже тоска взяла; но потом все исчезло, так как колеса вагона вновь заработали.

Я решил запечатлеть этот момент на бумаге, и достал из бокового кармана пальто данную мамой открытку. Я подвинулся немного вбок, чтобы лучи света падали на мой чемоданчик, лежавший на коленях, и, достав карандаш, я принялся оповещать на открытке своих московских домочадцев, что только сейчас, дескать, отъехали от Клина, что я дышу нормально, и что я сейчас, понятно, в дороге. И что окончу письмо на ленинградском вокзале, где и напишу о том, как произошел процесс высаживания. Открытка лежала на чемодане, и движение поезда мешало мне писать по-человечески, так что на бумаге мне удавалось ставить лишь лежащие или кривые буквы.



Сверху спал край пальто храпевшего на верхней полке моего так называемого «небесного» соседа, и черная тень упала на мой чемодан. Я сунул открытку в боковой карман и снова принял прежнюю позу в глубине моего темного и скромного уголка. Правда, я поставил потом чемодан сбоку от себя к стене и, облокотившись на него правой рукой, но это не ухудшило моего положения.

Мой сосед снова принялся уплетать, а я, вытащив из чемодана пакет с белым зефиром, устроил у себя на груди из пальто нору и вставил в онаю оный пакет; после чего я поминутно запускал в него свою левую лапу.

Счастливее меня не было на свете! Жуя данные сладости, я мчался к Ленинграду, покидал то, что мне в Москве уже осточертело, приближался к тем людям, увидеть которых я так стремился, ждал близкого свидания с ленинградскими достопримечательностями — разве это не удовлетворение моей грешной натуры?

В вагоне уже успело все успокоиться; говор стих, суматоха приказала всем долго жить, и воздух был лишь насыщен одними голубыми клубами дыма.

«Начну», — подумал я. И в моей голове возник театральный зал, ряды кресел, занавес... Свет погас, и «Аида» началась. Вереницей проходили музыкальные темы... Это был целый театр, с которым не скучно было бы даже в обществе меланхоликов. К концу I-го действия я уже знал, что с начала оперы прошло уже около одного часа с пятью минутами.

В вагоне многие спали, а служебная дверь открывалась лишь на редких станциях. Мой сосед уже спал, я тоже не был далек от него, и, прислонившись к стене и чемоданчику, я решил вздремнуть до второго действия оперы.

Я забылся очень быстро. Голова моя затуманилась, и я помню, как я очнулся ночью лишь тогда, когда вагон однажды вздрогнул, а служащий кому-то сказал, что это Бологое. Проводник взял фонарь и ушел на площадку. Я чувствовал такую усталость, что, не дождав-шись отправления, снова вступил в мир грез. Кто-то сказал, что уже очень поздно, ему поддакнули, где-то хлопнула дверь, кто-то спал со свистом... так шло время. Я заснул.

Проснувшись, я увидел, что еще было темно, и вид внутренностей вагона остался неизменным. Кругом еще спали. Первые лучи зимней зари я заметил на снежных узорах на стекле. Постепенно светало! Вместе с этим светом в меня вливалось какое-то новое чув-

ство. До этого момента в вагоне существовали мгла, тени, бледные огни ламп, и я уже привык к ним, но теперь сквозь замороженные белеющие окна пробивались светлые дневные лучи, которые были здесь еще новыми, напоминающими мне снова о том, что я еду в долгожданный Ленинград.

Второе действие со своим маршем, танцами и сценами с пленными эфиопами уже осталось позади, и я, видя, что при все усиливающемся дневном свете оживает вагон, приступил к завтраку, тем более, что сосед мой также вспомнил о желудке. Ночь минула, и утро вступило в свои права! Боже мой! Ведь уже и Ленинград где-то близко!

Завтракал я по обязанности, ругая мысленно весь свет, и насильно, без всякого удовольствия запихивал в свой рот бесконечные вереницы мучных изделий, желая отделаться лишь от них скорее. Все-таки у меня осталось еще кое-что, но уж это я, конечно, не в силах был уничтожить. Зефир я уже поглотил, и взамен него вставил у себя в норку пакет с тянучками.

Я уже совершенно успокоился и как бы свыкся с окружающей обстановкой, так что даже на проезд в Ленинград я смотрел более невозмутимо.

После Малой Вишеры я уже мог смело сказать, что через 4-е часа я уже буду... «там»!

Кто-то сказал, что уже около 11-и часов утра. Мимо прошел дядька с перекинутым через плечо полотенцем...

На Малой Вишере в вагон вломилось масса народу, в том числе и какая-то группа баб с кричащими малышами лет 5-и. Они пожелали опустить среднее сидение, служившее до этого момента столиком, и потеснили меня с моим соседом, расположившись между нами. Я не упустил случая и устроился в своем углу не менее комфортабельно, чем раньше. Они о чем-то судачили, малыши прыгали по полу, мешая стоявшим, и под этот аккомпанемент я окончил «Аиду», проведши последние два ее действия. Был, очевидно, уже первый час. К проводнику поступали уже частенько вопросы о времени приезда. Я же молча думал свою думу и никому не мешал жить. Время шло. Кое-кто начал уже собираться. По-моему, проходили целые часы, а поезд все еще мчался и мчался, не думая останавливаться. Это был для меня напряженный момент. Ох, как долго тянулось время!.. Я уж даже думал, что ехать-то поезд едет, но до Ленинграда он не доедет никогда, что не настанет вообще этот момент, что, хотя я и в поезде, но буду ехать куда-то вечно, и встречи с городом Ле-

нина мне не видать. Я заглянул в окно. Сквозь подтаявший тонкий лед я увидел мелькавшие деревья, убранные снегом, белые поля, деревушки, покрытые снежным покровом, дым из труб, и все это было, как сказочное. «Не московские это виды,— думал я.— Для меня они чужды и незнакомы! Москва далеко!»

Но вот в вагоне началось движение... Я насторожился. В окне замелькали рельсы, столбы дыма, красные стены депо, зеленые и синие вагоны и вереницы паровозов. Мы подъезжали к Ленинграду. В вагоне все собрались, и возле нас, у выхода на площадку, произошло небольшое скопление нагруженного народа. Вагон замедлил свой ход...

— Черт возьми! — подумал я, вставая, что, между прочим, делаю и мои соседки-кумушки, — неужели это правда? Не верю! Я чувствовал, как у меня в груди возрастала и увеличивалась какая-то странная волна радостного чувства.

Послышался лязг колес, звон металла, в лицо ударил морозный воздух... поезд остановился!

Понятно, нас всех здорово-таки дернуло, но дело обошлось без несчастных случаев. Я вынул платок и за неимением щетки почистил себе зубы. Это был мой «утренний туалет». Толпа двинулась, и я медленно стал приближаться к выходу. Я горел нетерпением скорее увидеть ленинградский перрон, вокзал под названием «Московский» и вообще покинуть этот жаркий и душный вагон, успевший мне уже надоесть. Наконец, очутившись на площадке, я увидел покрытую снегом крышу соседней платформы и стеклянную стену. По перрону сновали толпы встречающих; слышались крик, смех и восклицания. Да! Это уже была не Москва; это был другой город! И платформы, и вокзал, и составы — были не московские.

Скажу откровенно, я надеялся найти в толпе Раю и Моню. Ведь они могли ждать меня сегодня и на «авось» — сходить на вокзал! Спускаясь с лестницы на платформу, я еще сверху быстрым взглядом окинул всю кипевшую толпу, но знакомых лиц я не увидел. Не переставая незаметно пристально осматривать встречную волну людей, я, не торопясь, направился со всеми к выходу в город, ступая галошами по растоптанному снегу. Погода была прекрасной. Небо было устлано равномерно ослепительно белыми тучами, а воздух был ясен, чист и морозен. Над головами кружились редкие снежинки. Я как-то странно чувствовал себя: ведь я был совершенно один здесь, в незнакомой толпе, в не своем городе... Проходя через

огромный зал на улицу, я смотрел кругом и видел все не московское, непривычное для меня, хотя я в Ленинграде сейчас не в первый раз. Кругом суетились носильщики и служащие с красными повязками, и их вид также говорил мне, что это не Москва.

Находясь в поезде, я думал, что все же не увижу никогда ленинградского вокзала; ну, а теперь он был передо мною. Даже, несмотря на это, я не мог себе представить, что я вдруг да увижу Казанский или Исаакиевский соборы или хотя бы Зимний.

Я вышел на свежий воздух: передо мною раскинулась вокзальная площадь, по которой сновали дребезжащие, маленькие, квадратные трамвайчики с красивыми стенками и неровными, чередующимися по величине окнами. Их вид меня прямо умилил! Как давно я не видел этих игрушечных ленинградских трамваев! Кругом гудели автомобили, шумели прохожие, и все это было придавлено призрачной снежной пеленой, опускающейся медленно на землю.

Вокруг площади стояли невысокие светлые домишки с покатыми крышами, покрытыми толстым снегом. Через площадь, на углу с Невским проспектом, высилась небольшая церквушка, особенно врезавшаяся мне в память. Ее пузатый купол белел от снежного покрова. Ну, разве это не прекрасная картина?! Да... это была не Москва!

Я вытащил открытку и, приложив ее к стене вокзала, написал быстро карандашом: «Приехал благополучно. Сейчас двинусь по городу!» Я опустил ее в ящик, висевший тут же, и оглядел еще раз площадь. На ней кое-где виднелись свирепые ленинградские милиционеры. Я помнил наказ нашего Моньки, чтобы я переходил улицы в Ленинграде только, где есть указатели, иначе тебя тут же сцапают всевидящие и жестоко бессердечные милицейские, которые, помимо шкуры, сдирают еще рублей 25 или 50.

Памятника Александру III-ьему я не увидал: на его месте простиралось пустое место<sup>62</sup>. Так и есть — это «произведение искусства» предали забвению!

Ревностно обходя всю площадь, я двинулся влево от вокзала к началу Невского проспекта. Прямо передо мною промчался ленинградский трамвай американского вида, коричневого цвета с очень длинными вагонами и квадратными окнами. Завернув за угол, я

---

<sup>62</sup> Имеется в виду памятник работы П.П. Трубецкого, установленный при Николае II у Николаевского (Московского) вокзала. В 1937 г. был снесен и убран в запасники Русского музея. В постсоветское время размещен у Мраморного дворца.

увидел прославленный и долгожданный проспект. Находясь сейчас на одном его конце, я в ясную погоду мог бы видеть другой его конец, т.е. Золотой шпиль Адмиралтейства. Он был прям, как линейка, и дома по обеим сторонам симметрично уходили вдаль, теряясь в снежном дыму и представляя собой превосходное перспективное зрелище.

Все — и дома, и воздух, обжигающий, и морозный, и люди — все было мне ново, даже чуждо. Именно воздух был для меня также нов, ибо это был не московский...

Проспект был люден: кругом спешили по своим делам взрослые, хозяйки выходили из магазинов с полными кошелками, ребята куда-то мчались. То и дело проносились ленинградские трамвайчики, на которые я смотрел с широко открытыми глазами, ревели автобусы, оставляющие дымный лазурный след — жизнь кипела!

Я чувствовал себя на улице, как в чужом доме — мне казалось, что прохожие, подразумевая во мне приезжего, кидали на меня удивленные или пристальные взгляды. Я, конечно, не старался играть роль дурака и не шел по тротуару, поминутно оглядываясь и разинув рот, глядя на окружавшие меня дома; я шел привычным быстрым шагом, крепко сжимая в руке чемоданчик, внешне спокойный, но внутри настороженный и представлявший себе, как именно я встречу с Раей, Мoneй и их малышкой. Я желал ускорить этот момент, но одновременно почему-то и опасался его.

Шел я долго, но, наконец, предо мною предстали убранные в снега конные фигуры на Аничковом мосту<sup>63</sup>. Фонтанка была под тонким льдом, сквозь который кое-где была видна темневшая вода. Я не задерживался на мосту и, оглядев быстро чугунные изваяния коней, двинулся дальше вдоль длинного, но низкого бывшего Аничкова дворца с зелеными стенами и белыми колоннами.

За дворцом показался сад и желтевший за ним Александринский театр драмы<sup>64</sup>, имевший небольшое сходство с нашим Большим театром. Посреди сада высился памятник Екатерине II<sup>65</sup>. Это было высокое круглое сооружение, пьедестал которого представ-

---

<sup>63</sup> Имеется в виду скульптурные композиции коней, изготовленные П. К. Клодтом по заказу Николая I для Аничкова моста.

<sup>64</sup> Александринский театр — старейший в России, учрежден по указу Елизаветы Петровны в 1756 г., в 1832 г. разместился в здании на Невском, построенном по проекту К. Росси.

<sup>65</sup> Памятник работы скульптора М. О. Микешина. Установлен в Екатерининском саду в 1873 г.

лял собою группу придворных, над коими высилась мощная фигура и императрицы. Этот замечательный памятник, запорошенный снегом, в кругу лиловатых от мороза деревьев и на фоне желтых стен и белых колонн театра, выглядел до того обворожительно, что я тут же решил его включить в будущую серию рисунков о Ленинграде.

Я прошел затем под навесом торговых рядов, где ярко сверкали витрины магазинов и где было невероятное скопление ленинградских покупателей, и очутился рядом с городской станцией, имевшей мощную каменную лестницу с целыми вереницами людей и граненую башню с часами, имевшую пепельно-коричневый цвет, впрочем, сейчас отдававшей слабой синевой.

Увидев гениальное творение Воронихина — Казанский собор — я подумал: «Ну, это я увидел уже, но то, что я сейчас увижу Исаакий... все равно не верю! Этот момент, наверное, так и не настанет!»

Садик перед собором был весь в снегу, и памятники Кутузову и Барклаю де Толли так же, как и Екатерина, были похожи на снежные изваяния. Высоко в небо врезался крест собора. Мощные колоннады, с обеих сторон дугами отходящие от купола, гигантской подковой охватывали садик перед всем зданием. Сквозь толщи холодного воздуха и редкие снежные пылинки изящный собор был густо серого цвета с отливом цвета вечернего неба.

Против собора высился по другую сторону проспекта Дом книги, который был по внешности чистокровным европейским домом с лепными украшениями и фигурками смертных, держащими глобус, находившимися на самом углу крыши.

Следуя вдоль проспекта под звон трамваев и говор толпы, я невольно опасался, как бы из моих ленинградцев никого не оказалось дома... Черт возьми! Тогда мне придется, может, до вечера проторчать на улице! Но, откровенно говоря, я этого не очень боялся, ибо то была не Москва, а погулять-то по соседству с Исаакием, Невой, памятником Петру и Зимним вообще я, безусловно, был не прочь.

Постепенно из-за морозной пелены стал обрисовываться в конце проспекта острый шпиль Адмиралтейства, пока еще похожий на призрачное золотистое видение. Итак, еще одна достопримечательность этого города предстала перед моим взором.

На другой стороне Невского я увидел беже-розового цвета здание, похожее на арку в готическом стиле. Что это за здание было — я не знал, да и сейчас не знаю.

Неожиданно мой путь пересекла Мойка. Вот на какой реке и живут мои ленинградцы. Взойдя на мостик, я пристально смотрел на знакомую мне речушку, покрытую снегом и льдом, кое-где пожелтевшим, и уходящую куда-то дальше, поворачивая вправо. Тогда я еще не мог знать, что недалеко от меня, в детском саду, в этот самый момент была наследница Раи и Мони. Это я узнал лишь потом!..

Я мог, конечно, продвигаться вдоль русла Мойки, чтобы достигнуть Исаакия, возле которого у этой реки и находилось мое ленинградское пристанище, но я хотел все же пройти еще по Невскому, чтобы увидеть улицу Герцена<sup>66</sup>.

Так я и сделал! Обгоняя флегматичных прохожих, я дошел до угла улицы Герцена, которая начиналась под аркой Красной Армии перед Зимним дворцом. Эта арка мне была отсюда видна. Это было оранжевого цвета высокоархитектурное сооружение с белыми лепными ангелами и прочими украшениями неземного характера.

С широко раскрытыми от интереса глазами я шел по ул. Герцена, созерцая и вспоминая места, которые когда-то тоже ласкали мой взгляд. Улицу Герцена нельзя назвать плохой улицей — я шел по ней с большим удовлетворением и интересом, поджидая момента, когда она пересечет площадь Воровского<sup>67</sup>, на которой и существует Исаакиевский собор. На тротуарах стояли цилиндрической формы будочки, обклеенные афишами, уже в Москве считающиеся допотопными вещами. На них пестрели названия концертов, драм, опер... Тщетно искал я слово «Аида»... Я так желал и желаю увидеть и услышать ее на ленинградской сцене, тем более что здесь-то ее ставят полностью, о чем я уже говорил еще давно в дневнике.

«Ну, сейчас я Исаакия увижу! — ликовал про себя я. — Прямо не верю, ей-богу!» Но я смаковал и не прибавлял шагу. Между тем, мороз давал о себе знать: он меня довольно основательно уже пронял, хотя я не обращал на него внимания, занятый мыслями о Исаакии и о встрече с моими двоюродными сестрой и братом и с их прямым и непосредственным потомком. Ведь самое главное оставалось впереди!

И как это ни странно, но я очень скоро очутился рядом с серыми стенами и высокими полукруглыми наверху окнами гостиницы «Астории», так часто фигурирующей на моих рисунках вместе с Исаакием.

---

<sup>66</sup> Бывшая Большая Морская, переименована в ул. Герцена в 1920 г.

<sup>67</sup> Это название носила Исаакиевская площадь в 1923–1944 гг.

Я вышел на площадь и... увидел картину, столь близкую и любимую мне. Это была картина! Прямо передо мною белел кубической формы трехэтажный дом, с многочисленными сахарными колоннами; за этим домом и находилась скромная хижина, которая должна была приютить меня. Посреди площади стоял памятник Николаю I-му<sup>68</sup>, за которым текла под широким мостом Мойка. Сложный до безумства от украшений в виде рельефов, человеческих фигур, листьев и оружия, темно-малиновый пьедестал был увенчан ужасно бесчувственной лошадью, верхом на которой восседал популярный палач, оригинально покрытый снегом и посиневший от мороза. Садик перед Исаакием был гол, пуст и бел; с одной его стороны серела «Астория», с другой — розовело германское посольство, а прямо перед ним... прямо перед ним водружался на площади громадный, нахмуренный Исаакий. Его мне даже просто трудно описать! Это было нечто потрясающее. Короче говоря, я видел перед собою Исаакия! Его мрачные, лиловые от холода стены, малиновые мощные колоннады под треугольными портиками, многочисленные изваяния божеств, его четыре колокольни с яркими позолоченными куполами и, наконец, его гигантский ослепляющий желтый главный купол — представляли из себя умопомрачительную картину. Под пеленой зимнего воздуха он был еще оригинальнее, чем тогда летом, когда я был тут в 1937 году... Зима его смягчала, окутывая в снежную ризу, и окрашивала в синие и лиловые цвета, оставляя лишь без изменения главный купол и купола колоколен. Он казался таким грузным, тяжелым, но величественным, что я мог гордиться за весь этот город.

Я тщательно обогнул всю площадь, любуясь этим гениальнейшим сокровищем архитектуры; с моста Мойки он выглядел еще величественнее. Отсюда открывался вид на всю площадь вместе с «Асторией» — справа, с немецким посольством — слева и с памятником Николаю и Исаакием — посередине. С этого места собор казался еще лазурнее, так как толща воздуха между нами теперь была больше.

— Исаакия я увидел, — прошептал я, — но это еще не все! Главное — это встретиться с моими ленинградцами. Долго же я ждал этой встречи, а вот теперь скорость наступления ее зависит только от меня.

---

<sup>68</sup> Памятник работы О. Монферрана и П. Клодта, был установлен на Исаакиевской площади в 1859 г.



Да! Я был уже в Ленинграде, находился уже рядом с их домом, и стоит мне только поспешить...

А они даже не подразумевали в то время то, что я был так близко, что стоял почти рядом с их домом и что, стоит им только зачем-либо выйти на площадь, и мы, может быть, встретимся.

Я восторженно смотрел на все эти места, столь близкие им и мне самому, глазами, полными восторга!

Я обогнул площадь и ступил на набережную Мойки. Площадь исчезла за углом, и я стал приближаться к заветным воротам. Набережная была довольно узкой, вдоль реки тянулись ряды деревьев, мостовая была булыжная, и тротуары состояли из кривых линий. Давно я не был на этой набережной! Я шел осторожно, будто боялся провалиться; я чувствовал себя настороженным зверьком, который уже сейчас ждет чего-то долгожданного... Как долго я мечтал очутиться на этой набережной, а теперь я здесь.

По ту сторону реки стояли маленькие домики с белыми крышами — картина была, вообще, умильной.

Наконец, я очутился перед воротами старого облезлого дома номер 95. Вот уже совсем близко, и я... я, что, если их нет дома? Однако лицо мое уже изрядно горело на морозе, я чувствовал, что холод пробирает меня насквозь, и я вошел в ворота...

Под старыми воротами валялся у стен всякий хлам и посеребрившие доски. Я вошел в маленький дворик, похожий на колодец, так как его окружали высокие стены дома. В его углу виднелись сложенные дрова, покрытые снегом, да и весь он был под мягкими глубокими сугробами, пересеченными кое-где протоптанными тропинками. Даже этот захудалый старый дворик и то показался мне чудным — до того сильны и ясны были у меня воспоминания.

Тут же у ворот виднелась высокая деревянная дверь и пара кривых ступенек. То была дверь, сквозь которую я должен был пройти. Осторожно и бесшумно, словно воришка, я вошел в дверь и, подняв голову, увидел лестницу, тянущуюся вверх и изгибающуюся, состоящую из желто-серых каменных ступенек и темных железных перил. Сквозь просвет между противоположными частями лестницы я увидел на втором этаже заветную дверь.

Все клокотало и бурлило во мне при виде этой долгожданной картины. Как давно я не видел эту лестницу с видневшейся наверху дверью. Я готов был не верить своим глазам! «Навряд ли все

будет гладко,— подумал я.— Я чувствую, что так уж просто мне не встретиться с ними. Наверное, никого нет дома, и вместо того, чтобы сразу очутиться у них и войти в ленинградскую жизнь, мне еще придется, может быть, потоптаться на улице! Приятно!»

Я, тихо ступая, сделал круг по лестнице, и очутился рядом с обитой, кажется, кожей, деревянной дверью, на которой висел жестяной ящик и около которой существовали круглый звонок к моим и звонок в виде ручки к их соседям.

Я постоял некоторое время, подавляя в себе клокодавшее чувство, и глубоко вздохнул. Наконец, я решился... Потревожив звонок, я с замиранием сердца ждал шагов. Ну, и настроженный момент же был для меня тогда! Но кругом было тихо... Я стиснул зубы. Второе действие, аналогичное первому, так же не дало никаких результатов. Вообще кому-либо я всегда почти стараюсь не надевать, поэтому я решил спуститься вниз и выработать новый план действий.

«Проклятие! — думал я.— И нужно было мне оказаться правым! Так и есть — никого нет дома!»

Я прошел ворота и вышел на набережную. Я чувствовал себя в то время каким-то одиноким и чуждым ко всему окружавшему существом... Однако мое положение только разжигало мой интерес ко всему настоящему и будущему. Нет сомнений, что без неожиданностей и приключений скучно жить на белом свете!

Однако ленинградский мороз до того меня пронял, что я стал, может быть, даже и шутя еще опасаться, как бы я не превратился в глыбу льда. Крепко сжимая чемоданчик, я пошел по набережной к площади, чтобы пройти к квартире, нужной мне, с улицы Герцена. Струи холодного воздуха обжигали мне лицо, но они были до того удивительно свежи, что я наполнился каким-то радостным, бодрым здоровым чувством; я был просто опьянен сегодняшним морозом.

Я снова вышел на площадь и снова увидел лиловую громаду мощного собора, но теперь я не задерживался и свернул на прямую и широкую улицу Герцена. «Боже мой! Я в Ленинграде: я уже здесь — это невероятно!» — то и дело думалось мне.

По другую сторону улицы виднелся темно — зеленый особняк, схожий с каким-то древним домиком, сложенным из многочисленных частей. Может быть, это было продолжение германского посольства? Весьма вероятно. Я вдоволь покрутил по тротуару, но нужной двери здесь я не нашел, так как я еще никогда не ходил к Рае через ул. Герцена.

От холода я уже весь горел. И я решил снова вернуться к Мойке и еще раз попытать счастья. Я невольно задерживал свои глаза на каждом встречном, так как я надеялся встретить Раю или Моню на улице, но это я делал лишь скорее всего для очистки совести. Я снова достиг через ворота дворик и лестницу вышеописанной двери, но круглый звонок и на сей раз не вызвал никого.

Я дернул за второй звонок, решив узнать от соседей, куда скрылись мои тамошные домочадцы. Где-то за стеной залился звякающий колокольчик... Послышались шаги... В ожидании я плотно сжал губы.

Дверь открылась, и я узрел низенького мужчину в тапках и в какой-то накидке.

— Фишман дома? — с философским спокойствием спросил я.

— Не знаю, сейчас посмотрю, — ответил он. — Войди пока что.

Захлопнув за собою дверь, я очутился уже в знакомой мне кухне: небольшой, немного закопченной темноватой комнатке с раковиной у двери, полками на стенах с различными склянками и кастрюлями и обширной плитой, на которой злобно шипел раскаленный примус. Вправо от входной двери была дверь соседей, а в глубине кухни, за загородкой, где Рая устроила свою стряпочную, белела дверь, за которой располагалось пристанище моих ленинградцев.

Вышла соседка, невысокая черноволосая женщина, которая сейчас же узнала меня.

— Розин сын? — спросила она меня.

— Да, — ответил я.

— Из Москвы? — Я утвердительно качнул головой.

— У них только домработница дома, — сказала она. — Но точно даже не знаю. Посмотри, открыта ли дверь.

У загородки, отделявшей Раино отделение, я снял галоши и нажал ручку двери... Последняя открылась, и я увидел комнату, которую до сих пор я созерцал только в сознании, ибо в последний раз я ее видел лишь в 37-м году. Это была квартирка, состоящая из продолговатой большой комнаты и ниши, немного ниже первой; в эту нишу и привела меня входная дверь. Справа от двери стоял косо поставленный в углу красивый резной шкаф, отделявший собою часть ниши; слева была покрытая белым покрывалом никелированная металлическая кровать, у которой висел на стене аппарат телефона. По другую сторону ниши стояла тумбочка и маленькая кроватка, предназначавшаяся обычно для Норы. В комна-

те слева стояла круглая черная печь, широкий диван, над которым была приделана к стене стеклянная полочка с шарообразными часами и различными мелкими вещицами и громадное высокое зеркало, прилегающее к стене только нижней частью... Эта полка и зеркало были очень характерны для этой комнаты, и, часто вспоминая эту обстановку, я всегда не забывал эту стеклянную мебель. За диваном стоял буфет, похожий на коричневый орган. У правой стены комнаты был небольшой дугообразный диванчик зеленого цвета, за ним — блестящее пианино, на котором лежали кипы нот, статуэтки, вылитые Раей из гипса, и снимки в рамках; дальше виднелась маленькая этажерка, у которой на стене висела политическая карта Европы, и, наконец, у противоположной стены, под высоким окном с замерзшими стеклами стоял круглый обеденный стол с зеленой мохнатой скатертью, в окружении многочисленных стульчиков.

Особенно, на что я обратил внимание,— это на маленькую, сплошь увешанную игрушками и сверкающими шарами елочку, стоящую на круглом маленьком столе около дугообразного диванчика. Тут же был детский столик с разнообразными игрушками. Сверху спускалась люстра с несколькими матовыми абажурами, сквозь которые струились яркие, веселящие душу электрические лучи. Благодаря желтовато-оранжевым обоям вся комната, казалось, была залита яркими оранжевыми лучами.

Особенно очень весело выглядела под ними темно-зеленая елочка. Ее пышные украшения сверкали разнообразными цветными искрами, что, безусловно, говорило о наступающем Новом годе. Нет сомнений, что эта елка была результатом желаний маленькой наследницы, живущей здесь.

За стеной я услышал голос, который кому-то оповещал о моем приезде из Москвы, и немного погода моего слуха достигло детское восклицание в виде моего имени. Это, конечно, не была Нора, а соседская девчонка, в глупости которой я впоследствии удостоверился.

«Ну, вот! Дура уже подает свой голос! Ну и народ!» — подумал я, недовольный нескромностью здешних детей.

В комнате никого не было, но я, не считая у Раи себя чужим, и, повесив пальтишко и шапку за шкаф, решил подождать первого вошедшего, присев на край дивана. Мне долго не пришлось ждать, так как вскоре вошла домработница, которую, как оказалось, звали Полей. Это была довольно высокая смертная, просто встретившая

меня. Я сказал ей, откуда я и кто я вообще такой, чтобы уничтожить заранее ее вопросы в этой области.

Очевидно, следуя наказу Раи, она принялась за уборку данного помещения, орудуя воском и щеткой.

— Ты сюда приехал с вокзала? — спросила она, переставляя стулья с места на место.

— Нет, пешком пришел!

— Ведь это долго идти нужно было.

— Ничего. — Затем я спросил, где остальные домочадцы.

— Раиса Самойловна скоро придет, а Эммануил Григорьевич, может, поздно вернется, — ответила она. — А Норочка сейчас в «Очаге» — детском саде. В 5 часов за ней пойду. А ты с ней знаком? Она тебя знает?

— Нора?

— Да.

— Знает. — Поля куда-то вышла, и я остался один.

С восторгом я созерцал эту комнату, столь долгожданную, а теперь в действительности представшую перед моим взором.

У меня внутри все было напряжено от ожидания. Да, это было томительное, но сладкое ожидание! В любую минуту могли войти Рая или неожиданно вернуться рано Моня. Но дверь не открывалась...

Неожиданно раздался какой-то треск, и я догадался, что это породил их телефонный звонок. Я не подошел, так как все равно ничего бы толком не смог бы никому сказать.

Время шло. Поля, очевидно, ушла на улицу, так как она все еще так долго не возвращалась, и в ожидании кого-либо я ради интереса заглянул в свой багаж. Наткнувшись на тянучки, я уплеп одну, решив остальное оставить для общего котла.

Уже, очевидно, более получаса прошло с тех пор, как я остался один, но я этому не придавал особого значения.

В комнате было жарко натоплено, и от печки исходил такой жар, что я быстро забыл уличную стужу, хотя я и не привык уж особенно к такой высокой температуре в комнате.

Уже вечерело, так как я заметил сильное потемнение в окнах. Хотя стекла были покрыты белым сверкающим от горячей люстры льдом, но это было весьма ясно заметно.

Вдруг дверь раскрылась, и я увидел на пороге Раю!

— А-а! Лева! — радостно воскликнула она. Я встал, и мы тепло и дружески пожали друг другу руки. В ее глазах я видел товарищеский

теплый блеск. Она нисколько не изменилась, и оставалась все той же, только ее несветлые волнистые волосы стали как будто еще темнее.

— А мы-то тебя ждали! Представить себе не можешь! — говорила она, освобождаясь от своего коричневого пальто. — Ну, как ехал? Как было в поезде?

— Все благополучно, — ответил я утешительно.

Она открыла буфет и что-то стала там творить.

— Вот и приехал! — сказала она. — Прямо не верится!

— То же самое, как и мне, — лаконично ответил я.

— Ты, видимо, недавно пришел?

— А что?

— Да я только что звонила, и никто не подошел.

— Так это ты звонила? — удивленно переспросил я.

— А ты, что, не подошел? Что же это ты? А я думала, никого нет!

Я выпотрошил свой чемодан, отдал Рае рис и оставшиеся сладости, а остальное уложил по своим местам.

— Поставь его под кровать, — предложила моя сестричка. — Там он будет более скромным! — И я сунул свой чемоданишко под кровать, за спадавшие края покрывала.

Я был прямо как во сне! Мой праздник уже начал разворачиваться. Не хватало еще только Мони и их дочурки.

— Ну, пойдем в кухню! Я там буду стряпать к обеду, а ты мне рассказывай, как у вас там дела! Гляди, не утай только ничего! — сказала мне Рая, таща за собою меня чуть ли не за руку.

В ее маленькой кухоньке, отгороженной от остальных частей общей кухни, стоял стол. Она стала что-то проворить на нем (не помню уж, что именно), расспрашивая меня о моих разных делах.

— Ну, а рисунки свои какие-нибудь ты привез? — спросила она.

— Привез кое-какие.

— И ты молчишь? Это мне нравится! Вот тоже! А ну, тащи их быстро сюда!

Но в это время я увидел, как с шумом раскрылась наружная дверь, и вместе с морозным паром в кухне появились какие-то смертные. Боже мой! Это были Моня и его чадо! Ура!

Оба они были только что с морозу, так что, глядя на них, покрытых снежком, самому, казалось, становилось холоднее. Эммануил был одет легко, Трубадур же была потяжелее: на ней было мохна-

тое короткое пальтишко, круглые пузатые варежки и точно такая же шапка.

— А, Лева... — негромко протянула она, подходя к нам. Глазенки ее весело сверкали, и она в своем одеянии казалась каким-то кругленьким, маленьким медвежонком.

С нее стянули мохнатое одеяние, и она превратилась в истинную Нору, румяную от морозного воздуха, с ровными, светлыми, почти золотистыми волосами, с слегка вздернутым носиком и сверкающими голубыми глазами, излучающими какой-то необъяснимый теплый и дружественный блеск. Да это и не странно, ведь глазами она полностью походила на своего отца. Она, шурясь, смотрела на меня, как на чудо! Даром, что давно не виделись.

Моня тоже освободился от верхнего уличного одеяния и вышел к нам в кухню. Тут у нас пошли дружественные беседы. Смотря на эту замечательную тройку, я произнес:

— Давно я вас всех вместе не видел!

Трубадур сбегала в комнату и приволокла оттуда какую-то куклу и цветной бумажный стаканчик. Положив это на стол рядом со мною, она снова ускочила обратно.

— Вот смотри, какая кошечка! Она из ваты! — обратилась она ко мне, показывая мне картонное животное, обклеенное ватой. — Она хорошая?

Я, конечно, в этом не сомневался и дал твердое на это согласие. Когда она снова умчалась, Моня, смотревший на занятия своей дочурки, сказал мне, улыбаясь:

— Видишь? Это тебе она все носит!

— Да! Лева! А где же рисунки? — спросила Рая. — Идем, покажешь нам! — И мы отправились все в комнату.

Я вытащил на свет свою серию о церквушке и, предупредив зрителей, что это еще не полная серия, вручил им свои творения. Рая поставила их всех на крышку пианино и пристально стала вглядываться в них. Она указала мне на ошибки в некоторых местах, и я увидел, что глаз художницы ее не подвел, так как ее замечания были действительно правильны и обоснованы. Она особенно похвалила последний рисунок — вид на внешний вход в подвалы, указав на реальность и правильность расположения световых потоков и теней.

Вернувшаяся Поля и сама хозяйка окончили приготовления к обеду, и мы уселись за круглый обеденный стол у окна. Нора уплетала свои маленькие порции в соответственно уменьшенном сервизе.

Подобную картину в Москве я только мог наблюдать у Гени, когда питалась его наследница Софа.

Во время обеда к нам явилась соседская дева под названием Лидия, лет 11–12 от роду. Именно она так нескромно и агрессорски (так! Изд.) кричала через стену. Впоследствии оказалось, что она большая болтуня, сплетница, и мне было не очень приятно видеть, как моя близкая невинная родственница Трубадур находилась под более старшей ее рукой.

Обед мне показался божественным, тем более что последний раз я по-человечески питался еще в Москве.

После обеда Леонора и ее соседка выволокли различные книжки и игрушки, расположившись на диване.

— А знаешь? — тараторила Нора. — Я тебя даже сначала издала и не узнала совсем! Смотрю и думаю, кто же это такой? А потом дошла и вижу, что это ты!

Немного погодя, она указала на стену, рядом с зеркалом:

Это моя стенгазета «Ракета»! Мы ее с папой делаем!

И я увидел висящий тетрадочный двойной лист с кривым названием и наклеенными картинками.

— Давай рисовать, а? — предложила вдруг моя собеседница.

— Что? — рассмеялась Рая. — Обрадовалась, что к тебе художник приехал?

— Ага, — откровенно призналась не смутившаяся Леонора.

Мы уселись за обеденный стол, и, откинув скатерть, я принялся запечатлевать вид, который я видел сегодня на улице. Цветными карандашами, данными мне Норой, я кое-как изобразил площадь и Исаакиевский собор.

Мои зрительницы сейчас же узнали его, хотя карандашами я не мог в достаточной степени вложить в него сходства с настоящим собором.

Я узнал от Раи, что скоро нужно будет собираться, чтобы идти на встречу Нового года. Встреча должна была быть у профессора-скрипача, их близкого друга Струве. Вместе с Полей Рая в кухне приготовила багаж, который остался там ждать своей участи. Лиду вскоре позвали, и она ушла. Моня должен был куда-то уйти и уже оттуда приехать на новогоднюю встречу, поэтому он прилег на диван.

— Ну, проиграй-ка нам свой «айдовский» марш знаменитый! — проговорил он.



— Да, верно! Ведь мы, как-никак должны услышать тебя, как говорится! — сказала Рая.

Пианино их было очень хорошее, все струны были в порядке, и клавиши легко и мягко опускались. Я проиграл часть марша, танец жриц и еще кое-что из того, что выучил с М. Н. На первый раз я не играл много: я хотел освоиться сначала с обстановкой. Мои критики сказали, что удар у меня мягкий, порядочный, что играю я с чувством, но, откровенно говоря, я сам почему-то решил, что орудовал я у инструмента не слишком хорошо. Очевидно, у меня так получилось из-за того, что я имел дело с непривычным для меня инструментом.

Вскоре Моня ушел, и Рая сказала мне, что мы уже скоро тронемся.

1-го января. Вчера вечером, еще до своего ухода Моня спросил меня, как я думаю проводить время здесь в Ленинграде.

— А завтра мой товарищ приезжает сюда, — ответил я. — Вот мы с ним и уговорились действовать вместе.

— А у него здесь кто-нибудь живет? — спросила Рая. — Пристанище-то у него будет?

— Да. У него здесь тетя проживает. Мы вообще хотели ехать вместе, но потом по независимым от нас причинам нам пришлось разъединиться.

— А ты в дороге-то вообще не скучал? — спросил Моня.

На это вопрос я ответил тем, что рассказал о моем проведении «Аиды».

— А ничего не пропустил? Уверен, что всю знаешь? — осторожно полюбопытствовал Моня.

— Надеюсь, по крайней мере, — ответил я.

Моня ушел, Рая чем-то занялась, а Трубадур, между тем, развлекалась на диване в окружении своих сокровищ. Видимо, ей очень хотелось, чтобы я присоединился к ней, так как она то и дело отрывалась от своего труда, чтобы каким-нибудь вопросом или рассуждением привлечь мое внимание. Я ничего, конечно, не имел против, и после ухода Мони мы вместе с нею стали что-то творить — я уж не помню, что именно.

— Ну, давай уж трогаться! — сказала Рая. — А то, как бы мы с тобою в трамвае Новый год не встретили.

Оставив Леонору на попечение Поли, мы вышли из комнаты в кухню. Одевшись, Рая спросила меня:

— Ну, как? Сможешь стащить эту корзину? — И она подняла большую овальную плетеную корзинку, чем-то нагруженную, укрытую бумагой. Корзинка была увесиста, несмотря на свои незначительные размеры, но я ответил положительно.

— Тяжела, не правда ли? Я такую навряд ли б смогла увлечь за собою! — подбадривала меня моя сестра. — Ну, нам лишь бы до трамвая допестись.

— Слов нет — ты права! — ответил я.

На плите шипел все тот же шумливый примус, который, по моему, не умолкал и ночью, но, выйдя на лестницу и захлопнув двери, мы освободились от действия его оглушающего шума.

На лестнице было темновато; там горела одна какая-то мутная лампочка, ввинченная в стену над нашими дверями. Мы спустились вниз. Холодный воздух сразу же окутал нас. В темноте зимнего вечера ясно белели на земле синеватые сугробы, покрывавшие весь дворик. На набережной было так же не светло, и голые кроны деревьев казались снизу гигантской паутиной. Кое-где на том берегу сверкали огоньки в окнах, которые, нужно сказать, мало нас привлекали.

Мы вышли на площадь, окруженную ярко освещенными домами. Снег на земле казался оранжевым ковром от отблесков светящихся окон и фонарей. Я посмотрел влево и увидел совершенно не освещенную, черную, зловещую громаду Исаакия, увенчанную резким силуэтом купола и угольного цвета изваянием креста, довольно ясно видневшимся в черно-синих небесах.

Николай, словно немой темный истукан, восседал на лошади посреди площади! Короче говоря, картина была умопомрачительная, тем более, что я ею не любовался с 37-го года.

О чем-то беседуя (Рая, кажется, расспрашивала меня о моей московской деятельности), мы прошли широкий мост через Мойку и тронулись по прямой, как стрела, не слишком широкой улице, по обеим сторонам которой стояли весьма солидные дома с весело освещенными окнами. По тротуарам медленно плелись темные личности; подобные же существа проносились так же мимо нас в дребезжавших ленинградских трамвайчиках, на которые я то и дело с интересом поглядывал.

Уловив где-то в поперечной улице нужный нам состав, мы углубились вовнутрь вагона. Давка была дьявольская. Во всем сказывалось наступление новорожденного года. Внутри вагона было светло

и уютно! Скамейки располагались не перпендикулярно к стенам, как в московских трамваях, а тянулись вдоль стен. К потолку поднимались столбы пара, так как глотки многих смертных, находившихся в вагоне, то и дело проклинали все окружающее, намекая на ужасную толкотню.

Мы с Раяй остались на задней площадке, так как, по ее словам, я понял, что ехать нам нужно будет не день и не два. Я кое-как пристроился у закрытой не работавшей двери, поставив на пол вышеописанную корзинку. Рядом со мною бушевала с соседями какая-то престарелая тетка, по грузу аналогичная мне; дело в том, что она держала крепко в руке кошелку, очевидно, с нестойкими веществами, так как она энергично и даже патристически (по отношению к своему багажу, конечно) отражала атаки окружающих, защищая свою поклажу.

Наконец, мы с большими усилиями оставили гостеприимный вагон и очутились снова на мостовой. Где мы очутились, я не могу сказать, так как была кругом такая тьма, что будь я и слеп «хоть на четыре глаза», то все равно я видел бы больше. Рядом с нами белели трамвайные рельсы, около себя я различал свою двоюродную сестру, на той стороне виднелись очертания маленьких домиков — вот и все, что я мог заметить. Мы, очевидно, были не в центральном районе города, если судить по маленьким, заурядным домикам.

Мы пошли куда-то вправо от остановки, кое-как различая дорогу среди белеющего снега. Нас, видимо, окружало пустое пространство, так как я не замечал рядом с нами никаких строений.

По дороге Рая рассказала мне о лицах, к которым мы направлялись. Она сказала, что они — бывшие бароны, выходцы из Италии, очень чуткие, простые люди, у которых даже чужой человек чувствует себя так, словно он в кругу близких друзей.

— Вот именно им я и читала твое письмо, — сказала она. Помнишь, я тебе писала, что они были очень хорошего мнения о нем.

— Значит, они уже знают хоть сколько-нибудь о моем существовании? — спросил я.

— Да. Можно сказать, что они уже немного с тобою знакомы.

— Ну, это очень хорошо, — проговорил я. — Значит, я не буду в их кругу чувствовать себя совершенно чужим? А то ведь это очень неловкое положение.

— Ну, еще бы! Конечно! — согласилась Рая. — Тем более, ты обрати внимание на лицо Бориса Александровича. У него особенные

черты! У него какое-то особенное, тонкое лицо с необычайным общим выражением.

Она выразила глубокое сожаление по поводу болезни их друга; он, оказывается, носил в себе тяжелый туберкулез.

Между тем, мы приблизились к высокому дому, часть которого находилась еще в лесах; обойдя его, мы вошли в подъезд, находившийся в углу, между двумя отрогами здания. Поднявшись по неярко освещенной, круговой широкой лестнице, мы очутились перед высокими темневшими дверьми.

— Вот мы и на месте! — сказала Рая.

Нам открыли, и мы очутились в обширном коридоре, в котором около двери мне сразу бросилась в глаза вешалка. Слева у дверей стоял громоздкий сундук. Коридор куда-то вправо заворачивал, и все дальнейшее было скрыто за углом.

Нас встретила вся приветливая семья: сам Борис Александрович — высокий худощавый мужчина, темноволосый, с несколько вытянутым лицом, с тонким прямым носом, с немного выдающимися скулами и с особенными темными глазами, глубоко сидящими в глазницах<sup>69</sup>; его жена, которую звали Вероника, — невысокая блондинка, с чрезвычайно веселыми, с теплым блеском глазами; их дочь — высокая светловолосая девица лет 20-и с лишком; и, наконец, бабушка — низенькая седовласая старушка, которая оказалась чрезвычайно приветливым и добрым человеком.

Из-за угла показался маленький тупоносый глазастый пудель с белоснежной вьющейся поверхностью, который прыгал между нами, завывая на все лады и тоны; рядом с ним выросла громадная фигура чудовищного по величине кота серого цвета с темными полосами, пушистого до предела! Вся эта пара имела весьма оригинальный вид.

Я молча стоял у двери, не зная, что делать, так как моя сестра шумно и весело здоровалась с хозяевами.

— Ну, Лева! Раздевайся! Живо снимай с себя свою хламиду! — сказала она мне. Не успел я придти в себя, как она меня уже представила домочадцам. Уже с первого взгляда на семью Струве я увидел, что Рая была права, предупреждая меня в том, что люди эти достойны похвалы.

---

<sup>69</sup> Б. А. Струве (1897–1947), сын барона А. А. Крюденера — Струве, российский и советский музыкант и музыковед, доктор искусствоведения и профессор Ленинградской консерватории.

— Вот вам наша ладья! — сказала Рая, имея в виду корзину. — Можете ею распорядиться.

— Откровенно говоря, ведь мы у вас в гостях, а не вы у нас — не забываете! — сказала хитро Вероника. Тут я увидел на вешалке плакатик, на котором виднелся адрес моих ленинградцев: «Мойка, 95».

— Я даже забыла тебе сказать, — обратилась ко мне моя сестра. — Дело в том, что Новый год мы думали встречать у нас, так что всю провизию почти заготовили мы с Моней; но потом нам пришлось перенести место встречи сюда, но наша провизия и мы как хозяева остаемся в силе. Понятно? Поэтому мы, можно сказать, сегодня полные хозяева этой квартиры. Именно поэтому и адрес наш перелетел сюда.

— Совершенно верно! — смеясь, подтвердил Борис Александрович.

Пройдя по коридору, мы очутились в столовой, освещенной лампой с мощным абажуром. У небольшого обеденного стола стояло множество стульев, у стены находился широкий диван с ярким покрывалом; перед ним висел на стене обширный ковер; дальняя часть комнаты, с занавешенным шторами окном была отделена небольшим шкафом и другой мебелью. За этой так называемой ширмой стоял туалетный стол с зеркалом и небольшой диван.

Владельцы квартиры предложили нам расположиться на широком диване у стола.

Борис Александрович просто и по-дружески разговорился со мною. Отвечая ему, я рассказал, что приехал лишь сегодня днем, что Ленинград мне уже несколько знаком, так как я в нем уже третий раз... Он в свою очередь пояснил мне, что сами они из Италии, музыканты, что он скрипач и виолончелист, и говорил со мною, как близкий друг, и я сразу же почувствовал к ним всем симпатию за их простоту, веселость и радушие. Рае я и раньше еще верил, а теперь и сам твердо удостоверился в достоинствах этих людей.

— А где же твой дорогой Эммануил? — спросила хозяйка у Раи.

— Он скоро освободится и придет! Ну, он вообще точный, как не знаю кто! Он не опоздает, я ручаюсь!

— А наследница ваша сейчас неужели спит? — спросил Борис Александрович.

— Что вы?! — ужаснулась Рая. — Она сейчас у соседей встречает Новый год! Пирует с ними!

— Ага! Следовательно, тоже не отстает от жизни! Это самое главное!

По полу, между тем, отчаянно прыгали знакомые уже мне четвероногие обитатели квартиры, наполняя воздух лаем, мяуканьем и гамом. Было видно, что оба животных находились в крепкой дружественной спайке.

Встреча Нового года совпала, оказывается, у Бориса Александровича с новыми достижениями в искусстве, и по настоящему и энергичному требованию Раи хозяйева дали ей пачку телеграмм с новогодними поздравлениями в достигнутых успехах. Во всех них фигурировал сам Струве.

Время шло, был уже двенадцатый час. Мы все теперь ждали двоих — Моню и Нового года. Первый вскоре явился — он был тут встречен, как закадычный друг; между тем, как для встречи второго усиленно накрывался обеденный стол. Радио было включено, и мы, слушая Москву, не могли прозевать незаметный приход следующей астрономической единицы...

В маленькие бокалы было налито красного цвета вино. И все взяли по одному. По радио уже слышался шум и гудки машин на Красной площади...

— Лева! А ты?! — удивилась Рая, видя, что я и не думаю брать предназначенный для меня сосуд.

— Я не буду, — ответил я, чувствуя себя не слишком бодро.

— Вот так-так! — проговорила хозяйка. — Почему же?

— А я еще ни разу не пил никогда.

— Ну, один раз в жизни подобный грех прощается, — сказал Борис Александрович.

— Для кого-нибудь другого — может быть, но я вообще непьющий, — возразил я.

— Вот орел, а?! — восхищенно сказал Моня.

— Нет, нет! Ради Нового года! — настаивала Рая. — Скорее бери, а то сейчас часы бить начнут!

Я чувствовал себя не в своей тарелке от того, что меня упрасивали (я терпеть этого не могу), и для очистки совести взял злосчастный стаканчик.

— Обязательно нужно! За компанию! — подбадривал меня Борис Александрович. — Ради нас! Ради нас хотя бы!!!

Грянул бой Спасских часов, и мне пришлось волей-неволей... прозвенеть своим сосудом, сталкивая его с сосудами окружавших.

Все осушили свои бокалы на радость своих потомков и за собственное счастье.

Моня, задорно улыбаясь, смотрел на меня.

— Ну! — сказала Рая. — Давай!

— Ну, что же, — сказал я. — Моя миссия на этом оканчивается, это ее предел. — И я поставил nepотревоженный бокал на стол.

— Чокнуться — это мало! Нужно было еще и осушить! — смеясь, говорила Вероника.

— Не пей, не пей! — подзадоривал меня Эммануил. — Правильно! Ты их не слушай!

Под звуки Интернационала<sup>70</sup> мы сели за стол, чтобы приступить к трапезе.

— Честное слово! Хорошо, что мы так собрались! — сказала Рая.

— Вот именно! — подтвердила хозяйка. — А то мне уже надоели эти шумные новогодние балы! Крик, гам — и больше ничего! А тут у нас крепкая маленькая компания! Это истинная новогодняя встреча.

Вероника действительно была права.

— Лева так лукаво смотрит на меня, — хитро посмотрев в мою сторону, проговорила она. — Разве я не права?

— Напротив, — ответил я, — все это правильно.

Время было веселое! Весельчак Моня умело поддерживал у нас оптимистическое настроение.

Хитро моргнув мне глазом, он рассказал о моем оперном занятии в дороге. Это доставило всем, видимо, удовлетворение, так как компания вся была очень хорошо знакома с «Аидой».

После чая Рая сказала мне о существовании статьи о музыке Бориса Александровича, и по ее просьбе последний дал мне небольшую, но солидную книгу, где было немало высказываний о Верди и где была напечатана его статья.

В связи с этим Борис Александрович напомнил мне мои письма, где я писал Рае об «Аиде» и которые Рая читала ему; он сказал свое мнение о моих строках, сказав, что в них он чувствовал мое понимание и любовь к этой опере и оперной литературе.

Время было уже позднее — начало второго ночи, и я, устав от дороги, чувствовал себя утомленным и пристрастным ко сну.

Рая заметила это. Все ее поддержали, и мне предложили улечься спать. Я ответил, что еще немножко почитаю.

<sup>70</sup> До 1944 г. Интернационал являлся государственным гимном РСФСР и СССР.

В это время все расположились у освободившегося от посуды стола и решили убить время за картами. Меня тоже имели в виду.

— Нет, я не играю! — ответил я.

— Вот это я понимаю! — сказала Вероника. — Человек не пьет, в карты не играет! Прямо идеал! Истинный идеал! Честное слово!

Мне не хотелось отрывать играющих от игры, и поэтому, захлопнув книгу, я переключил свое затуманенное сознание на возившихся на полу четвероногих друзей.

— Лева! Это правильно, что ты идеал? Как ты думаешь? — спросила меня Рая.

— Да я сейчас вообще ничего не соображаю! У меня все кру́гом идет! — ответил я, побудив веселый смех своими словами. Однако чуткие люди сразу поняли меня.

— Да дайте же, товарищи, человеку возможность заснуть, — обидчивым тоном сказал Борис Александрович. — Нельзя же так! Человек две ночи не спал! Что это такое?!

— Мы сейчас тебя уложим, — успокоила меня моя сестра.

Мне предложили занять диван за загородкой у окна — я, конечно, дал согласие. Мне дали покрывало, так как я категорически отказался от одеяла и простыни, и пожелали спокойной ночи. Сняв башмаки, я улегся.

Я был в тени, и поэтому мне было легко уснуть. В моей отяжелевшей голове промелькнула мысль о том, что именно сейчас Женька уже мчится в поезде сюда, в Ленинград, затем мы с ним встретимся... я до такой степени был утомлен, что через минуту уже крепко спал, не смотря на непривычное новое ночное ложе, свет в комнате и говор играющих... Моя первая ленинградская ночь вступила в свои права...

Никогда я еще так крепко не спал, как в эту ночь. Я, видимо, даже за все ночное время не изменял своего положения, так как это был даже не сон, а просто-напросто глубокая потеря сознания...

Я очнулся, открыл глаза... Очевидно, я до такой степени выспался, что, проснувшись, я даже в первую уже минуту не чувствовал никаких остатков сна. Голова моя была чиста и свежа. В общем, не жизнь, а масленица!

Кругом меня господствовала тьма, и я еле-еле различал темные контуры предметов. Было тихо, только где-то был слышен тихий говор, почти шепот. Голос я не узнал.

«Неужели сейчас еще ночь?» — подумал я. — Странно, что я так мало спал! Интересно, сколько сейчас времени...



Спать я совершенно не хотел и поэтому решил ждать утра, не засыпая. Однако я мало верил в то, что сейчас еще ночное время: уж слишком это было странно и неправдоподобно.

Вдруг послышались шаги... Они приближались, и я различил в комнате Раю. Она зашла сюда за загородку и тихо спросила меня:

— Ты спишь?

— Нет, — ответил я.

Она подошла к окну, дернула за веревку, шторы с громким шелестом распахнулись, и... в комнату ворвались ослепительно-белые потоки света. Я зажмурил глаза от неожиданности. На улице, оказывается, уже существовал день или, по крайней мере, утро. Комната вмиг озарилась этим каскадом лучей. Это была уже не та комната, залитая яркими электрическими лучами, с вечерней мглой в углах; это была тихая, мирная, уютная комната, освещенная веселыми, голубоватыми зимними лучами дня. Стекла были заморожены, но все-таки тонкий слой льда был отличным проводником лучей, тем более, что он придавал им какой-то необъяснимый зимний, морозный отблеск. Очевидно, погода на улице была прекрасная!

— Интересно, сколько сейчас времени, — сказал я.

— Первый час, — ответила Рая.

У меня ум помрачился от неожиданности.

— Боже мой! — проскулил я. — Значит, сейчас уже день в разгаре? Я, следовательно, проспал напролет около двенадцати часов?

— Выходит, что так, — согласилась моя сестра, приводя у зеркала в порядок свой туалет.

— Все уже встали?

— Нет еще, — ответила она. — Пока что только Вероника, ее на следница и я.

— А Моня где?

— Он еще в 10 часов ушел; ему нужно было куда-то спешить.

Я натянул башмаки и принял свой дневной вид.

— Вы долго еще вечером играли?

— Долго! — ответила она. — Мы чуть с ума не сошли: до шести часов утра бодрствовали.

— Ну, помчимся мыться? — обратилась ко мне Рая, немного погодя.

Умывшись, мы пошли на кухню, где возле окна, пропускающего яркий дневной свет, в обществе хозяйки и ее дочери позавтракали, развлекаясь дружественной беседой.

Сквозь окно я видел дома, белый от снега двор, яркое небо и веселую детвору, возившуюся в сугробах.

Уничтожив за завтраком часть остатков от вчерашней новогодней трапезы, Рая стала готовиться в обратный путь. При сборах возникла интересная, но непредвиденная заминка: кашне у Раи куда-то запропастилось! Все бросились его искать, и битых полчаса исследователи рылись во всех комнатах, не получая нужного результата. Наконец, когда Рая решила уходить без злополучного кашне, она, сунув нечаянно руку в карман пальто, ко всеобщему удивлению, с торжеством извлекла на свет горячо всеми только что искавшегося преступника — виновника суматохи.

— Ну, теперь нашу «Мойку 95» можно снять,— сказала хозяйка, тревожа висевший плакатик.

— Могу вас всех поздравить с поступившим в ваши руки полным заведованием над этой квартирой,— сказала, смеясь, Рая.— А наша миссия как хозяев здесь уже окончилась.

Мы с Раей оделись, попрощались со всеми, и я взял все ту же неизменную кошелку, которая теперь уже потеряла свой былой вес и ценность, ибо она теперь была почти пуста.

— Ну, что ты скажешь о встрече Нового года? — спросила меня моя сестра по выходу из подъезда.

— Я чувствовал себя, как в раю,— ответил я.— Вообще они очень хорошие люди!

Погода была изумительная: солнце ярко светило на небе, от чего снег прямо-таки ослеплял глаза, воздух был морозный, наполненный каким-то мутновато-желтым — от солнечных лучей — морозным дымком, так что все домики с белеющими крышами были подернуты призрачной пеленой. Высоко в небе струились теплые испарения земли в виде золотистых столбов пара, светившихся под лучами зимнего солнца.

На остановке трамвая толпился народ, состоящий всего из трех человек. Пар клубами вырывался из губ этих смертных.

Мы сели в подъехавший трамвай и уместились рядом на свободных местах. В окнах были видны белеющие ленинградские улицы, дома, прохожие и мелькавшие встречные трамвайчики, которые мне все время напоминали игрушки.

Сошли мы около Исаакиевского собора, который был особенно прекрасен и величественен в этот ясный, солнечный день. У меня душа ликовала, когда я вспоминал о том, как я стремился в Ленинград и когда я думал, что я уже в Ленинграде...

А Москва, со своей школой, учителями, партами, была далеко! Ура! Я свободный член человечества!

Оставив площадь, мы пошли по улице Герцена, на которой я вчера так безуспешно искал нужную дверь. Эту дверь, в которую мы вошли, я конечно, видел вчера, но не знал, что именно это и есть дверь в доме № 50. Пройдя какую-то лестницу и коридор, мы вышли на знакомый мне уже дворик, только не со стороны Мойки, а с совершенно противоположной.

Поднявшись по лестнице, мы очутились возле нашей двери, а через минуту мы уже были дома, где смело могли забыть уличный январский мороз.

Я выкопал в Нориных сокровищах книжечку о похождениях Буратино и от нечего делать стал читать ее.

Постепенно темнело, и мы зажгли в комнате свет.

— А где же Нора? — спросил я.

— А она сейчас еще в «Очаге», — ответила Рая. — В пять часов Поля за ней пойдет. А тебе, что, скучно без нее?

— А как ты думаешь? Ты же сама знаешь, может быть, даже лучше меня, что она веселая девчурка.

Когда пришли Моня и Нора, я узнал, что сегодняшний вечер мы проведем у Мониной родительницы, побывать у которой Моня и Рая еще хотели на днях.

Мы пообедали за тем же круглым столом, после чего Трубадур уселась со мною на диване, чтобы показать мне, как она умеет читать. Ей, это, правда, потом надоело, и она попросила меня прочесть ей, как Буратино повесили на дереве головою вниз и как его потом спасли муравьи. Видно было, что ей не было скучно со мною, а я откровенно скажу: с ней я тоже не скучал.

— А я тебя давно уже не видела, — сказала вдруг малышка.

— Я тебя тоже очень давно не видел.

— А теперь видишь?

— Еще бы.

— Нет, ты скажи! Теперь видишь? — настаивала она.

— Конечно, вижу.

Моня опять куда-то должен был уйти, и Рая уговорилась с ним, что мы встретимся у бабушки. Он уложил виолончель и стал одеваться.

— Ну-ка, голубчик, сколько раз ты «Аиду» видел? — спросил он меня.

— Ровно четыре раза.

— Ого! — воскликнул он.

— Мало, — серьезно сказал я, — очень мало!

— Мало? Ведь ты ее всю знаешь! Ты еще про ее план писал нам. Я вытащил из кармана свою книжечку и раскрыл ее.

— Ну-ка, как ты ее там запечатлел, — проговорил Моня. Внимательно рассмотрев план вместе с Раей, он сказал:

— А ты здорово-таки придумал! Тут у тебя и словами кое-что записано, и графически... Но тебе тут все, конечно, ясно? Ну, вот это что за волнистая линия?

— А это один из моментов на берегу Нила, когда Аида уговаривает Радомеса покинуть Египет, — ответил я.

— А именно? — спросила Рая.

— А это Аида поет под аккомпанемент оркестра.

— Черт возьми! Молодец, парень! — И Эммануил хлопнул меня по плечу. — Только ты не гордись, — добавил он.

— Ясно, — согласился я.

— Иначе я с тобою не знаю, что сделаю...

На это я не нашел, что ответить.

Эммануил захватил свой инструмент, попрощался и вышел. Надев на Нору фиолетовую матроску, Рая стала нас тормошить, чтобы мы с Норой облачались в свои уличные одеяния. Через минуту мы уже были готовы.

На улице было уже совершенно темно, когда мы выплыли. Мороза сильного не было, и весь город покрылся тонким слоем серебряного инея. Мы шли не через Мойку, а через улицу Герцена. Выйдя на площадь, я сразу же заметил, как сильно сказалась погода на всем окружающем. Особенно поразил меня памятник: покрытый сахарным инеем, он потерял свой черный и красный цвета, и весь полностью превратился в оригинальное белоснежное изваяние. В темноте он походил на ледяного призрака. Зрелище было столь изумительно, что я не преминул обратить на него внимание Раи.

Мы приблизились к громадному, темному Исаакию, похожему на неосвещенную немую скалу, и вышли к бульвару Трудящихся, тянущегося от самой площади Урицкого. Слева темнело здание гаража, схожего с нашим московским Манежем, но только в окружении многочисленных колонн.

Мы тронулись влево, вдоль сада. По улице то и дело топали ремесленники, гудели машины, а слева от нас молча возвышались

черные, голые деревья бульвара. Трубадур все время о чем-то тараторила и тянула нас вбок, в самые сугробы.

Мы поймали где-то трамвай и сели на него. Усиленно трудясь, мы стали пробираться вперед. Я чувствовал, как колеса вагона странно и звонко почему-то шумели... Мы, может быть, въехали на какой-то мост.

— Мы сейчас мост лейтенанта Шмидта проезжаем, — сказала мне Рая.

Черт возьми! Подо мною была знаменитая Нева, а я ее даже видеть не мог. Я посмотрел в окно, но там я увидел лишь темноту, да отражение внутренностей вагона.

Мы слезли и направились по какой-то улице. Мороз крепчал и уже начинал весьма основательно хватать нас за лица. Трубадур то и дело энергично терла варежками свои щеки.

Покрутив по темным улицам, мы предстали перед нужным нам домом. Пологая, старая, широкая лестница привела нас почти под крышу.

Бабушка — полная, седовласая старушка — жила в большой комнате, разделенной на части тонкими стенами, которые образовывали целых четыре отделения. С ней жили ее наследники (а может быть, и племянники, я точно не знаю).

Рая выложила пирог, который она привезла для чая, и мы уселись за стол.

Немного погодя пришла с улицы живущая здесь семи-восьми, а может быть, даже и девятилетняя девчурка Марра — черноволосая, курносовая девица с простуженным слабым голосом. Как оказалось в дальнейшем, она была очень веселым и интересным компаньоном. Сначала она подозрительно и осторожно смотрела на меня, но потом мы с нею быстро сошлись.

Нора и она встретили друг друга как закадычные друзья; понятное дело, после их смычки пошли веселые разговоры, смех и шум.

Вскоре пришел Моня со своею неразлучной виолончелью, и мы все насладились горячим чаем с пирогом.

Малышам, видимо, вскоре надоело возиться, и они предприняли осаду, приняв меня за крепость; мне пришлось употребить в ход всю свою патриотическую бдительность и военную хитрость, чтобы отражать контратаки моих врагов. Особенно старалась Трубадур! Она то и дело с хитрым выражением на лице приближалась поочередно с разных сторон к стенам моей крепости (т.е. ко мне

самому), стараясь схватить меня за рубашку. Один раз она решила проложить тайный ход под столом, но на этот раз мой противник потерпел полный крах, так как взрослые храбро встали на мою сторону, и поход под столом не был доведен даже до четверти пути.

Затем они потащили меня в другую комнату, где у окна стояла огромная, роскошная елка, украшения которой ярко сверкали всеми цветами, составляющих радугу; но дело не в елке — оно было, оказывается в том, что я должен был ознакомиться со всеми ценностями Марриных кладовых. Мало этого; коварная и беспощадная Леонора строго потребовала от меня какого-нибудь рисунка, и мне под ее нажимом пришлось нацарапать на бумаге карандашом какое-то чудовище с головою тигра, рыбы хвостом и с птичьими лапами. Малыши были довольны, и я смело мог отложить карандаш в сторону. Ура! Они этого не заметили.

Вскоре мы стали собираться в обратный путь. Хитро посмотрев на ничего не подозревавшую наследницу, Рая спокойно обратилась к ней:

— Ну, Норочка, давай одеваться! Пора уже нам с тобою уходить, а то уже поздно.

Видя, что я не одеваюсь, Трубадур стала тащить меня за руку и плаксивым тоном спросила:

— А Лева?

— Как, Лева? — удивилась притворно ее мамаша. — Он ведь здесь останется ночевать. Тут полно места и очень удобно!

— А я не хочу! Вот и все! — запротестовала Нора, приняв не на шутку серьезный вид. — Он к нам приехал и пусть едет ночевать с нами!

— Она за тебя горой стоит, — шепнул мне, улыбаясь, Моня. — Дружба — великая вещь!

Я вполне согласился с тем.

Минут через тридцать пять — сорок мы уже были дома.

Из коридора мы вытащили складную кровать, на которой должно было быть мое ночное ложе, и установили ее у пианино. Нора уже спала в своей кроватке, когда Рая предложила нам с Моней приготовляться ко сну.

— Первая ночь, которую я провожу у вас дома! Вот она уже и наступает! — сказал я Моне патетическим тоном.

— Ты прав, конечно, — не замедлил он мне ответить.

2-ое января. Свою первую ночь в пристанище моих ленинградцев я провел как нельзя лучше: спал я как убитый, ничего не видел, не слышал и проснулся уже тогда, когда сквозь замороженное окно пробивались яркие утренние лучи света.

Моя подушка, словно живая, куда-то сползала, и я, почувствовав неладное, обернулся. Около моего ложа стояла, ехидно улыбаясь, Леонора, таща мою подушку. Она была одета в шапку и мохнатое пальто, так как собиралась в детский сад «Очаг».

— Ты спишь? — спросила она меня.

— Сплю, — пробурчал я.

— А почему же разговариваешь?

— Потому что я уже проснулся.

— А я иду сейчас в «Очаг»! — торжественно проговорила она.

— М-м, — промычал я в ответ.

На вопрос Раи, как я спал, я ответил весьма положительно. Вскоре Поля увела малышку, и Рая поторопила Моню и меня к завтраку. Я люблю всегда вставать очень рано, а тут вдруг совершенно невольно доспался до того, что меня пришлось торопить со стороны. Я, конечно, не потерпел этого, и, быстро умывшись в кухне и задав должную трепку своим зубам, привел себя в порядок. Через небольшой промежуток времени мы все уже сидим за столом. На завтрак у нас была селедка, чай и кое-какое мучное дополнение к нему. Короче говоря, завтрак был неплохим.

После этого труда Рая принялась за небольшую уборку, а я, выкопав какую-то книжонку, углубился в чтение. К моему великому удивлению и радости, именно в этот момент позвонил ко мне Женька. Я ему, безусловно, обрадовался чертовски! Трубку сняла Рая, и, когда она сказала мне, что меня кто-то кличет, я сразу вспомнил о моем Евгении. Я по голосу его уже сразу учуял, что он дьявольски рад случившемуся, т.е. тому, что он в Ленинграде, а тому, что он позвонил мне, я был рад еще больше, может быть, чем он! Доехал он неплохо, встретил Новый год на Ленинградском вокзале в Москве, а теперь он уже обитает у своей тетки на ул. Рубинштейна, откуда и звонил мне в данный момент. Приехав вчера, он не успел мне позвонить, а сегодня он решил совершить это во что бы то ни стало. Так он мне сказал это сам лично!

— Ну, как же нам сегодня встретиться? — спросил я.

— Давай я прикачу к тебе, потому что мне до безумства хочется посмотреть Исаакий.

При помощи Раи я подробно объяснил Женьке, как он может меня отыскать, и я получил от него заверение в том, что через полчаса я смогу смело его встретить у дверей.

— Куда же вы сегодня отправляетесь? — спросила меня Рая, когда я повесил трубку.

— Конечно, в Исаакиевский собор. Не иначе, как только туда.

— А завтра?

— А мы еще уговоримся, — ответил я.

— Отправляйтесь-ка завтра в Эрмитаж, — предложила Рая.

— А что?

— У меня билеты приготовлены туда. — Она достала из буфетного ящика билеты и весело произнесла:

— Вот тебе вещественное доказательство! Не думай ничего плохого! При помощи них ты можешь смело туда проникнуть.

— А где же ты их раздобыла? — нескромно спросил я.

— Некоторым из работающих выдавали их, где я преподаю.

Вскоре зазвенел звонок. Я вопросительно посмотрел на свою сестру.

— Это, наверное, твой товарищ идет, — сказала она.

Я пошел на кухню открыть дверь: так и есть! На пороге я увидел сияющего Женку, облаченного в негромоздкое зимнее одеяние. Мы весело поздоровались, он разделся и после того, как он познакомился с Раей, я усадил его в комнате на диван. Мы оба ликовали!

— Нашел-таки меня, братец? — торжествующе изрек я.

— Нашел, — ответил он.

— Вот мы и встретились здесь! Черт возьми, ты веришь? — спросил я.

— Я? Немножко верю.

— Ну, как ты вообще доехал? — полюбопытствовал я.

Он ответил, что в поезде он не скучал, так как он находился в купе в обществе крикливых и бравых «головорезов», которые всю ночь гоготали, горланили песни, дулись в какую-то игру и мешали честным смертным спать. Он, Женька, в их оргии не принимал ни малейшего участия, но зато с интересом наблюдал всю ночь от нечего делать за их действиями и с любопытством воспринимал их душещипательные песни, в которых он видел кое-какие зачатки мелодии и разгорающегося музыкального слуха.

— Эти орлы, очевидно, далеко пойдут в смысле искусства, — пробовал я угадать намерения бывших Женькиных соседей. Скорее всего, я был не прав!



— Ну, давай тронемся, — предложил я. Мы оделись, попрощались с Раей и покинули квартиру.

Спустившись во двор, мы решили идти через ул. Герцена.

— Да-а, — протянул он, качая головой.

Топая по ул. Герцена, я выразил Евгению свое сомнение насчет Исаакия: еще в Москве Монька говорил мне, что собор, кажется, закрыт на ремонт. Я только сейчас осознал свою вину в том, что не спросил об этом у Раи и поэтому клял себя немилосердно. Хотя, если бы он был закрыт, то Рая, зная о нашем желании попасть в собор, предупредила бы нас; а уж, если б он был закрыт, то, безусловно, она была бы в известности.

Завернув за угол розового здания германского посольства (кажется, это оно), мы увидели перед собою мощный фасад собора. Когда-то я мечтал о нем, когда-то, разрывая память, рисовал его, когда-то с увлечением рассказывал о нем Модесту Николаевичу и Марье Ивановне, а теперь я вновь видел его наяву, видел собственными глазами, находился рядом с ним. Бывают же в жизни счастливые этапы!!!

С тысячью мыслями и чувствами мы взобрались по розовой мощной лестнице к роскошным могучим колоннам собора... Боже мой! Я их мог чувствовать, мог осязать. А ведь каких-нибудь два-три дня назад я считал их в своем сознании такими далекими и недоступными для себя...

В маленькой будочке мы сменяли свои финансы на билеты и прошли под сводами гигантской высоченной двери — литой чугунной громады, украшенной металлическими изваяниями святых ангелов и прочего сброда из стада божьих небес.

Мы очутились у подножья роскошного алтаря в мрачном полутемном титаническом зале... пышная живопись, цветной камень, обильная позолота, рельефные украшения на стенах и потолке — все это в самом умопомрачительном блеске предстало перед нами.

За мощной загородкой алтаря высились стройные, сверкающие своими зелеными узорами прекрасные малахитовые колонны, обрамляющие гигантские изображения апостолов, самого святого Исаакия, в честь которого названо сие грандиозное чадо рук человеческих, множества святых и тому подобных изделий и предметов религиозного ширпотребя!

Сердцевину алтаря украшали две маленькие ляпис-лазуревые колонки цвета безоблачного южного неба.

Я, уже имевший счастье в былые годы любоваться этими чудесами, чувствовал радость вдвойне: и за Женьку, который это все созерцал впервые, и за самого себя.

Мы поволоклись за какой-то экскурсией, коноводом которой была какая-то сухопарая старая дева, и с самым что ни на есть серьезным видом стали вникать в ее объяснения. Обойдя кругом весь собор, где мы имели честь с Женькой видеть многочисленные прохладные, роскошные залы Исаакия, мы вместе с экскурсией подивились чуду — вырезанному из дерева до мельчайших подробностей макету настоящего собора, совершенному крепостным мастером, поистине гениальным тружеником — и подошли к прославленному опыту Фуко, помещенному в средней зале под самым куполом. Над гигантским кругом тяжело двигался металлический маятник длиной в 98 метров, который был прикован во имя науки к самому основанию креста, висившемуся снаружи над куполом. Потарачив глаза, мы полюбопытствовались у смертной, под предводительством которой мы разгуливали по залам, какого черта средний зал был украшен по стенам металлическими лесами. Она дала нам ответ, из которого мы узнали, что это не что иное, как приготовление к ремонту.

Оставив в покое сборище экскурсантов, мы решили самостоятельно вдоволь потоптаться под мрачными сводами перед явкой на божий свет.

Будучи любителем минералогии, я то и дело дергал Женьку и взглядом указывал на стены, где красовались орнаменты из яшмы, розового и белого мрамора и различные умопомрачительные узоры из малахита и чисто лазуревых куприта. Мы особенно удивлялись тому, что нигде нам на глаза не попадалась штукатурка: всюду и везде сверкали позолота и цветные камни, камни и позолота. В один неземной для меня момент я таинственно шепнул Женику, что всей этой прелести мы обязаны исключительно меди, ибо и куприт, и ляпис-лазурь, и малахит есть не что иное, как разновидности углемедной соли, или же углекислой меди.

Вдоволь насмотревшись на все эти религиозно-минералогическо-химическо-геологическо-научные красоты, мы, считая себя несколько уже «сведущими людьми в религии», выкатились на улицу, и перед нами опять предстала убеленная снегом пл. Воровского

— На вышку, что ль, грянуть? — подумал я вслух.

— А где вход-то на нее? — спросил Женька. Я указал на невысокую распахнутую дверь в стене, слева от входа вовнутрь собора. Там на скамейке восседала массивная тетка в огненном меховом тулупе и сером платке на голове. От нее шел пар, словно от паровозного котла.

— Сторож, — изрек Женька.

— Неужели закрыто, — справедливо возмущился я. Необходимо узнать! — *Vogwarts* (вперед)! — произнес я сквозь зубы, решив хоть на мгновение вспомнить ненавистные немецкие уроки в не менее ненавистной моей школе.

Баба нам проскулила в ответ, что путь на купол, короче говоря, на вышку Исаакия открыт для всех смертных и бессмертных, и так как мы на сей раз не считали себя дураками, чтобы пропустить и оставить без внимания столь прямое приглашение, то мы, конечно, возытели билеты и, благословив себя «на подвиг ратный», решили вознестись на небеса. Сто шесть метров отделяет позолоченный крест над куполом от земли, так что пусть читатель не обвиняет меня за слишком энергичное описание этого вознесения вверх.

Пропустившая нас баба в тулупе вскоре исчезла за поворотом, и мы, очутившись перед началом широкой винтовой лестницы, стали приближаться к облакам.

Ступеньки были каменные и широкие, так что было похоже все это скорее не на винтовую лестницу, а на поворачивающийся вправо коридор. Стены были из какого-то серого кирпича, благодаря чему дорога наша была чрезвычайно мрачной. Этому способствовали также и редко попадающиеся на пути тусклые электрические лампы.

Наконец, где-то забрезжили голубые лучи, называвшиеся, конечно, не иначе, как дневным светом. По моим соображениям, это был выход на крышу. Вскоре лестница вышла в своеобразную котловину, освещенную сверху яркими лучами дня, и поползла по ее стенам. После нашего визита у небольшой дверцы мы очутились под открытым небом.

Оглянувшись, я вспомнил уже знакомые места; крыша собора; по углам стоящие массивные ангелы, казавшиеся отсюда непомерно колоссальными; стоявшая возле нас — одна из четырех колоколен, напоминавшая по размерам целую часовню; сетчатый помост для хождения; различные загородки и металлические полосы у края, за которыми виднелись далеко внизу крыши синеющих ленин-

градских строений, и, наконец, посреди громадной прямоугольной крыши собора — взгромоздившаяся верхняя часть Исаакия, массивная каменная громада — средний купол, окруженный двадцатью четырьмя малиновыми колоннами. Самого золотого купола мы почти не видели с этого места, ибо мы находились у самого его подножья. Здесь свирепствовал отчаянный обжигающий ветер, и мы поспешили продолжить путь, ибо половина дороги еще не была нами достигнута. Впереди нас еще пролегли самые трудные и душераздирающие этапы пути.

Проскользнув по гладкой сетчатой поверхности помоста, мы приблизились к низенькой двери, за которой виднелся коридор, ведущий в недра среднего купола...

— Это что еще такое? — удивился Женька, нагнувшись, чтобы проскользнуть вовнутрь.

Согнувшись в три погибели, я увидел прибитую белую дощечку с выведенными на ее поверхности словами, составляющими следующее выражение: «Просьба нагибаться: дверь низка».

— Идиоты, право! — проскулил я. — Так какого же черта они вешают ее в самой двери? Над дверью ей место! Это сначала у тебя затрещит череп от смычки с потолком, а потом лишь твои глаза увидят это добрейшее предупреждение.

— Действительно! — рассмеялся Женька. — Для того, чтобы это видеть, необходимо сначала нагнуться. А раз так, то и цены этим словам нет.

Крайне недовольные этими письменами, торчавшими не на своем месте, мы углубились в тесноватый и низкий коридор. За его поворотом направо мы узрели мрачно горевшую лампу, при помощи которой наши глаза возымели возможность разглядеть многочисленные каракули, покрывавшие обе каменные стены от потолка до самого полу. Это была богатейшая коллекция различных иероглифов, нацарапанных на разные лады и разными способами. Одни были выведены красным карандашом, другие — запечатлены химическими и простыми, третьи — нацарапаны гвоздями и даже встречались такие, для создания которых трудолюбивому истукану-автору нужно было приволакивать сюда целые глыбы угля.

Тут были следы всех слоев населения: от тупоумных языковедов, которые не могли связать и двух слов, до профессоров русской и китайской грамматики. В одном предложении, где сказывалось о пребывании в этом самом месте некоего писака, я насчитал около десятка

ошибок, считая также и синтаксис. У труженика происходило временное, если не вечное, затуманивание всех центров нервной системы.

Налюбовавшись вдоволь этими памятками посетителей, мы, двинувшись снова в дорогу, наткнулись на каменную винтовую лестницу. Покружив по ней изрядный отрезок времени, мы вышли к подножью верхних колонн, окружавших главный купол. Короче говоря, это был круглый балкон, идущий вокруг всего основания этого купола. За нами виднелись гигантские окна купола, а перед нами вздымались ввысь громадкие каменные столбы, подпирающие золотое полушарие. За колоннами шла пропасть. Отсюда открывался вид на весь Ленинград. Сверкал шпиль Адмиралтейства, краснел вдалеке знаменитый Зимний, а прямо перед нами внизу виднелся покрытый снегом исторический медный всадник, верхом на бронзовом коне взгромоздившийся на скалу. Вид сверху на эту сокровищницу был поистине миропокоряющим (так! Изд.). За памятником белела ровная белая полоса Невы.

— Даже обидно становится, — сказал я, садясь на подоконник гигантского окна, — я уже второй день здесь в Ленинграде, а еще не видел, как следует, этот памятник!

— Да ведь он же сейчас-то перед нами, — промолвил Женька.

— Петьку нужно смотреть, находясь с ним рядом, а не на крыше Исаакия, — откуда он виден, словно игрушка, — ответил я.

— Вот, если б летом мы здесь были, — проговорил Евгений, — то можно было бы взять с собою на целый день провианту и подняться сюда. Воображаю, какой отсюда вид на Неву и город, когда все это под лучами солнца и покрыто зеленью.

— Можешь мне верить, — сказал я — когда я был здесь летом в 37-м году, я любовался этой картиной и смело заверяю тебя, что она достойна похвалы. Клянусь тебе всем, чем угодно.

— Однако здесь дует здорово, — изрек Женька. — Обойдем круг и давай подниматься дальше, идет?

— Давай. — Мы обошли кругом основания купола, посозерцали сверху на площадь Воровского, на серое здание «Астории», на торчавшего посреди белого поля Николая и углубились в дверцу, над которой было написано: «Вход».

Снова мы стали крутить по крутой, узкой винтовой лестнице. Но на этот раз я уже знал, что эта лестница готовит нам сюрприз.

— Женька, — обратился я к Женику, — сейчас будет открытое место.

- Какое?
- Да лестница выйдет наружу.
- Да ну?
- Вот увидишь.

Нас окружала крошечная тьма, но вот наступило просветление, и вдруг прямо нам в лицо ударила холодная струя воздуха. Над нами забелели облака, чуть пожелтевшие от выступившего зимнего солнца. Лестница вышла наружу и вилась около верхних частей колонн. Под нами была пустота, и где-то лишь внизу виднелась крыша собора. Город лежал перед нами, как на ладони. Дома стали еще меньше, а людишки и машины казались нам жалкими бактериями. Всегда, когда мне приходилось влезать на вышку, я считал самым трудным этапом пути эту наружную часть лестницы, ибо шаткие ступеньки, легкие перильца, одуряющий свежий воздух — все это заставляет тебя закрывать глаза и крепко схватываться руками за ступеньки и перила. К тому же дьявольская высота совершенно отбивала разум...

На наше счастье, на вышке, очевидно, никого не было, ибо нам не встречались встречные, и мы шли все время одни, иначе мне пришлось бы вспомнить все ужасы и неприятности встреч на этой узкой «воздушной» дороге.

Мы ползли, как ящерицы, хватаясь руками за ледяные металлические ступеньки, забывая все свое человеческое достоинство и думая лишь об одном: ради какого божества не рухнет эта хрупкая лестница.

— Черт подери! — выругался я от наплыва чувств. — И как только такая громада держится! — И я посмотрел вниз на игрушечные улицы. Зрелище действительно было умопомрачительное.

Наконец, мы достигли верхних частей колонн — массивных металлических громад, в виде листьев, фруктов и завитушек; около них кончалась наружная часть лестницы, и мы вновь погрузились в темноту.

Когда мы двигались внутри золотого полушара, мы снова вертели на лестнице, и хотя под нами также была пропасть, но это уже не была такая сногшибательная картина, как та, которую мы только что наблюдали.

Вскоре мы достигли последней площадки, от которой шла вверх чрезвычайно узкая лесенка, состоящая из десятка частых маленьких ступенек. Она походила на колодец. Оттуда били яркие пото-

ки солнечных лучей. Протискавшись наверх, мы поздравили себя с окончанием пути.

Мы были на круглом узком, шириной в четверть метра балкончике, окружавшем каменную будку с крестом наверху (самой верхней частью собора). Под окнами будки, которая, между прочим, была схожа по величине с настоящей часовней, были обозначены красной краской все четыре стороны горизонта. Края балкончика держали на себе тонкие перильца; у самого отверстия колодца, ведущего на этот балкончик, была пришвартована вывеска, запрещающая посетителям тревожить здесь фотоаппараты и находиться тут свыше 15 минут. На балкончике маячил какой-то дядька, который, впрочем, скоро смылся вниз.

Нам представилась такая картина, которую я, кажется, в жизни еще не видел. Чтобы осознать ее всю, ее следовало бы видеть, а не читать описания. Дело не в самом городе, а дело было в настоящей зимней погоде.

Сквозь разорванные, призрачные, словно марля, кучевые облака, выглядывали яркие золотые стрелы лучей, заливавшие все вокруг. Сверху город казался каким-то сказочным снежным селением, с белеющими крышами, сверкающими на солнце. Чертовски крепкий мороз вызывал глубокие испарения от домов, и в воздухе струились светившиеся, словно фосфоресцирующие, слои пара и тумана, которые оригинально размывали и скрывали далекие дома и края горизонта. Эффект всему этому придавало солнце! Не будь его, все было бы иначе. Но теперь клубы облаков и морозного тумана вместо своего обычного беловато-синего оттенка заключали в себе цвета истинного золота! Вследствие сильного мороза все сотни труб были увенчаны клубами белого дыма, но ввиду странных обстоятельств дым был до того густым и крепким, что не расплзался, а стоял строго очерченными пучками, словно вата, воткнутая в трубы. Золотистый цвет их от солнца напоминал игрушечный городок-сказку, из трубы которого в виде дыма торчала вата, посыпанная блестками. Таких дымков были сотни, от чего зрелище казалось неповторимым.

Вдали синели контуры церквей, Петропавловского шпиля и даже, что меня обрадовало, был виден темный купол Казанского собора.

Сразу из-под балкончика выходили позолоченные листы купола Исаакия, круто спускавшиеся вниз, и, глядя на них, я почему-то испытывал небольшое головокружение.

Здесь наверху мороз чувствовался еще сильнее. Было просто невозможно стоять. Все здесь обледенело, и мы сами, казалось, скоро должны были превратиться в лед. Чудовищной силы ветер со всех сторон обдавал нас, обжигал лицо и чуть было не сбивал нас с ног. Это была истинная пытка... Мы коченели, но уходить все еще было нам жалко. Мороз и ветер создавали здесь головокружительную обстановку.

— Давай спустимся, — сказал мне Женька. Мы были словно в огне. Понятно, что подобное положение не очень-то привлекало все-таки нас, и мы стали спускаться. Меня это путешествие стало сильно угнетать, и я думал, что стану счастливейшим из смертных, когда почувствую под собой твердую почву. Угнетали меня здесь, прежде всего, невыразимая высота и ощущение шаткой опоры, которая уж чересчур долго находилась под нами. Быстро проскользнув все этапы дороги, мы, наконец, вышли к колоннам под портик.

Мы были промерзшие, утомленные, но удовлетворенные. Покидая Исаакий, мы осведомились в кассе об открытках с его видами, но нам всучили какие-то несущественные картинки, и мы поспешили вернуть их обратно.

Спустившись с лестницы на площадь, мы задрали головы и оглядели толстенные мощные темно-малиновые колонны, чуть-чуть побеленные легким наплывом инея.

— Ну и громада! — воскликнул я. — Ты посмотри только!

— Да, грозная штука, — подтвердил Женька.

Мы, замерзшие до последнего нерва, добрались до угла и уговорились завтра двинуться на Эрмитаж, попрощались и разошлись.

— Ну, были в Исаакиевском соборе? — спросила меня Рая, когда я, очутившись дома, стал немного отходить от состояния полного замораживания.

— Были, — ответил я. — На вышку лазили.

— Сумасшедшие! — ужаснулась Рая. — Да кто же ходит зимой на вышку? Вы, наверное, там одни и были-то. У нас только летом ее посещают. Ведь там потрясающий холод.

— Совсем нет. Там вместе с нами существовал какой-то детина!

— Наверное, такой же безумец, как и вы? — рассмеялась она.

— Очень может быть.

— Удивляюсь, как вы живы только остались! — проговорила моя сестра.



— И очень благоразумно поступили, оставшись в живых, — ответил я, — хотя навещали мы вышку в момент временного помрачения мозгов. Не так ли? — Я с усмешкой посмотрел на Раю.

— Сейчас ты говоришь совершеннейшую истину, — согласилась она.

— Ну, ладно, бросим шутки; короче говоря, я очень рад, что навестил ее, — проговорил я.

— Я думаю! — уже серьезно сказала Рая. — Между прочим, — продолжала она, — я сегодня уже послала письмо твоей маме и обещала ей в нем мобилизовать тебя тоже на это. Слышишь? Садись и пиши письмо, пока нет никого. А то скоро придет Нора и будет тебе мешать!

Я уж было взгрозился на стул, дабы приступить к труду, но чем-то отвлекся и, прозевав золотое время, достукался до того, что мне пришлось стряпать послание в Москву уже в присутствии Трубадур, причем выдерживая энергичную ее осаду. Правда была за мной, ибо я благополучно дошел до конца письма, в котором вкратце описал дорогу и первые дни в Ленинграде, выдержав все атаки коварной до ехидства маленькой Леоноры.

Видя, что я кончил, она принялась оживленно ораторствовать передо мною, оповещая о дне, проведенном ею в детсаде.

— Написал? — угрожающе спросила меня Рая. — Наконец-то! — облегченно вздохнула она.

— Я тебе сочувствую, — примирительно пробурчал я.

Настал вечер, пришел Моня, и мы все всласть поужинали. Между прочим, за едой Рая мне намекнула что-то насчет кино, и я заметил, что это тщательно скрывалось от Норы, которая, ничего не замечая, серьезно воевала со своей порцией.

Уложив наследницу спать, Рая сказала мне, чтобы я захватил письмо и оделся: мы, дескать, отправляемся куда-то в магазин, и по дороге есть возможность опустить письмо в ящик. Моня тоже стал облачаться в пальто.

— Скорее, а то мы опоздаем: он скоро закрывается, — поторапливала меня Рая. Я вспомнил Раин намек за ужином и решил прихватить с собою свои «глаза» (очки), ибо угадывал, что мне они пригодятся в обещанном Раей «магазине».

— Куда вы, мама? — поднявшись на своей постельке, заверещала Нора.

— Мы скоро придем, спи! — ответила она. — Мы зайдем в магазин. — И успокоенная малышка, к тому же и обманутая, улеглась.

Низвергнув по пути в ящик письмо, мы через несколько минут пути по ул. Герцена в сторону, противоположную центру, очутились перед музыкальным клубом, ярко освещенным у подъезда.

Пройдя по многолюдным комнатам, мы заняли места в обширном зале с экраном впереди.

Кинокартина была неплохая. Величалась она «Возвращение». В ней рассказывалось о том, как один бедовый мальчуган решил ударить в Ленинград, чтобы попасть в Арктику, где собирался отыскать своего отца.

Ленинградцы, сидящие в зале, одобрительно взывали, когда на экране появлялись ленинградские пейзажи, вроде Аничкова моста, Невского и т.д. и т.п.

Когда мы вышли на улицу, Рая вдруг сказала мне:

— Давай пойдем к Бетиному Люсе. Он тут недалеко живет, за Мойкой.

Я, конечно, очень хотел повидаться со своим двоюродным братом и согласился. Вечер был не морозный, и пройтись ничего не стоило. Мы пересекли Мойку по маленькому пешеходному мостику и, пройдя по определенным переулкам, открыли облезлую красноватого цвета дверь в воротах одного домишки.

Люся со своей семьей занимал две низенькие комнатки, с окнами, выходящими на самый тротуар. Это были маленькие уютные комнатки, в которых проживал он сам, его женка Берта — черноволосая, невысокая, с черными веселыми глазами, и их дочь Люда, имевшая всего лишь несколько лет отроду, курчавая, черномазая шалунья, и, наконец, тучная седовласая бабушка, с сатанински крутым характером, свирепая до невозможности. Это была мамаша Берты. Родительница Люси, моя родная тетя, по прозвищу Бетя (она уже известна читателю по летнему времени), жила отдельно. Самого Люсю, читатель, очевидно, помнит еще с осени, когда он к нам прикатывал в Москву. Я повторяю, что Люся, а также и Берта, очень радушные, веселые люди. В общем, хороший народ!

Они угостили нас чаем, причем Люся и Берта интересовались очень, как я поживал в Москве, рад ли видеть их город, и, наконец, прямо сообщили мне, что я не совершил промах, зайдя к ним.

Моня вообще без шуток не может, поэтому он, чтобы подзадорить Люду и меня, стащил из-под самого моего бока отличнейшую горбушку и искушающе стал ее уплетать. Берта решила стать на мою сторону и, хитро отделив буханку, отрезала нам с Людой по целых

две больших горбушки, хотя это мало повлияло на торжествующего Моню, который все-таки отвоевал свое.

Люся проводил нас до ворот, где мы с ним и попрощались. Он велел мне передать маме и тете Любе привет и сказал, что сам не сегодня-завтра покидает Ленинград, уезжая в командировку. Я точно не помню, но он, кажется, говорил о Москве.

Обратно мы шли не спеша, так как погода была уж слишком восхитительной. Снег похрустывал под ногами, ярко светились отражающиеся блики светящихся окон в сверкавшей белой пелене Мойки...

Дома мы уже застали сладко спавшую Нору, позабывшую о том, что для нее мы ушли в «магазин», чтобы достать кое-какие игрушки и «нужные вещи», как она сама еще раньше сказала.

3-ье января. Когда я встал сегодня, Рая была уже на ногах, а Нора давным-давно в детском саду. Упрятав кровать в коридор, я тщательнo вымылся, и мы позавтракали. Моня вскоре ушел, а я принялся дожидаться Женика.

— К какому же часу нужно Норе являться в детсад? — спросил я.

— К десяти, — ответила Рая.

— Что ж так поздно?!

— Что ты! Совсем не поздно! Для зимнего времени это как раз.

Между прочим, ты не чувствовал сегодня, как Нора таскала тебя за волосы?

— Когда же это она успела? — удивился я.

— Утром, когда она уходила.

— Нет, я спал.

— А она-то старалась! Ты бы видел! Она жить без тебя не может!

— Да ну?

— Честное слово! Она мне говорила, что очень рада тебе; это я тебе по секрету говорю.

Я на это уж ничего не мог сказать.

Вскоре явился Женька. Без лишних промедлений и слов мы с ним грянули на улицу и двинулись по направлению пл. Урицкого вдоль ул. Герцена.

День был светлый, морозный, и в небе тянулись бесконечные ослепительные зимние облака. Свежий снег покрывал все горизонтальные плоскости в городе.

— Ты не забыл хоть, где Эрмитаж-то пролегает? — осторожно спросил меня Евгений.

— Что-о?! — зловеще спросил я, чувствуя в себе задетое самолюбие. — Родной мой, я могу скорее забыть твое имя! Могу заранее рассказать тебе о нашей дороге, если ты не веришь.

Мы пересекли многолюдный прямой Невский проспект и, полюбовавшись оранжевой аркой Красной армии<sup>71</sup>, двинулись дальше под ее сводами. Перед нами открылась дивная городская панорама, которую мы готовы были даже запечатлеть на бумаге: из-под сводов арки открывался вид на убеленную снегом площадь Урицкого, посреди которой высилась популярная Александрийская колонна с ангелом наверху, который потрясал крестом; за колонной раскинулся Зимний дворец, прелестей которого мы не могли видеть из-за того, что он был убран в леса. Лишь на крыше его торчали многочисленные статуи, вазы и даже одна золотая маковка церкви, имевшей место в центре здания.

Слева от Зимнего желтел корпус Адмиралтейства, а справа зеленел Эрмитаж, большая часть которого была скрыта за углом одного из домов, прилегающих к площади.

Мы двинулись вправо, огибая по полукругу площадь.

— Знаешь, чем мне Зимний не нравится? — сказал Женька.

— Чем?

— Тем, что он уж больно плоский, ровный очень. Можно подумывать, что его сверху снесли по прямой линии.

В словах Женьки, безусловно, была доля правды, и даже большая.

— Проклятие! — изрек я. — Я возмущен. Находиться рядом с Зимним и не видеть его! Реставрируют его, что ли?! Уж очень-то зловещим образом на него натянули эти леса.

Немного погодя я указал на видневшийся угол Эрмитажа.

— Вот тебе и Эрмитаж! — сказал я.

— Вот это?.. — проскулил Женька. — Ну-у! Я его что-то не нахожу слишком архитектурным: облезлое, мрачное, зеленое здание...

— Погоди, братец! — возразил я. — Это ты по одному лишь краю судишь; вот посмотришь ты на него по-настоящему, так скажешь другое! Тщательно вглядываясь в Зимний, мы различали сквозь доски, облежавшие его, белые колонны и розовые стены, но это было все-таки не то.

---

<sup>71</sup> Такое название после 1917 г. получила арка Главного штаба на Дворцовой площади.

— Печальный случай в нашей практике,— сказал Женька.— Действительно, ты прав: смотрим на Зимний и не видим его. Повезло же нам!

— Да, бывают в жизни огорчения,— согласился я.

Завернув за угол, мы очутились в узкой ул. Халтурина, перед садом Эрмитажа.

— Ого! Это я понимаю! — восхищенно проговорил Женька.

Эрмитаж был изящным трехэтажным зданием с красивыми, тонко украшенными окнами и стрелками на крыше. В первом этаже, вместо окон были ниши со статуями чугунных старцев греческого стиля. Не реставрированные темно-зеленые стены были кое-где уже потрепаны. Въезд в Эрмитаж представлял из себя мощный балкон, подпираемый плечами и руками могучими чугунными титанами, стоящими у колонн немymi темными изваяниями. С этой стороны Эрмитаж был закрыт, и я предложил Женьке атаковать его с другой стороны, т.е. с набережной Невы.

Обернувшись, чтобы еще раз окинуть взглядом гигантов у въезда в Эрмитаж, мы неожиданно обнаружили великолепный вид, включающий в себя левую сторону въезда, угол Зимнего, часть площади и даже видневшийся вдали Исаакий, казавшийся нам отсюда бледно-голубым призраком. Картина была столь красочна, что мы с Женькой поклялись друг другу во что бы то ни стало запечатлеть ее на бумаге, придя сюда в следующий раз. Особенно черные титаны и ярко-розовые стены Зимнего очень украшали панораму.

Обогнув Эрмитаж, мы двинулись к Неве, вдоль одного из ее притоков, называемого Канавкой. Это была грязная узкая речушка с желтым льдом на своей поверхности. У самой Невы через Канаву была перекинута арка, наподобие венецианской, соединяющая Эрмитаж с домами, существующими по другую сторону Канавы.

Мы приблизились к арке, именно с этого самого места, а не с какого-нибудь другого мы наблюдали еще одну, не менее восхитительную картину: то был вид из-под арки на ярко-белое поле замерзшей Невы, за которой виднелась фиолетового цвета Петропавловская крепость, окруженная многочисленными заводскими трубами. Тонкий, как игла, шпиль ее нитью врезывался в небо, теряясь где-то в вышине.

— Вот тебе и Петропавловская крепость знаменитая,— проговорил я.

— А вид-то какой богатый!— торжествовал Женька.— Композиция хорошая. Вот бы его срисовать-то вместе с аркой.

— Придется и это зачислить в серию ленинградских рисунков,— сказал я.

На набережной Невы было некоторое похолодание. Но мы, созерцая великолепную панораму, забыли обо всем на свете. Вестибюль Эрмитажа был богатым длинным залом с рядами колонн, у которых стояли многочисленные бюсты, составленные из цветного мрамора. Мы, освободившись от своих верхних одеяний, долго разглядывали эти чудеса соединения скульптуры и минералогии. Из вестибюля вела широкая мраморная сахарного цвета лестница. То было нечто неземное. Роскошные золотые украшения, соединенные с ослепительно белым мрамором, представляли убийственную гармонию, которая вызвала одновременно у нас Женькой восторженные возгласы. Я еще и раньше видел эти чудеса, но воспоминания от прошлых посещений как-то сгладились у меня в сознании, и я созерцал все это, как новое для меня.

Каждый зал открывал перед нами все новые чудеса: роскошные столы, кресла, картины, колоннады, цветной мрамор, позолота, малахитовые изделия, стекло — все это сверкало и искрилось перед нами. То был целый город из роскошных залов и переходов. Громадное золотое дерево с заводными золотыми птицами, скрытое под стеклянным шатром, многочисленные царские безделушки из цветных камней и золота, предметы роскоши, различные виды часов, то в виде башен, то в виде колец, сделанных из стекла, камней и золота, были до того пестры, что я просто терялся (нужно добавить, что Женька меня скоро, правда, находил). Картины тут были большей частью старинные; все они были тяжеловесные, темные и мрачные, отражающие стили и направления старинных живописцев.

Я особенно был поражен некоторыми коридорами, окна которых были со стеклами розового цвета, ради чего панорама на Неву и Петропавловскую крепость озарялась бледным заревом; сначала я даже поддался на провокацию и решил, что снег по странным обстоятельствам принял розовый цвет, но потом мною и Женькой обманщики-стекла были достойно разоблачены.

Мы исходили такое множество залов, что я даже не берусь судить об их количестве; а сколько залов мы не посетили? Не следует забывать, что мы исколесили один лишь только этаж!

Напутствуемые желанием охватить больше залов, мы промаячили в Эрмитаже четыре часа, хотя для того, чтобы тщательно осмо-

треть его весь, требовались не часы, а целые дни. Устали мы, как загнанные псы, но, покинув Эрмитаж и очутившись на морозе, усталость эта в нас несколько притупилась.

— Ну, куда сейчас? — спросил Женька, когда мы стояли на набережной Невы.

Я предложил пройти по набережной мимо Адмиралтейства, до памятника Петра. Мы двинулись в путь. Со стороны Невы Зимний не был в лесах, и нам посчастливилось увидеть его белые колонны, розовые стены и ряды сводчатых окон во всем их величии.

Приблизившись к плоскому линейному Дворцовому мосту, я указал на тот берег Невы и сказал:

— Вот то серое здание — Академия наук; а там вход в Зоологический музей<sup>72</sup>. Нужно будет и туда сходить.

— Конечно, — не замедлил согласиться Женик.

— В этом музее я бывал столько раз, сколько раз я был в Ленинграде, — проговорил я. — Он мне очень нравится, и я никогда не упускаю случая.

На обложке рукой автора: Продолжение 3-го января в XIV тетради.

---

<sup>72</sup> Музей основан в 1832 г. из зоологических коллекций Кунсткамеры. В 1931 г. был преобразован в Зоологический институт, а музеем стала называться выставочная часть фондов института. По богатству представленных материалов фонды музея не уступают лучшим музеям Европы.

#### Тетрадь XIV.

1941 год с 3 января до 12 июня

3-го января. (продолжение). По мосту гроыхали маленькие красные трамвайчики и многочисленные автомобили, оставляющие позади себя в морозном воздухе синюю пелену дыма.

Перед Адмиралтейством, вернее, перед его крайними корпусами, стояли гигантские позеленевшие якоря, охранявшие въезды в ворота. На набережной, перед корпусами тянулись ряды одетых в иней деревьев, похожих на стеклянные гилянды.

За Адмиралтейством, наконец, мелькнула скала с Петром на коне. Мы вышли на обширную площадь Декабристов, окруженную с боков оранжевыми корпусами Адмиралтейства, сзади ограниченную мощным Исаакием, темневшим в морозном воздухе из-за деревьев, а спереди — отрезанную Невой, к которой спускалась на набережной широкая каменная лестница с громадными вазами по бокам.

Нам волей-неволей пришлось причислить еще одну панораму к серии рисунков, ибо величественный Петька с простертою дланью, восседавший на точно живом коне, представлял исключительное зрелище среди обширного белого садика на площади с лазоревым Исаакием позади. Мы избрали подходящее место, с которого был виден вдобавок и один из фонарей перед памятником, так как он только обогащал композицию картины.

Почти не веря своим глазам, мы обошли кругом памятника, кое-как разобрали запорошенные снегом слова: «Петру Первому Екатерина Вторая», рассмотрели его со всех сторон, и лишь тогда я позволил себе произнести следующие слова:

— Вот теперь мы его созерцаем по-настоящему! Не то, что с крыши Исаакия.

Мы торчали перед памятником до тех пор, пока мороз совершенно не образумил нас. Чувствуя, что сгораем дотла, мы решили отдавать концы.

Мы обогнули садик, в углу которого стояла уже давно известная мне какая-то будка, назначение коей я не знал, и двинулись дальше.

Когда мы двигались мимо мощных стен и убийственных по величине колонн Исаакия, мы невольно задрали свои головы, чтобы лишний раз посмотреть на этого гиганта, и многозначительно переглянулись.



— Когда-то мы мечтали обо всех этих картинах, — сказал я, — и — теперь они перед нами наяву. Прямо как во сне.

— Привыкли торчать в Москве, — добавил Женька, — вот и кажется, что это не действительность.

Около Исаакия мы поспешили расстаться, ибо оба почти превратились в лед. Мороз был просто телораздирающий, я даже удивляюсь, как мы могли выдержать такой.

С большими усилиями я достиг ул. Герцена и нужной мне двери. Пройдя через парадное, я пересек дворик и, поднявшись по лестнице, предстал, наконец, перед «вратами моего ленинградского логовища».

Когда сегодня Нора пришла из детсада, она решительно подошла к Рае и почему-то обидчивым тоном заявила, что завтра у них новогодняя елка и им «всем велели придти с какими-то хлопушками».

— Какие хлопушки? Я что-то не понимаю, — рассмеялась Рая.

— А вот что на елке. — И Нора указала на пару хлопушек, висевших на ее елочке.

— Зачем же?

— Велели их зачем-то к платью сделать, — лопотала малышка.

Ничего не понимая, Рая позвонила руководительнице сада и узнала, что хлопушки должны были быть пришиты к платью, как украшения.

— Странный наряд, — удивилась Рая, вешая трубку.

— Да я и сама не знаю, зачем их нужно к платью, — проговорила Леонора.

Лида притащила свои хлопушки, и мы соединили их со своими. Целый вечер мы возились вместе с этими хлопушками, привешивая их шелковому кремовому платьицу, которое Нора облачила на себя. Большие хлопушки мы разрезали и делали новые, так что, в конце концов, у нас на пианино уже лежали ряды золотых, серебряных и цветных хлопушек.

Рая все время удивлялась:

— Первый раз слышу о таком наряде: хлопушки на платье! Вот чудеса! Не понимаю, что за наряд!

Нужно сказать, что мы все полностью соглашались с ней. Леонора тоже была чрезвычайно удивлена и все время смеялась над хлопушками, болтавшимися на ней.

— Мошенничают они, вот что! — вдруг заявила она во всеуслышание.

— Ну-ну,— с шутливым упреком произнесла Рая.

Когда Нора уже спала, пришел Моня, и мы поужинали. Заведя разговор об «Аиде», Моня мне подал надежду, что, если у них в библиотеке филармонии будут ноты этой оперы, он притащит их мне.

Когда я раскладывал свою раскладную кровать, Моня вдруг спросил меня:

— Ну, как? Были в Эрмитаже?

— Были.

— И каково впечатление?

— Хорошее,— ответил я.— Женья даже сказал, что, отправляясь в музей или на выставку, ждешь всегда большего, а видишь меньшее и разочаровываешься, а здесь он мне сознался, что ждал меньшего. Он даже и не ожидал таких сюрпризов.

Я извиняюсь перед читателем, что забыл об этих Женькиных словах упомянуть раньше, но теперь, надеюсь, я уже вполне исправил этот промах.

— Значит, он меньшее ожидал? Тем лучше для нашего Эрмитажа,— сказал Моня.— Скажу, не хвалясь, об этом говорят очень многие приезжие, посетившие его.

**4-ое января.** Сегодня мы с Жеником никуда не ходили, и каждый отсиживался в своей хижине; правда, я все равно время не потерял.

Нора с самого утра улетучилась в детсад, где пробыла почти целый день; после она оживленно рассказывала нам всем о чудесах, существовавших на их празднике.

День сегодня был пасмурный, так что оконные стекла, покрытые льдом и снегом, совсем не пропускали света. Пришлось открыть внутреннюю створку форточки, находившейся в нижней части окна, чтобы лед немного стаял. Рая убрала с подоконника кастрюли, ибо образовалось зловещее море воды, каскадом падающее на пол в подставленную ладью. Когда снег немного стаял, можно было видеть сквозь балконную решетку белую полосу Мойки и дома на том берегу. Я, вспомнив свое давнишнее желание — по приезду в Ленинград нарисовать вид из окна квартиры моих ленинградцев,— решил именно сегодня удовлетворить свой интерес и тем самым открыть счет моим ленинградским рисункам.

Расположившись частью на столе, частью на подоконнике и вытащив одну из белых карточек, которые я захватил из Москвы для рисования, я принялся священнодействовать. Карандаш у меня был

неважный, бледный какой-то, поэтому и рисунок у меня получился не слишком приветливым.

В комнате горел свет, так как без лампы ничего не было бы видно, и было похоже на то, что сейчас якобы был уже вечер.

К Моне скоро пришли музыканты — одна пианистка и скрипач, по внешности ничем не выдающие своей профессии. Оказывается, они явились для репетиции. Выставив на середину комнаты пюпитры, Мона извлек свою виолончель, и они расположились. Лишь только они начали, как я сразу же обратил внимание на мотив: честное слово! Он не был лишен приятности. Сразу чувствовалось, что они играли стоящую вещь. Мотивы кое-какие я запомнил, так как они глубоко врезались мне в память. Рая мне шепнула, что это трио Чайковского, его единственное трио.

Под музыку мне как-то и водить карандашом стало легче, и вскоре я мог смело отложить карандаш в сторону. Рая тщательно сверила готовый рисунок с реальностью и была удивлена тем, что я даже характерные черты сломанной балконной изгороди сумел подметить. На мой взгляд, рисунок вышел бледным и не слишком убедительным, но я стремился в нем изобразить лишь то, что я сам видел, и не вдавался в грезы живописи. К моей радости, я не заметил, чтобы Рая осталась моим творением недовольна, а с ее мнением я привык считаться!

Под вечер Рая сказала мне, что тетя Бетя, переехав на новую квартиру, пригласила нас сегодня отпировать новоселье. Мона ушел по делу и должен был сам явиться на место жительства своей родственницы.

Вечером мы с Раей отправились в путь. Поймав на Гороховой улице троллейбус, мы двинулись дальше, действуя четырьмя колесами машины.

— Знаешь, Рая,— сказал я,— мне почему-то кажется, что не я приехал к вам, а что ты приехала к нам в Москву. Уж очень-то обстановка в троллейбусе напоминает московскую.

В ответ на это Рая мне сообщила, что звонивший домой Мона сказал ей о нотах «Аиды», полученных им из библиотеки филармонии. Я мигом же вознесся на десятое небо.

Вышли мы у Фонтанки; покружив по переулкам, весьма узким и темным, мы набрали на переулок Ильича и отыскиали в нем нужный нам дом. Тетя Бетя, вместе с Саррой и Азарием, обитала в двух комнатах, сплошь заставленных мебелью и обвешанных коврами.

Нас они встретили с напущенной радостью. Понятно, что старая тетка сейчас же стала выуживать из меня сведения о жизни ее московских родственников и о моей жизни, в частности. Два детеныша Сарры и Азария уже спали, и только громадная ель с побрякушками, темневшая в углу, напоминала об их существовании. Бузотер Витька уткнулся лицом в подушку и свистел, как паровоз, а малышка Лиля ввиду своего чрезвычайно малого жизненного стажа спала, превращенная в маленький узелок. Во время чая явился Моня со своею неразлучной виолончелью. Немного погодя, вспомнив о чем-то, он извлек из нотного отделения брезентового футляра инструмента увесистую книжечку и сказал мне:

— На! Получай свою «Аиду»!

Прежде всего, я тщательно стал просматривать ноты с самого начала. Пробегая взглядом по строчкам, я рождал в сознании саму музыку и этому мне помогали слова, напечатанные вместе с нотами. Наконец-то я видел, как выглядит «Аида» в изображении нотными знаками!

— Я рад! — с сердечной благодарностью сказал я Моне, сидевшему около меня.

— Я очень доволен, — ответил он мне.

Мне не терпелось увидеть то, как выглядят в нотах мои любимые места оперы, но я сдерживался от преждевременного просмотра последующих страниц; я хотел по нотам провести всю оперу, так что все равно ничего бы не пропустил. Все же особенный соблазн увидеть ноты куплетов Амонасро в третьем действии заставил меня отыскать их, и я тщательно разобрал их, соединяя мотив со словами. Тут я впервые узнал правильные слова этих куплетов. Амонасро, разжигая в Аиде ненависть к Египту, напоминал ей о злодеяниях египетских деспотов и палачей! Он говорил: «Вспомни, вспомни, как враг, бесчестья полный, жилища и храмы безбожно осквернял! Беспощадно струились крови волны; губил старцев, детей и матерей!» Эти патристические слова эфиопского царя-пленника возбуждающе действовали на меня.

Мы не допоздна пробыли у своей старой тетки. Моня скоро должен был опять куда-то уйти, и мы с Раей решили, что пора уже удалиться домой.

Азарий проводил нас до троллейбуса. Погода изменилась, и ветер нас изрядно потрепал на остановке; но вскоре подкатил электрический тарантас, и мы покатали. Всю дорогу, я, конечно, тревожил ноты, уткнувшись в книгу.

Около ул. Герцена мы вышли.

Когда мы подходили к дому, пересекая площадь, Рая неожиданно спросила меня:

— Ну, а чем же ты сейчас больше всего интересуешься? Определенно выбрал уже что-нибудь?

Я ей сказал, что некогда, как она уже знает издавна, я почитал, да и сейчас не забываю иногда, — историю, астрономию, биологию, геологию и географию, но постепенно одни из них стали проявляться яснее в моих интересах, чем другие, и теперь у меня определились две: геология в лице минералогии и палеонтологии и биология в лице зоологии.

— Теперь остается ждать, — сказал я, — какая из них победит другую. А для жизни человека обе они чрезвычайно нужны: геология питает промышленность и многие отрасли хозяйства своим изучением и использованием минеральных богатств, а зоология помогает человеку развивать свое хозяйство, улучшать продукты питания и даже разгадывает новые загадки в природе, ответ которых помогает жить, давая новую энергию нам.

Я увлекся, как младенец новой игрушкой, и, наконец, получил от Раи ответ, в котором она вполне поддержала меня.

Весь вечер дома я не выпускал из рук «Аиды», и только ужин заставил меня оставить ее в покое.

5-го января. С самого утра я снова взялся за «Аиду».

— Вот ты сейчас ее просматриваешь, — сказал мне Моня, — а что ты, собственно, видишь?

— Очень многое. Во-первых, проверяю себя в моих знаниях «Аиды», во-вторых, я читаю слова, в-третьих, вижу, как именно записаны те или иные места оперы нотами, и, вообще, смотрю, какой вид она имеет, записанная нотными знаками.

Моня, казалось, был вполне удовлетворен.

Как только мы кончили завтракать, к Моне опять пришли музыканты — вчерашний скрипач и незнакомый мне пианист, который, по словам Раи, очень хорошо владел игрой на фортепьяно.

Они расположились у пианино и снова начали репетировать трио Чайковского. Рая в это время принялась за большую уборку, а мне долго скучать не пришлось, ибо вскоре явился Женик, и мы отправились в Зоологический музей. Женька даже захватил с собою небольшой альбомчик с отрывными листами, чтобы запечатлеть в нем кое-как существ из музейных редкостей.

Ночью выпал глубокий снег, покрывший собою все улицы и крыши. Мороз пропал, и поэтому находиться на улице можно было хоть до самого вечера.

Мы прошли мимо громады Исаакия и вышли в сад Трудящихся, идущий к пл. Урицкого. Посреди сада в сугробах высился на глыбе чей-то бюст. По верблюду, лежащему у основания памятника, я определил, что это был Пржевальский<sup>73</sup>, ибо я его когда-то смотрел на открытке.

Мы двинулись по газону и подошли к пьедесталу, разглядывая памятник вблизи. Чугунный, а то, может быть, и бронзовый, верблюд, держа на себе походные ранцы, невозмутимо лежал на камне покрытый снегом.

— Два разных ученых, — сказал я. — Один — друг народов, а другой — палач!

— Кто это такие? — спросил Женька.

— Миклухо-Маклай<sup>74</sup> и Пржевальский, — ответил я. — Первый — борец за свободу цветных народов, а этот — деспот, презиравший жителей Центральной Азии, срывающий китайские деревни и уничтожающий монгольских стариков и детей. Палач!!! Изверг!!! Хорош ученый-путешественник! Нечего сказать! Варвар!

— Это-то так, — подтвердил Женька.

Немного дальше мы встретили пустующий фонтан в окружении многочисленных изваяний, изображающих Глинку, Лермонтова, Некрасова и др. гениев России. Выйдя к Зимнему, мы грянули мимо Адмиралтейства к Дворцовому мосту, за которым уже темнела Академия наук.

— Вот отсюда хорошо Петропавловская видна, — сказал я. Мы остановились. Перед нами за деревьями стоял розовый Зимний дворец, обращенный к нам профилем, слева белела Нева, а за нею, далеко вдали, — виднелась лиловато-серая Петропавлов-

---

<sup>73</sup> Пржевальский Н. М. (1839–1888) — русский натуралист, путешественник, исследователь Центральной Азии. Нередко при жизни и после смерти Пр-го обвиняли в жестоком обращении с туземцами. Однако по большей части эти суждения основывались либо на домыслах, либо на плохом представлении о тех препятствиях, которые ему приходилось преодолевать по ходу экспедиционных маршрутов, включая нередко враждебное отношение местных жителей к белым путешественникам

<sup>74</sup> Миклухо-Маклай Н. Н. (1846–1888) — русский этнограф, путешественник. Исследовал районы Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, сумел установить доверительные отношения с папуасами Новой Гвинеи и даже стать полноправным членом местного социума.

ская крепость со своим пузатым куполом и тонкой колокольней со шпилем.

— Вот вместе с левым углом Зимнего вид на крепость действительно неплох, — сказал Евгений.

Мы пересекли Неву, пройдя по широкому, с деревянными тротуарами, мосту и бесцеремонно пройдя по изгибающимся влево трамвайным рельсам, очутились у входа в Зоологический музей. За углом Академии стояла громадная роstralная колонна с сидящими Нептунами у основания, на которую я обратил Женькино внимание.

На лестнице, ведущей в зал музея, стоял простой стол, играющий роль кассы.

— Учащиеся? — спросила сидящая мадам.

— Не иначе, — ответил Женик.

— Десять копеек билет, — отчеканила она.

— Что-о? — удивился Женька.

— Десять копеек билет, — повторила та.

— Боюсь, что у нас столько денег не хватит, — обратился ко мне Евгений. — Как ты думаешь?

— Да... очень дорого! — серьезно ответил я, скрывая улыбку.

Получив билеты, мы поднялись в зал.

Музей занимал всего лишь один зал, но он был столь велик, что был разделен на два этажа, причем второй этаж находился на балконе.

Мы исколесили все отделения, созерцали гигантский скелет кита, занимавший место в два этажа, созерцали рыб, млекопитающих, птиц и даже дьявольски роскошных бабочек, расположенных в верхнем этаже.

Женька запечатлел на бумаге лошадок, козочек и кое-каких хищных тварей с хитрыми рожами. Все это были чучела, но многие из них были сделаны как бы на лоне природы и выглядели весьма художественно. Женька срисовал даже труп мамонта, хранившийся под стеклянным кубом. Это весьма популярный и известный труп молодого мамонта, прекрасно сохранившийся во льдах и перевезенный в Академию в полной сохранности.

К нам по дороге привязался один бойкий мальчонка, который исходил с нами добрую часть музея, ежеминутно уверяя нас, что все звери и рыбы, что спрятаны здесь под стеклом, он сам видел или ловил в водах и лесах возле их деревни. Дело дошло до того, что он, оказывается, «видел» у себя в деревне даже прекрасную Уранию —

бабочку, водившуюся на Мадагаскаре. Но не одна она, по его словам, обитала в районе его деревушки: всех поголовно существ — и полярных, и тропических — он ловил с ребятами и в лесах и реках вокруг своей деревни под Ленинградом. Удивительный мальчуган! Мы все время дивились его зоологическим способностям в области «отливания пуль».

Пробыли мы в музее до самого закрытия. Женька еще хотел смалевать верблюда, но нас к нему второй раз уже не допустили и вместе с остальными посетителями, как стадо баранов, погнали к выходу.

— Мошеники! — проскрежетал я. — Этакой наглости я еще нигде не видел! — Но за нами вежливо закрыли дверь.

— Ничего не поделаешь, двинемся по домам, — предложил Женья.

Обратно мы шли по бурлящему Невскому, войдя в него с самого его начала, у сада Трудящихся. Помяв себе и другим бока в толпе пешеходов, мы подошли к углу улицы Герцена.

— Ну, разойдемся, что ли? — спросил я.

— Знаешь-ка, что? — сказал Евгений. — Пойдем-ка сейчас ко мне. Ты, таким образом, будешь знать, где я обитаю.

— Идет, — согласился я. — Ты, Женька, гений! Недаром тебя так прозвали — Евгением!

Вскоре мы уже были перед Казанским собором. У тучной лавочницы Женька справился, нет ли у нее соевых конфет, но, к несчастью, таковых у нее не существовало. Мрачно облизываясь, мы тронулись дальше.

— Это что такое? — вдруг произнес Женька. — Наш московский Василий Блаженный?!

Я посмотрел вдоль канала Грибоедова, протекавшего мимо Казанского и Дома книги, и увидел вдалеке яркий, пестрый храм с цветными куполами, из которых, правда, один был золотой.<sup>75</sup>

— Вот тебе чисто русское творенье в Ленинграде! — сказал я.

— Это-то да, — согласился Евгений, — да только он с отступлением от русского зодчества: купол-то золотой у него один! Это уже западная черта. Что же он подкачал? А наш Василий Блаженный полностью русский до концов крестов своих. А этот нет! Купол этот с золотом мне что-то не нравится. Да-а!

---

<sup>75</sup> Имеется в виду Храм Спаса-на-Крови, сооруженный в 1907 на средства, собранные по всей стране, по проекту архитектора А. Парланда на том месте, где 1 марта 1881 г. народолюбцами был убит Александр II.



— Но зато он вносит оригинальное разнообразие, резко отличаюсь от других куполов,— сказал я.

Но Евгений явно был недоволен этим золотым.

Проходя по Аничкову мосту мы, как почитатели искусства, конечно, не могли пройти мимо его замечательных коней, не взглянув на них и не раскрыв на них свои рты. Особенно старался Женька, безумно, но справедливо обожавший коняшек.

Далее мы спустились на набережную Фонтанки и, дойдя до первого угла, свернули в переулок.

Женина тетя жила в небольшой квартирке, в которую мы попали не иначе, как покрутив сначала по лестнице и в коридоре. Тетя оказалась гостеприимной, полной, седовласой пожилой женщиной; дядя Женькин был уже стариком, но бодрым и бойким; он был невысок, солиден и с пышной седой шевелюрой, делающей его похожим на ученого, доктора или на музыкального маэстро. По словам Женьки, он иногда употреблял в ход свою внешность. Будучи чудаковатым и смелым, дядюшка всегда почти лез без очереди везде, говоря, что он врач и спешит к пациенту, у которого черт знает какая болезнь (и люди охотно верили ему, созерцая с уважением его гриву). Однажды его изловил милиционер, ибо старик прошел поперек улице... А известно, что ленинградские милиционеры свирепы, как бестии...

— Гражданин! — загремел представитель уличной власти. — С вас штраф! Остановитесь!

Старик шел, не оглядываясь.

— Послушайте! — взвыл милиционер. — Я вам же говорю!

Дядя, не обращая никакого внимания, шел своим путем...

— Я отведу вас в участок!!! Штраф!!! — ревел член милиции.

Наконец, дядя остановился и подозрительно оглянулся, крайне удивившись милиционеру, отбивавшему возле него пляску.

— Гражданин, с вас штраф, или я вынужден буду...

— Что? — спросил дядя с непонимающим видом.

— Вы прошли там, где не следует, и поэтому я...

— Простите,— сказал вежливо старик.— Я...— он указал на свои уши,— плохо слышу... я, в общем, это... м-м-м... глухой!

Сколько ни бился милиционер, он ничего не смог поделаться и так и не получил штрафные деньги. Махнув рукой, он отошел. Дядя спокойно продолжал путь! Глухого ему играть, без сомнения, помогла его старческая внешность и все та же неизменная шевелюра! Право, находчивый старик! Орел!!!

Я недолго пробыл у Жени и даже не снимал верхней одежды. Через несколько минут я уже топал обратно по переулку. Я знал теперь, где он живет, а это была моя цель сегодняшнего посещения.

Выйдя к Фонтанке, я сейчас же посмотрел на Аничков мост. Кони его темнели по краям, и это радовало меня: ведь это Ленинград, его достопримечательность! В Москве этого не найдешь.

Я быстро дошел по Невскому до Мойки и решил дойти до дому, следуя вдоль ее русла. По ее набережной тянулись ряды деревьев... Я шел у самого барьера, смотрел на ледяную поверхность реки и напевал про себя финал первого действия «Аиды». Радостная мысль, что я в Ленинграде, все еще трепетала во мне! До сих пор я не мог еще успокоиться, и я еле-еле верил в то, что все это не химера и не иллюзия.

У Раи я застал знакомых, довольно симпатичных супругов. Оба были низенькие, она — светловолосая, а он — черноволосый. На диване вместе с Норой шумно возилась их маленькая дочка Ирма, облаченная в ослепительно белое платье. Я пришел как раз к обеду.

Рая представила меня, назвав меня не двоюродным братом, а, как она всегда любит говорить, своим племянником. Мне, конечно, все равно!

Не знаю почему, но я был не в духе и молча занял свое место.

— Что это ты так мрачно смотришь на нас? А? — спросила меня Рая.

— Да так что-то... — пробурчал я.

Обед был прекрасным! Рая раздобыла гуся, и мы имели возможность уплетать гусиную шейку с соусом.

Моня за обедом сказал нам, что завтра в Малом зале консерватории их трио будет выступать перед музыкальными кругами для показа еще несозревшей пианистки, которая будет выступать в их трио. Оказалось, что это именно ту пианистку и будут слушать, которая была у нас на репетиции вчера днем. Моня пригласил завтра всех нас; мы все, конечно, не сопротивлялись.

Незаметно подошел вечер. Знакомые ушли, еле-еле оторвав друг от друга мирно беседующих малышей, после чего Нора сейчас же окунулась в свою постель, а мы стали ждать более позднего часа. Я, конечно, занялся своей «Аидой», а Моня решил немного попилить на виолончели.

6-ое января. Сегодня с Евгением мы решили посетить Петропавловскую крепость, так как и Рая и Моня сказали мне, что раз я не был в ней в моих предыдущих пребываниях в Ленинграде, то я не буду знать «цель жизни», если не соберусь навестить ее.

Явившийся Женька сейчас же уволок меня на улицу, так как мы хотели пораньше очутиться в застенках, к которым мы и стремились. Мы вышли во двор.

— Боже, неужели мы в Ленинграде? — проскулил я, решив выудить у Женьки признания на этот счет.

— А я уже привык, — ответил он.

— Э-э, братец, — сказал я, — я слишком долго желал сюда попасть, чтобы свыкнуться с этим так скоро.

По дороге Евгений сказал мне, что тетя его ему сегодня напомнила о билете, чтобы не опоздать с выездом в Москву.

— Это верно, — проговорил я. — Нужно заранее о нем позаботиться.

И мы решили свернуть к Невскому, чтобы заглянуть на городскую станцию.

— Что-то мне тяжело делается внутри при мысли об отъезде, — признался я, качая головой.

— И мне нелегко, — изрек Женька.

Мы прошли через Мойку, мимо Казанского собора и, дойдя до торговых рядов, поднялись по широкой лестнице городской станции. Мы долго толкались внутри нее, возле касс, и, наконец, узнали, что билеты следует заказывать за четыре дня до отъезда, дабы получить их за три дня. Мы, как подлецы, хотели сначала выехать как можно позже, чтобы даже опоздать в школу, свалив вину на трудность при добыче билетов, но эта нечестная мысль о продлении нашего пребывания в Ленинграде была вскоре нами оставлена.

Мы решили зайти сюда послезавтра, чтобы выехать 11-го числа.

— Грешники мы с тобою! — сказал я трагически. Не успели освоиться, как уезжать пора! Вот об отъезде-то я не забывал, когда думал о Ленинграде! За что нас дурак-господь не милует?! Олух он за это! Первый подлец на небе!

Ориентируясь на золотой шпиль Адмиралтейства, мы шли по Невскому и вскоре вышли к Зимнему. Все время, в течение которого мы неслись по набережной Невы, мы любовались широкой панорамой на снежном речном поле и на крепость на том берегу. Морозы совсем пропали, и, очевидно, все последующие дни будут вполне подходящими для пребывания на улице под зимним небом.

Мы приблизились к Троицкому мосту, перед которым стоял памятник коротышке Суворову, облаченному для лести в римские

доспехи<sup>76</sup>. Мост был открытым, но мощным, с многочисленными каменными столбами, играющими роль фонарей.

На мосту мы встретили общипанного дядьку, виновато топтавшегося возле тротуара; рядом с ним бесновался милиционер с удивительно жестокой и свирепой мордой, изъеденной оспой, который честил несчастного на все корки, проклиная и кляня его.

— Поперек моста, наверное, перешел дядька, — сказал Женька.

— А рожа-то у милиционера какая злобная, — заметил я. — Рад, скотина, добыче! По лицу видать, что его интересует больше не порядок в городе, а его репутация как исправного живодера, хватавшего и правого, и виноватого за шиворот!

— Бывают такие, — сказал Евгений.

— К несчастью, — добавил я. — Честных людей мало!

Чтобы попасть к стенам крепости, нам пришлось еще пройти небольшую изогнутую часть набережной, возле которой по льду реки свистели лыжами пузатые детишки, а потом пересечь по деревянному мосту небольшой приток Невы.

— Вот мы и на острове, — сказал Женька, — а до сих пор были на материке. Хотя нет! — вспомнил он, — вчера-то, будучи в Зоологическом музее, мы также были на острове. Так ведь?

— Еще бы, — не замедлил согласиться я.

За каменной стеной мы узрели громадный двор, в котором стоял сам Петропавловский собор с пузатым куполом и тонкой колокольней со шпилем. Вблизи он имел совсем другой вид, чем издали.

— А архитектура-то неплохая, — заметил Женька, имея в виду многочисленные ряды колонн, окружавших бледно-розовое здание собора. Смотря на конец шпиля, мы думали, что он согнут в нашу сторону, но это был только обман зрения.

В кассе собора мы получили билет, и нас погнали к Алексеевскому равелину, где находились сами камеры. Его мы с большим трудом отыскали за Монетным двором; сначала нас занесло куда-то к американским горкам, но вскоре господь бог наткнул нас на путь истины.

Мы вместе с какой-то экскурсией, которой руководил безрукий невысокий мужчина в рыжем тулупе, исходили многочисленные камеры и карцер, где видели истинную обстановку, где протягивали тяжелые дни заключенные. Покинув равелин, мы предприняли нападение на сам собор.

---

<sup>76</sup> Памятник А. В. Суворову установлен по приказу императора Павла I после смерти полководца. Выполнен скульптором М. И. Козловским.

Вдруг послышался сверху какой-то тонкий, с грустным оттенком звон, прозвучавший как-то тоскливо и одиноко над снежным покровом домов. Мы остановились.

— А наши кремлевские часы лучше бьют! — самодовольно произнес Женик. После двух очередей колокола замолкли... Мы вошли в собор, увенчанный знаменитым шпилем<sup>77</sup>.

У входа в зал нас зверски обобрали, лишив всех двух билетов. Зал был громадным! Справа за загородкой высились во всю стену алтарь, сделанный сплошь из позолоты. Кроме сверкавшего золота и мелких икон с изображениями неземных существ, в алтаре больше ничего не было! Обилие золота делало картину оригинальной до предела! Это было похоже на какое-то золотое море... Зал был высок, и его своды поддерживали мощные колонны, покрытые сложнейшими золотыми украшениями. Одну из колонн окружал небольшой балкончик, покрытый золотом и цветными «святыми» картинами; очевидно, в былые времена с этого места горланил какой-нибудь пузатый священник, безумно глаза на толпу православных. Благородным грабителям много было б работы в этом сверкающем от золота зале. Я, правда, не осуждал бы их, а относил бы их действия к непосредственной энергичной антирелигиозной пропаганде...

За многочисленными загородками, во всех углах зала белели мощные сундукообразные мраморные гробницы царей с громадными лежащими на крышках золотыми крестами. Мы видели гробницы Петра, Екатерины и различных так называемых великих князей и княгинь, которые сейчас совершенно не были великими...

Удовлетворившись всем, мы покинули территорию крепости.

Пройдя Троицкий мост, мы пошли не по набережной, а прямо, к видневшейся обширной площади. В ней я узнал площадь Жертв революции<sup>78</sup>, так как в садике, расположенном на ней, мы открыли многочисленные запорошенные снегом могилы и каменные стены с патриотическими надписями на концах. Вдали мы увидели торчавший из-за домов известный уже нам храм, напоминавший Василия Блаженного, не было сомнений, что за ним пролегал канал Грибоедова, а дальше — были Невский и Казанский собор. Ориен-

---

<sup>77</sup> Петропавловский собор — старейшее здание Петербурга, воздвигнут в начале XVIII в. по проекту архитектора Д. Трезини. Усыпальница членов российской императорской семьи.

<sup>78</sup> Это название с 1918 г. по 1944 г. носило Марсово поле. Вплоть до 1933 г. здесь хоронили видных деятелей Октябрьской революции, советских и партийных работников.

тируясь на пестрые купола храма, мы покинули площадь, оживленно беседуя обо всем виденном.

Когда мы огибали этот ленинградский «Василий Блаженный», мы заметили, что все его пестрые стены, оказывается, не разукрашены, а выложены цветной мозаикой, что представляло, конечно, некоторое преимущество перед нашим московским Васькой Блаженным, размалеванном просто-напросто красками. Мы, надеясь, что в таком роскошном здании должен быть не иначе, как музей, справились на это счет у какого-то бородача, яростно трущего метлой тротуар, но мы были совершенно ошеломлены, узнав, что там расположен какой-то склад.

Выйдя к каналу Грибоедова, мы двинулись вдоль его русла к Невскому и распрощались друг с другом, как только очутились возле Казанского собора и Дома книги. Я пригласил Женьку вечером к себе, так как помнил наказ Раи и Мони обязательно взять его с собою на концерт.

Женик явился к нам точно к сроку. Мы еще даже имели время поболтать вдоволь, в то время как Трубадур о чем-то спорила с пристававшей к ней Лидой. Потом Нора стала с увлечением рассказывать Женику о своих домашних делах в кругу игрушек, иллюстрируя перед ним некоторые свои библиотечные и вещественные сокровища.

Мы с Раей уговорили Женьку пойти на концерт, и, когда он дал согласие, она предложила нам нарисовать там все трио. Я взял несколько чистых карточек, а Женька предложил свои карандаши, в добрый час оказавшиеся у него в кармане. Рая, не шедшая на концерт, объяснила нам, что мы попадем в консерваторию только тогда, когда пересечем Мойку, свернем на ул. Декабристов, которую мы узнаем по трамвайным рельсам, и когда выйдем на площадь, где стоит Мариинский (оперный) театр<sup>79</sup>, против которого и находится данная консерватория со своим малым залом им. Глазунова.

— У вешалки, там, где громадное зеркало, вы ждите Моню,— сказала Рая.— Сейчас он на радио и потом пойдет туда; он вас и проведет. Ясно?

— Ясно и понятно,— ответил я.

— Найдете дорогу-то?

---

<sup>79</sup> Мариинский театр был основан в 1783 г. по указу Екатерины II. Нынешнее здание было отстроено в 1860 г. архитектором А. Кавосом. Свое название получил в честь супруги Александра II.

— Конечно,— не замедлил ответить я.— Мариинский театр я хорошо помню. Узнать его смогу.

Мы двинулись в путь. За веселой беседой мы не заметили, как миновали мостик на Мойке, как свернули на ул. Декабристов, руководствуясь трамвайной линией, которая ярко сверкала в темноте зимнего вечера, и как вышли на площадь, которую я сразу же узнал.

— Вот тебе и оперный театр,— сказал я, указывая на темнеющее здание с круглой покатой крышей.

Против театра мы отыскивали консерваторию. Вестибюль ее был довольно прост. Мы сдали свои пальтишки и решили ждать Моню на широкой белой каменной лестнице.

Пришедший Эммануил провел нас в зал, громадную полость, со светлыми стенами, рядами оранжевых кресел и мощным органом, сверкавшим на сцене. На задней стене мы разглядели картину Репина, изображающую Рубинштейна, накручивавшего на рояле в концертном зале, полном зевак.

В зале (реальном уже, а в не нарисованном) было немного народу, но мы сразу уловили, что это были музыканты: внешность их ярко говорила об этом. То были старомодные седовласые громоздкие тети в длинных, роскошных, по их мнению, платьях и солидные бородачи, сверкавшие своими стеклянными глазами в черной оправе.

Вскоре вышли исполнители. Моня сел по отношению к нам очень удобно — левой стороной. Мы же сами уселись в совсем пустом ряду у самой стенки, чтобы никто не заметил наши проказы в рисовании.

Я увлекся музыкой Чайковского и отказался от живописи, Женник же принялся рисовать, взяв с меня слово не заглядывать. Я коленом прикрывал его труд от нескромных и скромных взглядов. Немного погодя, он показал мне тщательно нарисованного Моню, увлекшегося игрой на виолончели. Я шепнул Женьке, что, откровенно говоря, я ждал худшего.

После концерта мы вышли из зала и уселись на стулья возле двери, в которую скрылся Эммануил еще до концерта. Ждали мы его долго, так как там шли яростные прения об игре молодой пианистки.

Уже все опустело, везде потушен уже был свет, а Моня не выходил, и мы решили идти одни. У подъезда на улице мы попрощались.

— Может, проводишь меня? — спросил Женик.

— Ну, что ты! Уже поздно! 12-ть часов почти.

Ночь была темна, как не знаю что! Я кое-как ковлял в темноте по тротуарам ул. Декабристов, пронзая взглядом, правда, безуспешно, ночную мглу, чтобы заранее открыть многочисленные неровности на пути.

Домой я прибыл целым, со всеми своими частями и членами организма!

Леонора давным-давно уже спала, приняв строгое выражение лица и смешно надув губы.

Вскоре явился Моня.

— Что ж вы меня не подождали-то, сорванцы этикие?— спросил он меня.

— Мы ждали, да уж очень долго ты не появлялся!

— А где же вы были в зале? Я вас искал глазами все время, а вы точно в воду канули.

Я сказал, что мы сидели у самой стены, слева от сцены.

— Ну, рисовали что-нибудь? — полюбопытствовала Рая.

— Женя рисовал, а я уж решил полностью отдаться Чайковскому.

— Он должен нам обязательно это показать,— сказала моя сестра.

— Очевидно, Женя и сам этого желает. Но он рисовал только одного Моню.

— Да ну?! — удивилась Рая.— Тем более нам интересно это видеть!

За ужином Моня и Рая оживленно беседовали о концерте. Моня рассказывал ей о высказываниях слушателей об игре пианистки, как вдруг, что-то вспомнив, обратился ко мне:

— Я и забыл! Ведь сегодня срок! Я должен был «Аиду» сдать в нашу библиотеку. Завтра я, к несчастью, в филармонию не заеду, так что придется тебе самому ее отвезти. Ты против ничего не имеешь?

— Ладно,— ответил я, — не подводить же мне тебя!

7-го января. Проснулся я сегодня рано: только Рая и Поля были на ногах. Даже Нора еще не встала, чтобы отправиться в «Очаг». Немного погодя Рая стала ее будить. Как и все малыши, Леонора упрямо не хотела вставать, затем долго сидела на кровати, растирая кулачками глаза, потом кое-как оделась, не забыв умыться... Через полчаса она сидела за столом.



— Рая, — обратился я к своей сестре, — давай я схожу с Норой в сад, я хочу посмотреть, где же все-таки она обитает днем.

— Ну, что же, давай, только скорее встань тогда, чтобы не опоздать.

— Тем более, — продолжал я, — мне хочется ее проводить туда.

— Она будет очень рада, — сказала Рая.

Минут через пятнадцать мы вышли на набережную Мойки. Морозы уже пропали, и стояло теплое безветренное зимнее утро. Нора самодовольно топала рядом со мною, гордая тем, что сама вела меня в свой детский сад.

— Ты не заблудишься? — спросил я, решив ее подзадорить.

— Если хочешь, я тебя могу и до Невы довести! — с достоинством ответила она.

— А до Луны?

— А я еще там не была: она далеко. Километров двадцать будет в небе. Скажешь, дальше? Да?

— Я тоже не знаю, — ответил я. — Беда в том, что я не измерял.

Стоило ли объяснять моей спутнице о громадном расстоянии от нас до Луны, равном свыше 384 тысяч км? Безусловно, не стоило! В будущем она и сама может знать об этом, даже не будучи академиком-астрономом!

Мы перешли на площади через Мойку и двинулись дальше по набережной. Перед нами открылась картина, которую я наблюдал по противоположной стороне еще в первые часы моего первого ленинградского дня. Вид был на всю площадь и Исаакий вдали.

— Это что за здание? — спросил я. — Оно тебе известно?

— Ага! — ответила Нора. — Это Исаакиевский собор! Он синий какой-то стал... Летом он серый! А его, что, красят каждый раз? Может, он сам меняется?

— Сам, конечно, — ответил я, озадаченный ее вопросами.

Мы прошли поперек Гороховой улицы и остановились у железных кружевных ворот, выходящих на набережную.

— А теперь куда, знаешь? — ехидно спросила Трубадур.

— Наверное, в ворота, — ответил я.

— А ты разве знаешь?

— Ты же мне сама сказала.

— Когда?

— Когда остановилась у ворот и спросила, куда идти дальше.

Детский сад находился во втором дворе. Мы поднялись на второй этаж и, войдя в дверь, очутились в белой и светлой прихожей.

За второй дверью был длинный коридор, в котором Нора сняла шапку и пальтишко, спрятав все это в свое отделение в ящиках. По коридору прыгала детвора, слышался детский лепет, смех и визг, а с кухни слышались звон ножей, звяканье ложек и шел вкусный пар...

— Ты обязательно зайдя за мной! — сказала Леонора. — Ладно?

— Обязательно, — согласился я.

— Мы в пять часов расходимся! — добавила она.

Я вернулся домой, чувствуя в себе радостное настроение из-за прогулки с маленькой Леонорой.

Сегодня, судя по полученной из Одессы телеграмме, должен днем приехать отец Раи, мой родной дядя Самуил, которого я не видел с 37-го года, т.е. с того времени, когда я был сам в Одессе.

Моня и Рая уговорились встретиться на вокзале, а покамест они прибрали комнату и повесили даже белые занавески на окно. Потом Моня позанимался на виолончели, под конец сыграл мне на ней прямо по нотам кое-что из «Аиды», причем выбирал отрывки я (и, нужно сказать, что, играя прямо с листа, он нигде не ошибался, а сразу же улавливал все, вплоть до нужного темпа) — и потом, уложив инструмент, ушел по делам.

После обеда Рая предложила мне облачиться в уличное одеяние, сказав, что мы сейчас зайдем за Норой и отправимся на вокзал. Дядя Самуил в телеграмме просил, чтобы его внука, весьма и весьма любимая им, была бы тоже на вокзале.

Зайдя за Норой в «Очаг», где малыши только что кончили поглощать обед, мы где-то у Гороховой улицы атаковали трамвай и вскоре слезли на обширной площади, на которой стоял большой серый Варшавский вокзал с приютившейся возле него захудалой церквушкой с золотым крестом наверху.

В зале ожидания, совершенно пустом, мы повстречали Эммануила, и уже все вместе узнали, что поезд, как назло, опаздывает. В зале между трапезными столиками бегала кошка, лишившаяся одного глаза, очевидно, в бою с вражескими соседними животными из семейства кошачьих.

От нечего делать мы завели разносторонний невинный разговор, приведший нас незаметно к изложению нами различных смешных рассказов и народных анекдотов. Моня, между прочим, рассказал нам такой анекдот, что все мы долго не могли подавить в себе смех. Мы с Норой окрестили этот рассказ: «Я вчера и т.д.».

Моня сказал, что этот анекдот основан на жестикуляции.

— В чем же он заключается? — спросила Рая.

Моня, улыбаясь, указал на себя (!), потом пошлепал губами, затем большим пальцем несколько раз указал назад (?) и, наконец, поднял два пальца вверх (!!).

— Боже! Что это за иероглифы? — удивилась Рая.

— Очень просто, — пояснил Эммануил. — Это значит: «Я вчера ел бараньи рожки». — Мы были поражены. Оказывается, указание большим пальцем назад означало «вчера»; дескать, это было когда-то там... вчера!!!

— Иди, догадайся, — сказал Моня, — что это было вчера!

Особенно заливалась Трубадур; ей это, видимо, пришлось по душе. Потом она часто это вспоминала, стараясь разжигать веселое настроение!

Мы вышли пройти возле вокзала, где за изгородью стояли горы ящиков, мешков и был набросан металлический лом.

— Лева, а что это за крест на церкви? — спросила меня Нора. — Зачем он золотой? Для чего там всегда красиво раскрашивают, а?

Я невольно вспомнил нашу историчку, иссушенную архивной трухой и разными сухими мертвыми историческими выражениями, и решил объяснить Норе интересующую ее тему приемами этой старой мегеры.

— Видишь ли, — сказал я. — С политической точки зрения, чтобы подавить в угнетенных массах, т.е. в классах рабочих и крестьян стремление к свержению царизма, уничтожению плутократии, стремление к социалистической диктатуре, выражаясь языком полной реальности и соответствующим действительности, дурманили народ, разжигая в нем антиреволюционные мысли и идеи антагонизма... Это понятно, надеюсь?

— М-м... нет... — залепетала оглушенная слушательница.

— Если же созерцать, как зреют на этом диалектика и материализм, то мы...

— Да брось, — сказала Рая, — она и так уж уничтожена! Не добивай свою жертву.

Вскоре прибыл поезд, мы отправились на перрон, где и встретили дядю. Самуил заметно постарел, но он был все таким же бодрым весельчаком, энергично действующим при ходьбе своей палкой.

На площади мы недолго ждали и сейчас же уселись в автобус вместе с вещами. Мы катили по незнакомым мне улицам, мимо заборов,

домов и деревьев, обгоняя пешеходов и трамваи. Вскоре мы выехали к Мариинскому театру и остановились у рядовой остановки.

— Узнаешь? — спросила меня Рая.

— Еще бы!

— А ну-ка, я проверю твою ориентировку. Откуда вы с Женей вчера вышли на площадь?

— Да вот из той улицы, — ответил я, указывая на улицу Декабристов.

— Ну, то-то же!

Домой мы прибыли благополучно. Рая сейчас же состряпала телеграмму о том, что дядя приехал, и я сходил на телеграф, где в громадном, многолюдном накуренном зале у небольшого оконца отправил ее в Одессу.

— Ты не забыл шепнуть в телеграмму, чтобы она скорее дошла? — весело спросил меня дядя, когда я вернулся.

— Нет, не забыл! Я еще добавил, чтобы она пришла именно в Одессу, а не куда-нибудь в другое место, так что благополучный ее приход к месту назначения обеспечен.

Мы расположили дядины вещи по определенным местам: за шкафом, под кроватью, за диванчиком и в тому подобных частях нашей ленинградской хижины. Нора была очень рада, когда получила от одесских родичей весьма сладкие подарки. Она тщательно их рассматривала и позволила Рае убрать их, чтобы не искушать себя раньше времени, а уничтожать сладости планомерно — после каждого ужина и обеда. Отсутствие жадности в ней придавало ей много чести!

Часов в семь Рая сказала, что мне пора уже, пожалуй, отвезти «Аиду», а то как бы не закрылась библиотека.

Я в последний раз посозерцал драгоценные страницы, завернул книгу и, получив объяснения насчет дороги, отправился к Невскому, чтобы там сесть на 5-ый номер трамвая, дабы докатить до ул. Некрасова.

Был прекрасный теплый зимний вечер! Невский сверкал многочисленными огнями, блестящими рельсами, окнами в домах, широкими зажженными витринами и фонарями машин. Пробыв изрядное количество времени на остановке, я, наконец, взобрался в нужный мне номер и очутился в дьявольской тесноте. Все, казалось, готовы были содрать с других двадцать шесть шкур, ни больше ни меньше! Со слов других, я узнал, что ул. Некрасова будет после какого-то цир-

ка. Я, видя, что мне упрямо не дают продвигаться к выходу, пришел в отисительное бешенство, которое помогло мне быстро достигнуть цели... Сойдя, кое-как нашел филармонию, находившуюся в начале какого-то темного переулка, и вошел в парадное.

— Куда? — злобно окрикнула меня какая-то баба в красной козынке, торчащая у гардероба.

— Библиотека открыта?

— Кажется, до семи часов. Я точно не знаю.

«Проклятие всем богам! — подумал я. — Сейчас уже половина восьмого!»

— Раз закрыта, значит, точка, — сказала она.

«Она, чертовка, сама точно не знает, когда закрывают библиотеку, а пускать не хочет, — подумал я. — Хорошо же! Придется схитрить».

— Сейчас, очевидно, скоро будет семь, — проговорил я, направляясь к лестнице. — Нужно успеть! — Тетка что-то проскрипела и умолкла.

Библиотека находилась наверху — не помню уже, на каком этаже, — и выходила она в узкий коридор, из многочисленных дверей которого слышался говор, смех, игра на рояле, и из которых струились сизые струи табачного дыма.

— Господи... И здесь дымят! — проскрежетал я. — Я бы всех этих дымильщиков утопил бы в первой же попавшейся луже! И пьяниц заодно тоже!..

В библиотеке, ярко освещенной многочисленными лампами, у загородки толпилось несколько молодых людей, с которыми имела дело седовласая высокая сухопарая дева.

— От Фишмана получите, пожалуйста, «Аиду», — произнес я, кладя книгу.

— От педагога Фишмана? — спросила дева.

— Вообще-то он преподает... но я не знаю, как он считается у вас, — ответил я, впрямь озадаченный ее вопросом.

Повоевав с упрямой ручкой у двери, которую, вопреки всем техническим законам, нужно было по воле господя тянуть к себе, а не поворачивать вниз, я быстро покинул территорию филармонии и скоро уже катил в трамвае, находясь на открытой площадке прицепа.

Мимо меня плыли освещенные улицы, прямые проспекты и, глядя на все это, я почему-то думал, что я в Москве — так все это

было похоже на московские зимние виды... Лишь появившиеся неожиданно белые торговые ряды на Невском вмиг показали мне, что это действительно все еще в городе Ленина.

Через десять минут я был уже дома и вместе с Норой восседал на диване, на котором она во что-то энергично играла.

— А я знаю стихи, большие очень! — заявила она.

— Какие? — спросил я.

— Большие! Их целый месяц нужно говорить! Сказать?

— Ну, давай!

— «Ха-ха-ха да хи-хи-хи — вот и все мои стихи!» Большие стихи?

— Очень!

— А ты знаешь какие-нибудь, вроде этих?

«Нужно выкручиваться», — подумал я. И, вспомнив какие-то стишки, которые слышал во младенчестве, я решил ей сказать о том, что «села муха на варенье, вот и все стихотворенье!»

— Ай-ай-ай! Ты, оказывается, тоже знаешь! — сказала она не то с радостью, не то с упреком, но с какой-то уморительно-забавной интонацией.

Дедушка моей собеседницы сидел рядом и весело поглядывал на нее, видимо, очень довольный ее детской невинной болтовней.

Вскоре явился Эммануил со своею неразлучной виолончелью. Я, конечно, сообщил ему о том, что «Аида» уже на своей вполне законной полке в библиотеке.

— Хорошо сделал, что помог ей туда попасть, — сказал он, — а то мне было бы очень неприятно перед ними. Хвалю!

— Я тоже очень рад за тебя, — произнес я чистосердечно.

— А как ты думаешь, — вдруг спросил он меня, — ты бы смог продирижировать «Аидой»?

— М-м... не знаю...

— Ведь ты ее как-никак, а знаешь!

— Черт ее знает!

— Смог бы, наверное, — уверенно произнес Моня. — Мотивы знаешь, оркестровку мог бы утвердить, оперу любишь и понимаешь, в общем, мог бы ее провести, да еще и с чувством бы. Я почему-то чувствую, что ты это бы одолел и без особых знаний законов дирижирования.

Я уж счел лучше промолчать, хотя знал, что Моня говорил серьезно, так как льстить или шутить он бы так не стал. Да я и сам это видел! Тем более, что лесть, можно сказать, Моне неизвестна: он

прямой человек; за это я его, а также и Раю хвалю! Прямота, к тому же чуткая. Хорошая черта!

Неожиданно позвонил к нам Женька. Он пригласил меня к себе, чтобы пошляться по городу. Я, конечно, согласился.

— Вы по Невскому ходите,— предложила мне Рая.— Вечером, при освещении он очень красивый.

— Я думаю, что Женя именно о Невском и думает,— сказал я.— Я сам по нему хотел как-нибудь пройтись, чтобы увидеть его вечером.

— Так что, я угадала ваши намерения?

— Точно,— ответил я.

К Женьке я шел по Невскому и за это время успел вдоволь насмотреться на него при вечернем освещении. Он был действительно всепокоряющим!

Я явился к Женьке, но, каково же было мое удивление, когда он вытащил какие-то ключи и потащил мою грешную душу куда-то по коридору.

— Там у меня комнатка есть,— сказал он мне таинственно.— Один дядька уехал, и мне ее предоставили в полное распоряжение. Мы уж лучше навестим город в другой раз, а сейчас я тебе покажу свое королевство!

— Повезло же тебе!— сказал я.

Мы поднялись по какой-то лестнице и остановились в начале нового коридора около невинной небольшой дверцы.

Комнатка была маленькая, низенькая, с одним окном (там белели какие-то крыши), с письменным столом, диваном и вешалкой. Вид у нее был нежилой. На столе только стояла настольная лампа без абажура и пыльные книги хозяина, до которых Евгений под страхом тумака по заливку и полета из этой комнатушки не смел дотрагиваться.

Мы уселись на диван.

— И ты здесь один? — спросил я.

— Совершенно один.

— А уютная она, честное слово! — сказал я.

Мы, сидя на диванчике, прекрасно провели время, вспоминая московскую жизнь, наши былые проказы и поддерживая оптимистическое настроение юмористическими рассказами, которых мы оба знали достаточное количество.

Женька, между прочим, рассказал мне один анекдот, чертовски верно показывающий характерные черты двух народов. Ну, до чего

же точно в нем были уловлены стремления этих наций!— просто удивительно.

— Как ты думаешь, что такое один русский? — спросил меня Женька.

— Как это, что такое русский?! Человек, по-моему!

— Совсем нет! Один русский — это просто русский! А что такое два русских?

— Понятия не имею.

Два русских — это драка!

— Действительно, ловко подмечено! — восхищенно произнес я.

— А что такое много русских? — продолжал Евгений.

— Это уж я не знаю...

— Много русских — это очередь за водкой!!!

Я чуть не умер!..

— А, ей-богу, здорово придумано! — воскликнул я. — Именно: раз русские — значит водка! Гениально!

— Красота, да? — сказал Женька. — Ну, хорошо! А что такое один еврей?

Надо полагать, что один еврей — это просто еврей, — попробовал я угадать, судя по первым вопросам.

— Именно! Один еврей — просто еврей! А что такое два еврея? Два еврея — это лавочка!

Я был поражен!

— А что такое много евреев? — продолжал Евгений. — Много евреев — это большое коммерческое заведение!!!

— Черт подери! — разразился я. — Прав автор: еврей в большинстве случаев всегда торговый человек!

— А ты любишь торговать? — спросил Женька, который, нужно сказать, был соединением русской и еврейской крови.

— Да брось ты! — сказал я, хотя прекрасно знал, на что намекает Женька; я ведь тоже есть не что иное, как гибрид тех же самых струй крови. — Одно я могу тебе сказать, — продолжал я. — Это то, что, будь мы с тобой в Германии, первый же попавшийся нам на глаза штурмовик со свастикой на рукаве повесил бы нас на первом же суку за то, что мы, во-первых, славяне и, во-вторых, евреи.

— Это не очень меня уж прельщает, — сказал Евгений.

— Это верно! Веревка, говорят, приносит счастье, но не от рук палачей Гимmlера<sup>80</sup>!

---

<sup>80</sup> Гимmlер Г. Л. (1900–1945), рейхсфюрер СС, рейхсминистр внутренних дел Германии и рейхслайтер.



Вернулся я домой точно к ужину. Трубадур уже видела блаженные сны, Рая приготавливала вместе с Полей ужин, а дядя Самуил и Моня мирно беседовали.

После ужина я узнал, что мое место на складной кровати остается за мною, но Моня должен был перекочевать на диван, чтобы дядя имел возможность расположиться на кровати.

Ну, пора кончать — поздно уже!

**8-го января.** Еще вчера вечером я сказал Рае и Моне о результатах нашего визита к городской станции.

— Да, уже пора думать о билете, — сказала Рая. — Как бы вы с Женей не оказались бы невольными пленниками нашего города. А ты хотел бы быть таким?

— Да! — решительно ответил я.

А сегодня с самого утра мы с Женей должны были заказать билеты на станции. Нора отправилась в сад в сопровождении Поли, так как Рая сказала, что я могу опоздать, если отведу ее сам.

На станции было мало народу, и у моей кассы толпилось всего лишь человек десять. Женьки не было! Я не знал, что думать, как вдруг он явился и принялся меня отчитывать за опоздание: он, оказывается, уже билет заказал, и теперь мы очень боимся, как бы нам не отправиться в разных вагонах... Билет оказался на 11-ое число, на часовой поезд номер семьдесят один. Однако нам повезло, и я раздобыл квитанцию на получение билета, на котором должно было обозначаться место, находившееся рядом с местом Женьки.

Возле нас стояла какая-то коротенькая любопытная тетя с довольно большим малым — нашим, очевидно, ровесником, — которая завела с нами разговор о Ленинграде, когда узнала у Евгения о том, что мы тоже приезжие и собираемся удаляться в Москву. Она спрашивала нас, где мы успели побывать, но вдруг, будучи, наверное, патриоткой Москвы, стала усиленно расхваливать последнюю, говоря, что Москва совсем не хуже Ленинграда. Собственно говоря, мы ей для этого никакого повода не давали.

— А ведь метро-то у нас лучше! Красивое! — неожиданно заявила она, желая подтвердить фактом свои похвалы по адресу Москвы.

Женька не растерялся и дал ответ настолько гениальный, что я его никогда не забуду.

— Это понятно! — ответил он. — Ввиду того, что в Ленинграде вообще нет никакого метро, то нет сомнения в том, что московское в неограниченное число раз лучше ленинградского!

Надо полагать, что до мозгов нашей соседки сие высказывание не дошло...

Получив квитанции, мы вышли на улицу.

— Ну, куда нам теперь идти? — спросил Женька.

— Только в Русский музей, — ответил я. — Он тут рядом!

— Мне бы хотелось сначала еще раз побывать в Эрмитаже, — возразил он.

— Но сначала лучше следует осмотреть то, что мы еще не видели, а там уже можно думать о вторичном посещении, — настаивал я.

— Это верно! — согласился Женька. — Пойдем в Русский!

Этот музей находился тут же у Невского, на площади Лассаля<sup>81</sup>, украшенной садиком, который опоясывала трамвайная линия. Музей представлял из себя оранжевое здание с колоннами у входа и построенное в стиле Московского университета, музея Революции, Смольного и тому подобных архитектурных строений, возведенных Растрелли или же зодчими из его школы.

Русский мы осмотрели сравнительно быстро, и, нужно сказать, что его содержимое нам было во много раз яснее, чем содержимое Эрмитажа; ведь здесь были собраны близкие нам творения отечественных живописцев, между тем как Эрмитаж хранил в себе иностранную древность, нам чуждую и далекую.

Очутившись вновь на Невском, мы уже хотели разойтись, как вдруг Женька энергично потребовал меня к себе.

— В шесть часов я должен буду зайти за Норой в ее детсад, — предупредил я, — так что ты меня долго не задерживай.

— Ну, до шести еще полтора часа; вот ведь часы-то перед нами! Успеешь! — Часы, белевшие на башне городской станции, вполне дали мне возможность заглянуть к Женьке.

— Ну, вот! Теперь пошли! — сказал Евгений.

Мы снова забрались в Женькину комнату и расположились у письменного стола, приведши в действие настольную лампу.

Женька показал мне свои новые рисунки, намалеванные им в потрепанном альбоме, на которых он тщательно выводил во всех видах рысаков. На одном из них сидел даже Петр I. В этот альбом Евгений вложил и свои творения, созданные им в Зоологическом музее, и мы с большой охотой еще раз их просмотрели.

---

<sup>81</sup> Это название носила Михайловская площадь с 1920-х гг. С 1940 г. стала называться площадью Искусств.

— В киоске одним я открытки достал,— сказал он.— Жаль, что Исаакия нигде не! — И он показал мне несколько ленинградских снимков Адмиралтейства, Петра на коне, памятника Екатерины и некоторых других.

— Я сколько ни бьюсь, никак не встречаю нигде открыток,— проговорил я.— Мне очень хочется отсюда послать весточку своему учителю по музыке. Я ему говорил, что постараюсь прислать ему открытку с видом города. Может, у Раи будет?

— А ты спроси,— посоветовал Женька.— Вдруг найдется!

В шестом часу я оставил Женькино становище и отправился домой, решив по дороге захватить из сада свою маленькую родственницу.

В переулке я остановился у афиши.

«Черт возьми! — разъяренно я бесновался про себя.— Везет мне, словно подлецу! Хотя бы «Аида» пошла бы тут в театре до нашего отъезда! Так нет же — не видать и не слышать! Грешен, видимо, я перед Юпитером».

Но до чего этот переулок был похож на один из московских закоулков: та же мостовая, такие же домики... Иллюзия была до того сильной, что я прямо-таки готов был думать, что я снова в Москве!

«Ну, нет! Все же это Ленинград! — думал я.— Москва далеко! Вот сейчас выйду на набережную и, действительно, увижу не Москву-реку, а Фонтанку, не Каменный мост, а Аничков с его чугунными конями». Такими мыслями я сопровождал себя, пока не вышел к реке. Действительно, передо мною открылся вид на ленинградскую реку... Вдали темнели изваяния коней на мосту, и звенели проходящие по нему красивые трамвайчики.

Наступила сильная оттепель. Весь Невский казался сырым и темным. Почерневшие мокрые тротуары ясно отражали серое небо и прохожих, мимо мчались машины, поднимая вверх брызги воды и серого талого снега... Несмотря на теплую погоду, шел густой мягкий снег, мокрыми большими хлопьями бесшумно оседающий на крышах, на одежде и на мокрых тротуарах, где он сейчас же пропадавал, оставляя сырой след. Весь город был под какой-то снежной вуалью, и даже люди похожи были на движущихся елочных фигурок, сплошь покрытых пушистыми хлопьями ваты.

Однако вид проспекта был оригинальным, и я, идя по нему, с каким-то радостным чувством созерцал все его достопримечательности под этой сырой пеленой.

«И чего это вода такая... мокрая?» — думал я, видя, как автомобили с разгону врезаются в блестящие огромные лужи на мостовой.

Пройдя мимо памятника Екатерины, мимо торговых рядов, мимо городской станции, мимо Казанского собора, я свернул на набережную Мойки.

В коридоре детсада так же, как и раньше, прыгали толпы ребятишек, дожидавшихся своих мамаш. Крик, шум, смех, детский говор — просто, как обух, колотили по голове и по ушам. Мне вызвали Леонору, она вскоре появилась, оделась и мы отправились.

— Какой снег густой! — сказала она, когда мы вышли на набережную.

— М-да, — промычал я, не зная, что ответить.

— А мокро-то как кругом, да? — продолжала она.

Я промолчал.

— А вода может быть сухой?

— А почему бы нет?!

— А как ее сделать?

— А просто сушить так, как обычно сушат все вещи, — поучительно ответил я. — Повесить на веревке можно хотя бы, — добавил я.

— Воду-то?!

— Конечно, воду! — невозмутимо ответил я.

— Ай-ай-ай! — укоризненно покачала головой Леонора. — Как же это она будет держаться-то?

— Ну, ее можно прикрепить, перекинув через веревку или удерживать, привязать! — пояснил я.

Очевидно, подобная тема очень веселила Нору, потому что она еще долго высказывала свои предложения о сушеной воде и о том, почему она всегда бывает мокрой.

Вдруг она переменяла тему.

— А знаешь, что нам сегодня дали на обед? — спросила она, хитро поглядывая на меня.

Я, разумеется, не знал.

— Жареных грузовиков! — выпалила она.

— И вы уплетали их? — удивился я.

— Еще как! Только мотор я никак не могла раскусить!

— Да ну!

— Не веришь разве?

— Почему же?.. Это возможно.

Я очень хотел понаблюдать за Исаакиевским собором во время такого густого снегопада, но, когда мы вышли на площадь, снег по-

редел, хотя и не сильно, но я все-таки заметил, что сквозь снежную пелену через всю площадь были видны лишь контуры собора и его молочно-серый силуэт.

— А теперь видишь, какой Исаакий? — спросил я у Норы.

— Вижу! Он теперь серый какой-то, почти белый совсем. А раньше был синий!

— А почему же так? Его опять, значит, покрасили, — спросил я, помня предыдущий наш разговор на эту тему.

— Он, наверное, от снега меняется... — осторожно ответила она. — Когда разная погода, то и он тоже разный! Ты бы нарисовал его с этого места! — попросила она.

— Попробую, — согласился я. — Может, получится что-нибудь.

— Получится! — уверенно сказала она.

— Не знаю. Заранее я не могу говорить.

— А когда нарисуешь?

— Как-нибудь нужно будет выйти и сделать. — И я решил и эту панораму тоже присоединить к ленинградской серии, так как просьба Трубадур стоила тщательного выполнения: вид на собор через всю площадь был далеко не плохим!

Открыла дверь Рая.

— О-о! Девтора идет! — воскликнула она. — А я уж, Лева, думала, что ты забудешь за Норой зайти!

— И ты совершила тяжкое преступление, — сказал я.

Когда мы с Норой стащили с себя верхнюю одежду, всю поголовно мокрую от талого снега, и включились полностью в домашнюю жизнь, Моня не замедлил спросить меня, где мы с Женей провели данный день.

— В Русском музее, — ответил я.

— А вот теперь, — произнес он, — не расспрашивая тебя о вашем впечатлении, я тебе прямо сразу скажу, что в Русском музее вы себя чувствовали более свободно, чем в Эрмитаже. Верно?

— Так, — ответил я, качнув головой.

— А потому что в Русском музее, — продолжал Эммануил, — картины более близкие вам по теме. Ведь верно?!

— Ты прав, как всегда, — ответил я. — В Эрмитаже картины не русские, и они нам несколько чужды. Ясно, что Русский музей был нам более ясен и близок.

— Между прочим, хочешь сегодня снова послушать трио Чайковского? — спросил он меня.

— С удовольствием.

— Я буду только уже выступать с другими музыкантами и не в консерватории, а в филармонии. Если ты придешь, то сравни предыдущее исполнение с сегодняшним.

— Обязательно! — согласился я. — Филармония — это куда я «Аиду» отвозил?

— Вот именно, — ответил Моня. — А теперь скажи мне по совести, ноты «Аиды» тебя многому научили?

— И ты спрашиваешь?! Ведь до сих пор я даже не знал, как она записана на нотах! К чести твоей, нужно добавить что я раньше никак не мог знать, что первый раз ноты ее я увижу именно в Ленинграде и именно при твоём содействии! Теперь у меня воспоминание о первой встрече с ее нотами будет связываться с Ленинградом! Видишь, как получается!

— Ну, что же! Я очень рад, — сказал Моня.

Немного погодя он ушел, сказав мне, что начало концерта будет в половине восьмого вечера.

Дядя Самуил собирался отправиться в город, чтобы кое-что закупить, а Рая собирала некоторые пожитки, так как она хотела сегодня вечером съездить с папой к Мониной мамаше, куда и Моня должен был приехать из филармонии после концерта.

Для Трубадур сегодня был знаменательный день: она должна была сегодня улесться спать одна, так как никого дома вечером не должно было быть. Поля, между прочим, отлучилась от нас на пару дней и уехала к сестре в Выборг. Таким образом, Нора готовилась ложиться спать сегодня полностью своими силами.

В семь часов Рая сказала мне, что пора моей душе мчаться на концерт. Я оделся и вышел. На улице было совсем темно. Снег лежал ровным ковром на земле, но воздух был чист, так как снегопад полностью прекратился.

Но мне не везло сегодня! Я вышел к остановке трамвая на Невском, но проклятый мною пятый номер упорно не желал появляться... Короче говоря, я опоздал.

Будучи не в духе, так как мне совсем не хотелось огорчать Моню (ведь он очень хотел, чтобы я был на концерте), я решил развеять свою мрачную думу и покрутить по улицам.

С Невского, по ул. Гоголя я отправился на площадь Воровского к самому подножию Исаакия. Собор был не освещен, казался мрач-

ным и немым. Я обогнул его, поднялся к одной из его колоннад, подпиравшей его правый боковой портик.

Поднявшись по гранитным ступеням, покрытым снегом, я очутился под темными сводами. С одной стороны была мощная стена собора с громадной чугунной дверью, а с другой — ряд толстенных колонн, вроде геркулесовых столбов, уходящих ввысь. Каменные колонны были холодны и покрыты тонким, сверкающим от фонарей инеем. Между колонн открывались части панорамы на окружавшие собор здания, в которых весело светились окна, представляя собой красивую вечернюю картину.

Я подошел к двери собора и стал разглядывать ее рельефные украшения. Как и фасадная дверь Исаакия, она была сводчата и чрезвычайно высока. Я разглядел массивные чугунные черные ленты из громадных листьев, украшавших створки дверей, склонившихся ангелов, расположенных в полукруглых дверных нишах, под ангелами, также в нишах стояли какие-то святые с удивительно тупыми мордами; верхние части дверей скрывала густая тьма.

«Эх, это бы все нарисовать! — подумал я. — И эту дверь, и ряд колонн, и дома, видневшиеся между ними!»

Но включать этот вид в ленинградскую серию я не стал, а решил оставить его на следующий раз! Скажу вам откровенно, я ведь твердо был уверен, что не в последний раз вижу Ленинград.

Окружавшая меня обстановка была столь интересна и оригинальна, что я не мог оторваться от этого места и, наверное, свыше получаса провел под этими сводами, около мощных колонн собора.

Но вскоре я образумился и подумал, что, если Рая и дядя уйдут до моего прихода, то тогда не смогу попасть в дом, и я отправился домой.

Моя сестричка была очень удивлена, увидев меня. Но узнав, что виною — долго не приходящий трамвай, она простила мое отсутствие на концерте и сказала, что благополучие сегодняшнего вечера Норы будет в моих руках. В ответ на это я Раю уверил в том, что ее дочка, сегодня отдававшаяся под мое попечение, благополучно поужинает и ляжет спать; за это она уж может быть спокойна.

Вскоре Рая и дядя начали собираться. Рая оставила нам с Норой ужин и положила отдельно на тарелки различные сласти, вроде печенья, пирога и сладких побрякушек.

Когда взрослые ушли, Нора украдкой переложила часть из своей порции в мою тарелку. Я, конечно, не стал потакать ей в проделке

и возвратил все на законное место. Она была против этого, о чем решительно заявила мне. Тогда я пошел на компромисс видимости и согласился принять от нее какую-нибудь часть, если она возьмет у меня то, что я ей переложу. На этом сделка состоялась, хотя мне удалось обмануть ее, и я, будучи истинным мошенником, сумел дать ей больше, чем мне удалось получить от нее. Одураченная Леонора, ничего не подозревая, вместе со мной принялась за ужин. Понятно, она все время болтала и немного замолчала лишь тогда, когда дело дошло до чая, но и тут она ухитрилась кое-как вести беседу.

Кончив трапезу, мы немного провели времени на диване за книжками, после чего я решил уложить ее спать, помня Раин наказ не укладывать ее поздно.

Она была сегодня очень послушна и без проказ умылась и улеглась.

— А хорошая у меня елка? — спросила она.

— Очень.

— Только она маленькая, вот что плохо-то!

— Зато она стоит на столике, а не на полу, — возразил я.

— А столик тоже маленький — как раз для нее! — сказала она. —

Он и круглый вдобавок.

— Она уже осыпается, — сказал я, разглядывая сверкающие шары на ветках.

— Мама говорит, что она ее скоро уберет, — сказала Трубадур. — А то уже пора, скоро одни голые ветки останутся. Так она сказала.

— Да, елка сильно уже осыпается, — согласился я.

Она долго о чем-то со мною беседовала, говорила о своих товарищах по детскому саду, одних хвалила, других ругала, пока не заснула...

Я остался один. В квартире было тихо, и лишь за стеною у соседей кто-то никак не мог успокоиться. Я пробовал читать, пробовал слегка наигрывать на пианино (Нора обычно очень крепко спит, и я не опасался ее разбудить), но у меня ничего не получалось: я уж мечтал скорее улечься и завидовал моей маленькой родственнице, когда, подходя к ее кровати, видел, как она сладко спала с неприкрытым, немного даже недовольным выражением на лице.

Я еле дождался прихода старших... Был уже поздний час, когда приветливо заверещал звонок...

— Ну, как, жив? — спросила меня Рая.

— Жив, — ответил я. — Я чуть было не заснул, пока вас ждал.



— Ну? — удивилась она. — А как наша наследница?

— Она вообще молодчина, — произнес я.

— Не дурила, значит? — осведомился Эммануил.

— Нет. Очень спокойно поужинала и улеглась. Мы побеседовали с ней, а потом она уснула.

— Скажу тебе по секрету, — сказала Рая. — Я думаю, что это она из-за тебя так особенно спокойно легла. Честное слово! Я в этом уверена.

На это я вслух ничего уж не мог сказать, но мысленно я провозгласил торжествующее «ура»!

9-го января. Когда мы сегодня утром с Норой вышли на улицу, было прекрасное зимнее утро. Воздух был удивительно свежим, даже опьяняющим, снег, лежащий на земле и венчающий все возвышенности города, принял на себя какой-то голубоватый цвет. Тумана совершенно не было, и все окружающее было ясно и четко видно. Вообще я в первый раз вижу такое утро! Особенно голубоватый снег меня покори́л.

Всю дорогу мы дружелюбно беседовали и не заметили, как прошли все расстояние. После того, как я оставил Трубадур в детском саду, я отправился назад, решив исполнить Раино поручение. Я вообще органически не перевариваю всякие прилавки, кассы, очереди, короче говоря, магазины, хотя мне частенько приходится дома (в Москве) их навещать, но почему-то здесь я отправился в лавку за хлебом с большой охотой. Может, потому, что это была ленинградская лавка?

Я отыскал ее на некотором пространстве Гороховой улицы, между Мойкой и ул. Герцена. Это была заурядная лавчонка, полуподвальная какая-то, низенькая, с бушующей толпой и продавцами, злобно выглядывающими из-за прилавка.

Простояв среди обывателей с кошелками в двух очередях, я получил нужный нам круглый серый каравай хлеба, к которому все ленинградцы питают истинную страсть, и отправился на ул. Герцена домой, по дороге взглянув на спокойно и грузно высившийся золотой купол Исаакия.

Мы позавтракали, и я к часу дня, скрепя сердце, — причем Рая и Мона мне сочувствовали — поплыл на городскую станцию за билетом. Я долго там искал двенадцатую кассу, но та упорно не желала появляться. Один ротозей посылал меня в один конец, другой — слал

меня куда-то в еще более подозрительные местности, где я увидел лишь каких-то девиц, яростно щелкавших на машинках, а третий — какой-то железнодорожник — услал меня на улицу, где я скоро и набрел на подъезд, в котором увидал то, что усиленно искал.

Перед кассой была тьма народу, хотя очередь и подвигалась очень быстро; я усиленно разрезал людские волны, двигаясь вперед... Конечно, пока я, словно олух, бродил в поисках этой мошенницы-кассы № 12, Женька уже успел подойти почти к самому окошку. Он пришел раньше и, таким образом, раньше отыскал эту кассу.

Сдав квитанции, мы получили в ответ какие-то бумажки, листки и билеты... Места у нас были рядом, но это нас не радовало. Нежеланные билеты жгли нас, даже находясь в карманах.

— И освоиться не успели здесь, как уже укатывать пора! — злобно проверещал я сквозь зубы.

— Да, — сказал Евгений, — вот мы уже частично и оторвались от Ленинграда! Время нашего пребывания тут уже полностью ограничено! Мне бы этого не хотелось...

Мы стояли на углу тротуара перед городской станцией, созерцая живой поток машин и прочего транспорта на Невском проспекте, и не знали, куда нам, грешникам, деваться.

Женька сказал, что туда, ближе к вокзалу, он видел на проспекте кинотеатр, в котором шла картина о Свердлове, и что, дескать, было бы неплохо навестись туда.

Я предложил сходить сначала к нашим, чтобы я смог захватить свои «вторые глаза», ибо я их по оплошности оставил там; понятно, Женька не возражал, и мы отправились.

Рая объяснила тщательно, где существует на Невском кинотеатр и пожелала нам только одного хорошего. Но нас перехватили еще на ул. Герцена: нас привлекла незаметная и скромная вывеска, оповещающая о том, что в этом доме, на котором она висит, существует выставка картин Авилова. Мы и заглянули туда.

Выставка была небольшая, и мы быстро ее осмотрели. Она располагалась в светлых комнатах и одном зале о двух этажах, о балконе наверху и о стеклянной крыше! Особенно мы восхищались лошаадьми: они были сделаны очень живо!

Во время нашего присутствия приволокся какой-то дядька с каким-то треножником и с каким-то хламом. Мы думали, что это фотограф, но жестоко ошиблись: данный смертный был «халтурщиком». Он явился сюда, чтобы сдуть какую-то картину себе на полотно. Мы с интересом наблюдали за его суетливыми хлопотами.

Но сколько он ни возился, он так ни черта и не сделал, а все только валял дурака.

— В Русском музее тоже мы таких мошенников встречали немало, — сказал я. — Сколько же их развелось!!!

— Сидели бы дома, да чиркали, — проговорил Женька, — а то торчит в музеях и сдувает с чужих!

— Истинные мошенники, — добавил я.

— Это ж уж-жас! — возмущенно прожужжал Женька. — Сколько их существует!!! Просто же ужас!!!

В кино идти нам расхотелось, собственно говоря, потому что мы слишком долго теряли время на выставке, так как после осмотра мы занялись сим халтурщиком.

Но мы решили все-таки «самоотверженно и благородно» двинуться по Невскому, чтобы хотя бы для видимости достичь кинотеатра. Обманывать мы, ясно, никого и не думали, но проделывали это ради праздношатания.

Сегодня нам повезло! Перед Казанским собором у тучной бабки мы с лотка достали соевые сласти, которые искали еще раньше. Мы ликовали и называли себя счастливыми во всей великой вселенной.

Морозный воздух и соевые нас совершенно покорили. Женька даже мне клялся, что его хлебом не корми, а давай только соевые сласти. Я был того же мнения о самом себе, но я еще счел нужным добавить, что я скорее всего отказался бы от горы «мишек», чем от этих соевых.

Так мы уплетали их одну за другой, пока с горечью не открыли, что запас полностью иссяк.

У Аничкова моста Женька отыскал в полуподвале небольшой тир, и мы зашли туда. Колотя по мишеням из ружья, Евгений ухлопал все свои сбережения, а прострелянные мишени взял себе. Во время Женькиного «сражения» к загородке явился какой-то молодец, до предела налакавшийся сорокоградусной. Он что-то старался выговаривать, лапал ружье, которое было свободно, но так ничего и не достиг, ибо его желания пресекала энергичная дева, орудующая за изгородью.

— Ты счастливый человек! — заявил мне Евгений по выходе на улицу. — Вот ты сейчас отправишься домой и по дороге сможешь опять достать соевых, а я?..

— А кто тебе мешает пойти в мою сторону?

— Да уже пора мне мчаться к своим, вот в чем беда.

— Я сейчас тоже должен спешить: меня уж малышка ждет, наверное, в своем саду, — сказал я.

И мы разошлись.

Я не стал упускать случая и на обратном пути у Казанского собора приобрел десяток соевых, однако уничтожать их не стал, а решил расправиться с ними вместе с Леонорой.

Ребятишки из детского сада веселились во дворе, барахтаясь в снегу. Трубадур священнодействовала в кругу своих сверстниц. Мне даже не хотелось ее отрывать, до того она была увлечена, но она увидела, что за ней явились, сообщила об этом своей руководительнице, и мы отправились. На улице быстро темнело, так что вечер уже полностью овладел городом.

Норка никак не хотела спокойно идти, она все время старалась меня увлечь в сугробы, но, когда мы вышли на набережную, она успокоилась. Мы с ней принялись за соевые богатства, хотя за всю дорогу мы не успели их полностью уничтожить, так как она все время пространялась о своем детсаде и о ее взглядах на жизнь в его рамках.

Дома мы с ней принялись за живопись: особенно старалась она, так как хотела удивить меня своим умением владеть карандашом.

Рая сказала, что в кинохронике, по слухам, будто бы идет журнал, где показан приезд В. М. Молотова в Берлин<sup>82</sup>, и что там якобы фигурирует подлец Гитлер.

Рая очень сожалела, что не могла отлучиться из дому, но нам с дядей она предложила съездить в кино и проверить справедливость данных слухов. Мы и сами были не прочь посозерцать морды германских национал-деспотов и сейчас же отправились в путь. По словам Раи, кинохроника находилась на Невском, и, чтобы достичь такового, нужно было забраться в троллейбус на остановке улицы Гоголя.

На улице совершенно стало темно. Мы с дядей, мирно беседуя, пересекли площадь и, пройдя мимо темного и мрачного гиганта Исаакя, на указанной нам остановке забрались в подошедший троллейбус.

Мы вышли на Невском недалеко от вокзала, в самой широкой части проспекта. По обеим сторонам высились искрившиеся заж-

---

<sup>82</sup> Визит наркома иностранных дел СССР В. М. Молотова в Берлин состоялся в середине ноября 1940 г., являлся ответом на посещение министра иностранных дел Германии И. фон Риббентропа Москвы. По ходу переговоров М. с руководителями Третьего рейха так и не удалось снять недоразумения и скрытые противоречия между двумя сторонами.

женными окнами стены плотных домов, скользили вереницы автомашин и отчаянно громыхали трамваи.

Кинохроника заключалась во дворе одного из домов, по которому была протянута длинная очередь в кассу. Через полчаса мы с дядей уже созерцали хроникальные журналы, занимая места в 17 ряду в довольно обширном, полностью заполненном зале. Видели мы и Берлинский вокзал с рядами свирепых штурмовиков-караульных, видели и роскошные улицы Берлина, видели и Гитлериуса, стоящего рядом с нашим Молотовым. Палач улыбался и старался быть вежливым!

После кино мы с дядей прошли пешком добрую часть проспекта, заходя в продуктовые заведения, ибо дядя стремился заодно что-нибудь раздобыть для наших трапез. Не пропустили мы и Елисеевский магазин, находящийся против памятника Екатерины. Это был обширный богатый настоящий дворец, с позолоченными украшениями и мощными люстрами, разбрызгивающими во все стороны потоки лучей.

Наконец, дядя Самуил отказался от подобной прогулки, так как мы мало чего встречали из нужных ему предметов, и мы поспешили достичь дома, обратясь за помощью к троллейбусу.

Был поздний час, Трубадур давно спала, Моня уже вернулся в свой домашний очаг после трудового дня, и после нашего прихода стол начал украшаться посудой, показывавшей, что пора приниматься за ужин.

10-го января. Из-за того, что я теперь навещал ради Леоноры ее детский сад, я стал теперь каждый день вставать чуть свет. Конечно, я был этому очень рад.

Сегодня я тоже встал с первыми лучами дня и до завтрака отвел Трубадур в ее «заведение». Как мы уговорились с Раей, я опять заглянул в хлебную лавку и вернулся домой с грузенной мучными изделиями кошелкой.

Мы тут же позавтракали, так что в одиннадцать часов каждый из нас уже мог приступить к началу проведения этого дня. Дядя ушел в город, Моня принялся водить смычком по струнам виолончели, Рая тоже начала чего-то творить, а я, получив от моей сестры несколько лежавших у нее открыток с видами Ленинграда, начал тщательно выискивать из них лучшую, чтобы на ней соорудить письмецо моему учителю по музыке. Наконец, я решил, что вид бывшей биржи у

Академии наук — самый лучший, и я принялся за составление послания.

Я, обращаясь к Модесту Николаевичу и Марье Ивановне, писал, что, не будь у Раи этой залежавшейся открытки, я бы так и не смог бы им послать письмо с видом города, так как, сколько я ни искал, я нигде не видел во всем Ленинграде каких-нибудь порядочных почтовых картинок. Я вкратце им дал понять о моих чувствах и мыслях, возникших у меня на основании моего пребывания в этом городе, и заключил свое «почтовое произведение» громогласным «ура!», после которого поставил неограниченное число восклицательных знаков.

По просьбе Раи я дал ей прочесть мое послание, после чего она заметила, что я всегда склонен в письмах рождать огромное количество знаков восклицания.

— Я думаю,— заявила она, смеясь,— что по мере прибавления к твоему жизненному стажу новых и новых годов, число восклицательных знаков в твоих письмах должно пропорционально уменьшаться!

Я понял ее и поспешил ответить, что я пускаюсь на эти детские выходки ради чистосердечной шутки.

Итак, окончив с посланием, я решил употребить, наконец, в дело свои богатства цветных карандашей. Ведь не зря же я, в конце то концов волок их из Москвы?!! Я решил раскрасить вид на Мойку из окна, который я нарисовал еще 4-го числа, и расположился на подоконнике, чтобы поминутно справляться у видневшегося из окна пейзажа о тех или иных цветах. Однако я скоро эту затею бросил, ибо увидел, что она только может ухудшить рисунок. Рая тоже была такого же мнения, сказав мне, что цветные карандаши могут придать картине пестрой ненужный ей вид.

— Рисунок по-детски будет выглядеть,— сказала она,— а так, в простом карандаше, он неплох. Так что я не советую!

Я был очень рад, что наши мнения сошлись и поспешил убрать весь хлам в чемоданчик.

Я спросил у Раи, далеко ли лежат их фотографические склады, так как я бы хотел просмотреть их. Я отлично помнил, с каким интересом я всегда рассматривал карточки у Гени в альбоме, когда был в Москве, и теперь мне очень хотелось ознакомиться со снимками моих ленинградских близких.

К моему удивлению, Рая открыла нижнюю крышку у пианино, что находилась под клавиатурой, и достала оттуда весьма изрядный пакет.

— Это мы от Норы здесь их прячем,— сказала Рая,— а то она вечно их разбрасывает и теряет, когда смотрит.

Я расположился у окна на круглом столе и стал с интересом знакомиться с содержимым пакета. Тут были снимки почти всех родичей. Особенно тщательно я рассматривал снимки моих ленинградцев.

— Хорошая девчонка, да? — сказал мне Моня, имея в виду снимки с изображением его наследницы.

Даже при всем своем желании я не смог бы ответить отрицательно, так как за эти девять дней в Ленинграде я достаточно хорошо узнал маленькую Леонору; да хотя и раньше я знал ее как положительного мальчика.

Вскоре к Моне явились его ученики, два черномазых брата, похожих друг на друга, которых он учил игре на виолончели. Они, конечно, не были единственными его жертвами в области музыки... Я своими глазами увидел Моню в роли заправского преподавателя, и, насколько я понимал толк в искусстве, я мог судить о хорошем товарищеском подходе его к своим питомцам. Что касается правильности его преподавания, то об этом я уже не раз слышал от многих лиц.

Неожиданно затрещал телефонный звонок.

— Кого это вдруг к нам несет? — удивилась Рая, правда, весьма гостеприимным тоном.

Оказывается, то была телеграмма из Москвы, в которой моя мамаша и Буба поздравляли меня с днем рождения... Ах, ты, черт!!! Я-то ведь и забыл, что я сегодня появился на свет!

Рая и Моня тоже упустили это из виду, и теперь мне пришлось испытать на себе их дружественные пожелания, весьма тронувшие меня. Разумеется, что я телеграмму решил сохранить как одну из вещественных памяток о моем пребывании в Ленинграде.

Среди снимков я встретил и мой рисунок Кремля, который я послал сюда из Москвы летом и который покрыл в последующих письмах Рае и Моне строжайшей критикой.

— Неважно он получился у меня,— сказал я Моне.— Я им совсем не доволен.

— Он размалеванный уже чересчур,— проговорил Моня.— Яркий очень, как декорация!

— Ты прав,— согласился я.— В следующий раз нужно будет учесть все недостатки, иначе мне придется доставать для себя веревку.

До обеда я решил сходить в город, чтобы, наконец, привести в действительность задуманную мною ленинградскую серию.

Я оделся, утрамбовал в боковом кармане пальто несколько чистых карточек и карандаш.

— Ты бы нам что-нибудь нарисовал бы красками,— сказала Рая,— чтобы можно было повесить на стену.

— Это уж я дома сделаю, когда приеду,— ответил я,— а когда встретимся, тогда ты это возьмешь. Ладно?

— Ладно,— согласилась она, закрепляя сделку.

Прежде всего, я вышел на площадь и, зайдя за мост через Мойку, остановился на противоположной Исаакию стороне площади. Здесь мы и беседовали с Норой о панораме на всю площадь вместе с собором.

Я вытащил карточку и, быстро заприметив все особенности вида, незаметно набросал их на листке. Никто не обращал на меня внимания, и я был рад скромности ленинградцев.

Проходя мимо гостиницы «Астория», я погрузил в почтовый ящик, висевший на ее стене, свое послание моему учителю по музыке и его половине и двинулся дальше.

Я спешил, так как сегодняшний день — последний день моего пребывания в стенах Ленинграда, и мне хотелось еще раз увидеть все его сокровища.

Выйдя к памятнику Петра, я встал в том месте, откуда были видны особенно интересно и памятник, и собор, и тот самый фонарь, на который мы с Евгением еще раньше обратили внимание. Эта панорама была сложнее, и мне пришлось повозиться с зарисовкой дольше, так что в конце миссии мороз мне стал довольно сильно мешать, а в варежках я трудиться не мог. Мимо проходили какие-то дядьки, но никто из них мне не помешал. Что значит мирное время! Будь теперь война, так меня давным-давно б поволокли к Неве и утопили как предателя отчизны, хотя я и делаю зарисовки просто как любитель искусства. Но тогда бы меня расспрашивать не стали бы, не то что верить!

Я тронулся дальше вдоль набережной Невы, мимо корпусов Адмиралтейства. Подойдя к Зимнему, я уселся на лавку в садике и стал запоминать панораму на Неву, на еле видневшуюся вдали Петро-



павловку и на угол Зимнего дворца. Мороз мне не дал долго размышлять, и я поспешил незаметно запечатлеть кое-как и эту картину.

Далее я двинулся вдоль Невы к той арке, которая соединяла Эрмитаж с другими домами, перекидываясь через Канаву. Картину вида Петропавловской крепости из-под арки мне помешали как следует сделать расчищавшие снег рабочие, но я все-таки ухитрился кое-что там набросать. Особенно один из них усталился на меня, как на чудо, и стоял, вроде истукана, открыв свою пасть. Я, конечно, мысленно обозвал его «идиотом» и тронулся дальше.

Завернув за угол Эрмитажа, я увидел снова стоящих чугуновых титанов, подпирающих своды въезда. Далее виднелся угол розового Зимнего, за которым вдаль стоял Исаакий. Это была та самая панорама, которой мы с Женькой особенно любовались. Однако запечатлеть ее на бумаге я не смог, так как тут прохаживался милиционер, скрипя каблукми на снегу. Я получше запомнил все детали и решил положиться на свою память. Однако я все-таки успел на листке молниеносно охватить контуры, но быстро его спрятал, когда приблизилась опасность от обернувшегося ко мне члена милиции.

По Невскому я дошел до Казанского собора, и, встав на берегу канала Грибоедова, запечатлел и этот собор, прибавив к собору видневшийся угол Дома книги.

К памятнику Екатерины я уже не решился идти, так как было пора отправляться за Леонорой в детсад, да, к тому же, и морозец меня за все это время успел пробрать. Памятник Катьки я решил сделать по памяти.

Питомцы детского сада опять возились в снегу, и Нора, увидевшая меня раньше, чем успел ее увидеть я, подбежала ко мне, сообщив руководительнице о своем уходе.

— Ты завтра уже едешь? — спросила она меня по дороге.

— Да, уже еду.

— Ну-у-у! — проскулила она. — Ты бы остался... а то с тобою интересно, а одной скучно!

— Мне дома тоже будет без тебя скучно, — искренне признался я.

— А еще приедешь к нам?

— Может быть. А ты? — в свою очередь спросил я.

— Мы тоже к вам приедем, — ответила она, — только когда, я не знаю еще!

Дома нас уже ждали с обедом. Мы все вместе отдали должное трапезе, и Нора опять решила пустить в ход свои способности в живописи. Энергично орудуя кистью и водой, она изобразила акварелью обширный дом, в окружении которого росли гигантские цветы и вились желтые дорожки.

Рая попросила меня ознакомить ее с моими зарисовками, что я и сделал.

— Они так у тебя в виде набросков и останутся?— спросила она.

— Зачем? Я постараюсь дома в Москве их отделать и прореставрировать.

— А все ли ты запомнил?

— А вот уже готовые рисунки об этом скажут. Сейчас же я об этом лучше промолчу.

— Посмотрим, что у тебя выйдет,— сказала она. Ты тогда пришли нам один из них, а мы сверим с действительностью.

— Это будет очень хорошо,— проговорил я.— Я и сам хотел тебе это только что предложить!

Я говорил чистую правду, так как мысль о такой проверке тоже мелькнула у меня, но Рая меня предупредила.

— А про наши-то похождения под церквушкой мне так и не удалось вам с Моней прочитать,— сказал я.— Ты помнишь, я о них писал тебе в письме?

— Конечно, помню! — сказала она.— В этом уж никого винить нельзя: ты ведь почти всегда был в городе.

— Придется оставить это до следующего раза,— произнес я,— то есть когда мы снова увидимся.

— Видимо так,— согласилась она.— Да! Я забыла тебе сказать, что еще до твоего прихода тебе звонил Женя; я пригласила его, и он скоро должен придти. Я попросила его, чтобы он свои зарисовки захватил. К тому же нас на сегодня пригласила тетя Бетя, вот мы его и уговорим отправиться с нами. Идет?

— Я совсем не прочь,— ответил я, крайне обрадованный скорым визитом Евгения.

Дожидаюсь его прихода, я опять принялся вместе с Леонорой за художество, так как она все время тянула меня к своему столику.

Пришедший Женик принес с собою, кроме рисунков, еще и сверток прекрасной ватманской бумаги, достать который по дороге его попросила Рая. Этот сверток она, оказывается, передавала в мое

пользование. Евгений, не упуская случая, и себе добыл сверток, обещав себя материалом для живописи на довольно долгое время.

Женик по моей просьбе нарисовал Петьку верхом на бронзовом коне, который у него получился в виде карикатуры, чего, собственно, автор и добивался.

Мы вместе с Леонорой сыграли в мою самодельную игру «Полет на Луну», которой Трубадур была крайне недовольна, так как по роковой случайности она все время низвергалась вниз к первому номеру и только один раз достигла лунного круга.

Нужно сказать, что Женька, только что теперь обративший внимание на зеркало, висевшее над диваном, был удивлен, как только оно держится, но я также был занят этим вопросом, так что дать ответ ему я не смог. Я нарочно об этом сейчас вспоминаю, так как я вечно с интересом разглядывал это сооружение, дивясь его прочностью и устойчивости.

Рая ознакомилась с рисунками моего товарища, из которых она особенно похвалила его зарисовки в Зоологическом музее. Она с интересом разглядывала рисунок играющего на виолончели Мони, который Женик сотворил на концерте, и указала на некоторые неправильности в положении нарисованной левой руки. Она попросила Женю оставить у нас альбом, чтобы и Моня после своего прихода домой мог его посмотреть, на что хозяин альбома дал свое согласие.

Вскоре Леонора была уложена спать, и мы стали собираться к тете Бете. Женьку мы уговорили пойти с нами, таким образом, последний вечер в Ленинграде мы с ним должны были провести вместе.

Чтобы обмануть бдительность еще не заснувшей Леоноры (она, конечно, не захотела бы уснуть, узнав, что мы уходим в гости и оставляем ее), Рая пошла на хитрость: сначала незаметно вышли Женька и я, а потом — она с дядей Самуилом.

У тети Бети, оказалось, была Берта (Люсина жена), которая была рада нас лишний раз видеть, но которая упрекнула меня за то, что я не зашел к ним еще раз. Она возилась на диване с маленькой Лилей, которая недоуменно глядела на нас, видимо, не на шутку струсив.

Бетя и Сарра решили устроить трапезу в честь моего сегодняшнего появления на свет. Когда было все готово, оставалось только ждать Моню, который должен был скоро явиться.

Вскоре он пришел, но без виолончели, чему я был очень удивлен.

— Эй! Тортоша! — весело крикнул он ничего не понимающей малышке Лиле. Та в ответ уставилась на него, озадаченная появлением нового лица.

Мы принялись за чай. Женька сидел рядом со мною, и мы с Монеи, недовольные его скромностью, все время подсыпали ему в тарелку сладостей.

Несмотря на веселое время, я чувствовал внутри какую-то тяжесть. Это был уже последний мой ленинградский вечер, и я чувствовал, как ленинградская почва постепенно ускользает из-под меня... И хотя я еще был в окружении ленинградских улиц и домов, хотя еще видел перед собою своих ленинградцев, хотя еще по приходу домой мог видеть спящую Трубадур,— я знал, что все-таки я от них всех чем-то оторван, между нами уже существовала нарастающая преграда...

Не знаю, о чем думал Женька, но я знал, что и он был не очень-то рад отъезду из Ленинграда.

Веселым моментом было время, когда мы все вместе рассматривали снимки из альбома тети Бети. Дядя Самуил при содействии Мони невозмутимо сунул одну из карточек в карман! Бетя всплеснула руками!

— А-а-а! Ничего тут страшного нет! — сказал дядя с удивленным видом. — У нас такой нет, а у вас вот там еще вторая лежит! Вот она! Видите?

Бетя старалась быть внимательнее и энергичнее, но это не помогало! Под общий хохот Моня стянул еще одну карточку, двойник которой был обнаружен в альбоме. Ничего не скажешь — мы действовали честно!

— Тетушка! — обратился Эммануил к Бете.— Неужели тебе жалко подарить своим близким родственникам несколько снимков из нашей родни?! Я знаю, что ты добрый и щедрый человек, так ведь? Ведь мы друзья?!

Ну что несчастная хозяйка могла на это возразить?! Ровным счетом — ничего!

— Хороший парень он, — шепнул мне незаметно Женька, имея в виду Моню. Я, конечно, в этом не сомневался.

Когда мы уходили, тетя Бетя и Сарра горячо просили меня передать привет всем близким в Москве и особенно — своей мамаше и Бубе. Берта тоже собралась уходить, и мы вышли все вместе.

С Женей мы попросились на остановке троллейбуса у самой Фонтанки. Отсюда ему было недалеко до своего дома, так как он мог скоротать путь, двигаясь по набережной.

— Не забывайте нас, Женя! — сказала Рая.

— Еще раз как-нибудь приезжайте, — добавил от себя Моня. — Думаю, что здесь вам было интересно!

— Еще бы, конечно, — ответил Женик. Он скрылся в темноте, а мы все вместе вошли в подъехавший троллейбус, в котором свобод-но заняли места, так как он был почти пуст.

Берта сходила раньше нас, поэтому она вскоре обратилась ко мне, чтобы я обязательно передал от нее привет маме.

— Скажи, что от Люсиной жены, если мама меня не помнит, — сказала Берта.

— Зачем? — удивился я. — Мама прекрасно вас помнит! Я прямо скажу, что привет от Берты! Так будет по-родственному, истинно по-товарищески, а то, если сказать «от Люсиной жены», — то это будет выглядеть сухо и холодно. А к чему так? Ведь мы считаемся друзьями!

— Вот это мне нравится! — сказала Рая. — Честное слово!

— Действительно, верно! — проговорил Моня, хлопнув меня по плечу.

Я был сильно польщен такими ответами на мою искреннюю и чистосердечную тираду.

Минут через десять мы были дома. Леонора сладко спала, уткнувшись в подушку... В последний раз я видел ее в такой позе и в спящем состоянии: завтра в это время меня уже здесь не будет.

Мы сели за ужин, за которым на столе фигурировала бутылка с каким-то винцом.

Дядя, хитро улыбаясь, выложил на пианино отвоеванные у Бети карточки, что напомнило нам эти уморительные сцены «честной кражи».

Моня и дядя Самуил осушили свои стаканы. Я, конечно, и не думал в этом брать с них пример.

— А ты, Рая, чего не пьешь? — спросил дядя.

— Сейчас буду, — ответила та.

— Что, дядюшка?! Скажи-ка откровенно! — весело сказал Эммануил, хитро глядя на своего собеседника. — Ведь это твоя любимая дочка! Так ведь, а?!

— Для меня все равны, — смущенно ответил дядя.

— Ну, это папаши все так отвечают, — не согласился Моня. — Я уж тебя знаю! А откровенно скажи!

— Не знаю уж...

— Ну, то-то же! — рассмеялся Эммануил. — Я ведь знаю, что это твое любимейшее чадо!

По-моему, Моня был совершенно прав.

Мне пришлось выдержать осаду Мони и дяди, которые очень желали, чтобы и я выдул рюмку. Моня, между прочим, говорил, подзадоривая меня, что, когда я вырасту, я буду глушить спирт целыми цистернами, но я энергично говорил совершенно противное. Рая разделяла мой взгляд и оказалась ярым противником своего муженька и папаша. Мне как родившемуся сегодня смертному все по-жертвовали лишний большой кусок пирога.

— Мне выгодно к вам приезжать сюда в январе, — сказал я, — так как каждое десятое число я буду ежегодно получать лишнюю порцию. Так ведь!

— Совершенно верно, — не замедлил согласиться Моня.

Еще давно Рая говорила мне, что Галина Львовна сейчас не в городе, а в одном из домой отдыха, и что она, уезжая туда, очень жалела, что не повидается со мною в Ленинграде. Я сам тоже очень бы хотел ее видеть, хотя мы с ней виделись относительно недавно, так как осенью, 5 сентября, будучи в Москве, она к нам заходила (я об этом писал), и ради всего этого я теперь настоятельно просил Раю передать ей от меня горячий привет, когда она вернется в Ленинград. Рая это мне обещала.

Мы поужинали и решили, что пора уже воздать должное сну.

Моя последняя, к сожалению, ленинградская ночь наступала... А мне бы хотелось, чтобы этот вечер тянулся вечно, чтобы ночь не наступила вообще, чтобы затянуть мое пребывание в городе Ленина...

**12-го января.** Я уж не могу сказать, как именно я проспал последнюю мою ночь в Ленинграде... Мне кажется, явились в сновидении мои ленинградцы... но больше я ничего не помню.

Я встал рано и встал в очень тяжелом настроении. Я решил в последний раз отвести Трубадур в ее детсад, тем более, что она ни за что не хотела, чтобы меня сменил кто-то другой.

Нора попросила меня, чтобы я оставил ей сделанную мною игру «Путешествие на Луну», что я и сделал с большим удовольствием. Я ей вырезал лишний волчок, и она осталась, видимо, очень довольна.

Рая тепло пожала мне руку и сказала, что, когда я вернусь из детского сада, ее и Мони, наверное, уже дома не будет, так как они должны уйти в филармонию.

— Так что на всякий случай давай попрощаемся, — сказала она. — Хотя, может быть, ты нас и застанешь, но я не уверена.

Моня за последние дни сильно страдал от зубной боли, и потому мы с Раей не хотели его будить. Я попросту передал ему через нее горячий до белого каления привет.

Тяжелые для меня были эти минуты, но я старался не унывать.

— Как приедешь, подробно напиши о своей дороге, не забудь только, — сказала она.

— Обязательно! — ответил я. — Ты ведь знаешь, что, когда дело касается письма к вам в Ленинград, то меня долго просить не нужно.

Рая приготовила мне в пакете кое-что съестное на дорогу и, когда я одевался, передала привет моей маме и Бубе.

Сегодня в последний раз я должен был зайти после сада за хлебом, и поэтому я отправился с Норой, захватив с собой капитал и газету.

По дороге Нора настоятельно просила меня что-нибудь нарисовать ей в письме; я, конечно, с большим удовольствием дал согласие на эту миссию.

В детском саду я с ней попрощался, велел быть ей хорошей и послушной малышкой, пожелал ей всего хорошего и наилучшего, и отправился назад, зайдя по дороге за хлебным грузом. Именно в этот день я с особой тщательностью проделал всю процедуру в хлебной лавчонке, так мне хотелось и в последний день сделать что-нибудь полезное своим ленинградским родичам.

Если бы вы знали, как я стремился к дому моих ленинградцев! Я надеялся, что еще застану их дома и смогу повидать их еще раз, но я ошибся... Они уже ушли, и это повергло меня в удручающее настроение.

Оставшийся дома дядя Самуил передал мне десятирублевую бумажку — подарок для меня, оставленный Раей и Моней... Если бы они еще были дома, то я мог бы с благодарностью отказать от этого, но теперь я мог только лишь это принять, чтобы не обидеть их, когда они вернутся домой.

Теперь я был уже полностью оторван от Ленинграда, так как с самым главным в нем я уже расстался: ни Раи, ни Мони, ни малень-

кой Леоноры я уже не видел! И хотя я еще был на территории этого города, я уже не обращал на это внимания и уже не считал это для себя ценным.

Я позвонил Женьке и сказал, что выхожу. Поезд уходил в час дня, сейчас же было полдвенадцатого, и нужно было спешить.

С помощью дяди я упаковал весь свой багаж, потом оделся и попрощался с дядей и с Полей.

В последний раз я оглядел эту всегда казавшуюся мне замечательной комнату, стараясь запечатлеть ее надолго (ведь кто знает, когда я здесь буду в следующий раз?), и покинул свое ленинградское пристанище. Даже с лестницей мне было жалко расставаться!

Обходя площадь, я пристально созерцал фиолетовый от мороза, мощный облик собора, и когда он исчез за углом гостиницы, я подумал вслух:

— Вот и все!!!

Я прошел по набережной Мойки мимо детского сада, где была уже далекая для меня Трубадур, и вступил на Невский проспект. Для веселья я затянул марш из «Аиды», и под его аккомпанемент я прошел по проспекту до Фонтанки, попрощавшись с Казанским собором, памятником Екатерины и прочими его сокровищами.

Женька уже был готов, когда я явился к нему, и через некоторое время мы уже шествовали с ним к вокзалу по Невскому проспекту.

«Всего лишь часа полтора-два я еще видел перед собою и Моню, и Раю, и Нору, в общем, я был тогда в полноценном Ленинграде,— думал я,— а теперь...» Я так и не закончил этой мысли.

— Когда-то я шел по этому Невскому так же с этим чемоданчиком, как и теперь,— сказал я Женику,— но тогда я шел с вокзала, а сейчас — на вокзал.

Ознакомившись с нашими билетами, контролерша впихнула нас на перрон. Нам пришлось пройти почти весь состав, пока мы не достигли своего вагона, но мы ничего не имели против долгой дороги по перрону: ведь это все-таки как-никак был ленинградский перрон!

Отыскав свои полки в одном из купе, мы узнали, что нашими соседями были именно та тетушка с парнишкой, с которыми мы стояли в кассе на городской станции. Их провожала целая гурьба ласковых девиц, которые без умолку трещали до самого отхода поезда. Веселая была орава!



Мы же с Женькой хладнокровно поставили на наши полки свои поклажи и трубки ватманской бумаги и, ставив с себя пальтишки, молча стали созерцать всю эту крикливую толпу, лаконично отвечая на ее кое-какие вопросы. Перед самым отходом поезда провожавший наших соседей народец скрылся, а через пару минут вагон дернуло... Прощай, Ленинград!

Мимо нас поплыли длинные платформы с навесами, пестрые толпы провожающих; затем засверкали на снегу паутины рельсов, зачернели дымящиеся паровозы, составы вагонов, цистерны и угольные пасти депо.

Мы сидели на нижних полках и болтали с соседским мальчуганом Толькой о Москве и Ленинграде. В один прекрасный момент Женик сказал, что, если бы каникулы продлились, то он без промедления остался бы до их конца в Ленинграде. Я и сам был бы не прочь от этого и поэтому дал полное согласие на это счет Евгению от своего имени.

— И стоило вообще нам ехать, чтобы возвращаться назад! — сказал я.

В вагоне было просторно, и мы частенько залезали на багажные полки под самый потолок под лучи ярких электрических ламп, где мирно и дружественно проводили время. Эти полки мы называли, конечно, не иначе, как «раем», ибо на них было чертовски уютно и душепокоряюще.

Мы с Жеником почтили память Ленинграда в лице съестных припасов, которыми нас щедро наградили наши ленинградские родственники, и не замедлили уничтожить их, ибо пришло время ужина.

— В общем, мы неплохо провели там время! — сказал я Женьке.

Он уныло посмотрел на меня и искренне попросил:

— Не говори мне об этом!.. Тяжело...

В поздний час, когда говор в вагоне утих и кое-где уже уснувшие смертные начинали свистеть во сне, мы с Женькой расположились на своих полках на боковую. Я взвинтился вверх на свою верхнюю полку, Женик улегся на нижней, и мы под стук колес сладко заснули.

Я проснулся уже почти под самой Москвой. В вагоне были глубокие сумерки, так как часть ламп была загашена. Женик уже сидел внизу и мрачно считал пробежавшие в темноте за окном блуждающие огоньки...

— Чч-черт! Вот тебе и Москва уже... — промычал Женька.

— Не наводи тоску! — строго сказал я, хотя и сам готовый впасть в уныние.

Около семи часов утра поезд остановился на Ленинградском вокзале в Москве.

Москва-матушка встретила нас крепчайшим утренним морозом. Было еще совсем темно, и, когда мы вышли на площадь, она еще была освещена прожекторами с крыш вокзалов.

— Теперь, Женик, не мечтай здесь найти улицу, которая привела бы тебя к Исаакию! — трагически произнес я.

— М-да, — ответил он. — За одну какую-то ночь мы так отделились от него... А тут уже его нет!

Мы с ним были, безусловно, удручены; однако коварный мороз загнал нас в метро, и мы покатали к центру города по подземной дороге.

Прощались мы на станции «Библиотека Ленина».

— Ничего! — бодро сказал мне Женька. — Еще не все потеряно!

— Ясно! Ведь мы еще живем, — с серьезным видом согласился я.

От станции метро до дому я двигался как-то неуверенно, чувствуя себя в окружении Москвы еще не совсем привычно.

Лиза и Менька еще спали, когда я явился домой; мама же ушла уже на работу.

Менька сейчас же вскочил и стал с интересом следить за выгрузкой моего чемоданчика, хотя я его предупредил о том, что кондитерский мир Ленинграда я забыл привезти ему в подарок, и чтобы он не так уж алчно кидал свои взгляды на мой багаж. Но это не помогло!

Время быстро шло, и когда часы показали половину десятого, я невольно вспомнил о том, что в это время в Ленинграде я сейчас уже собирался бы с маленькой Норой в ее детский сад. Это воспоминание только ухудшило мое настроение, и я постарался изгнать его из своего существа.

Да! Вчера в десять часов я еще был счастлив, но, когда время подошло к одиннадцати, я не мог не подумать о том, что уж в этот час вчера я потерял интерес к Ленинграду, ибо в тот момент я уже не видал около себя ни Раи, ни Мони, ни Трубадур.

Целые потоки мрачных мыслей пронесли у меня в мозгу. Я думал о том, что только что, можно сказать, я видел моих ленин-

градцев наяву, а теперь я могу общаться с ними опять какими-то письмами. Время, проведенное в Ленинграде, мне теперь показалось таким коротким!.. Короче говоря, это у меня самые интересные каникулы, какие я только проводил, но зато каникулы с самым мрачным концом. И нужно было мне ехать туда, чтобы при возвращении чувствовать в себе ту тяжесть, которая облегла теперь мои внутренности... Но, все же, как-никак, если здраво рассуждать, то поездкой я был, конечно, очень доволен!

Днем я тщательно выкупался, после чего написал подробно о моей дороге и приезде в Москву своим ленинградцам, прося их в письме сейчас же, не замедляя, ответить мне.

Таким образом, окончился мой последний свободный день, так как завтра я должен был снова окунуться в надоедливую школьную жизнь! Позвонивший мне Мишка так же не очень-то уж желал вновь свидеться со своей школьной партией; к тому же он меня уверял, что собирается скорее вздернуть себя на осину, ежели отдастся завтра на немилость кровожадной школы.

Чтобы отделаться нам от школы, я предложил Стихиусу свои услуги и сказал, что готов помочь ему повеситься с тем, чтобы после своей кончины он помог бы удавиться и мне. На это он не согласился!

**5-го июня.** Пусть уж меня простит читатель за такой чудовищный перерыв в записях, но, собственно говоря, дело было в том, что я, будучи дьявольски утомленным обширными ленинградскими заметками и думая, что за последние месяцы учебного года ничего уж особенно интересного и умопокоряющего не случится, решил отдохнуть от «ратных дел» вплоть до окончания учебы!

Но все же, вопреки моим ожиданиям, за этот несколько обширный период времени находили местечко кое-какие заслуживающие внимания случаи, так что я сейчас обо всех них вкратце все-таки думаю упомянуть.

Я думаю, что читатель догадывается о подробностях моего пребывания в первые дни в Москве, после поездки в Ленинград...

Почти каждую ночь я видел во сне своих ленинградцев: то будто бы я снова поехал к ним, то якобы они приехали к нам; я только удивлялся, как только мне не приснилось, что я их будто бы вижу где-нибудь на Луне или Сатурне. Эти проклятые сновидения попросту искушали меня самым коварным образом.

Ехал ли я в трамвае, мне казалось, что я якобы еду в ленинградском трамвайчике по проспектам Ленинграда; брал ли я в руки какой-нибудь предмет, бывший со мною в поездке, я вспоминал дни, проведенные у Раи и Мони, и думал, что эта самая вещь тоже видела Ленинград, как и я...

Еще до Нового года я только и жил тем, что ждал наступления каникул, чтобы отправиться в город Ленина — это была моя заветная цель, — после же поездки я уже думал о пустых ненужных днях, так как теперь у меня уже не было какой-нибудь цели, к какой я мог стремиться!

Каждое утро и каждый вечер я вспоминал, как я отводил Трубадур в детский сад, и думал о том, что если б я был сейчас в Ленинграде, то в эти моменты по утрам, так же как и в каникулы, я ходил бы с Норой в ее «Очаг», а вечерами забирал бы ее оттуда.

Как-то мама показала мне Раино письмо, которое та написала еще тогда, когда я был в Ленинграде. Я с благодарностью узнал о хорошем мнении и чистодружественных и родственных чувствах Раи ко мне, которые она вылила в описаниях моего пребывания у них и в описаниях моего отношения к ней самой, к Моне и к маленькой Леоноре. Содержимое этого письма было очень для меня ценным, и я часто перечитывал его.

Помню, что 18-го января я отправился в первый раз после возвращения в Москву на урок к М.Н. Я очень был рад встрече с ним и с М. Ив. Я не забыл, конечно, спросить у них, получили ли они мою открытку из Ленинграда, на что они ответили утвердительно. Я попросил их простить меня за не очень уж красивый вид открытки, но других панорам я не встречал в Ленинграде.

Я заранее знал, что ответит на это М.Н.; и действительно! — он ответил именно то, о чем я подумал и что я ожидал от него.

— Не столь уж дорога, голубчик, открытка, сколько дорого само внимание! — сказал он.

Я с интересом рассказывал им о моих свежих и незабываемых впечатлениях о Ленинграде и моих ленинградцах. Воздал я должное и малышке Трубадур, когда рассказывал о тех невинных часах, проведенных с нею.

— Хорошая она девчурка? — спросила меня М. Ив.

— Очень, — ответил я, не в силах скрыть улыбку.

Не получая почему-то ответа от Раи, я 19-го числа написал открытку в Ленинград, где спрашивал, получили ли они мое письмо

о моей обратной дороге. Я также попросил Раю и Моню спросить у Норы, что именно она хочет, чтобы я ей нарисовал и послал, так как я отлично знал, что рисунок, желаемый ею самою, понравится ей больше всякого другого.

Но мне неожиданно повезло, и в тот же день вечером я получил ответ от Раи на мое «последорожное» письмо. Я был до того рад ему, что чуть не лишился ума; этому способствовала вложенная в конверт открытка с видом памятника Петру. Впоследствии я очень часто проводил время у М.Н. за рассказами о Ленинграде.

— Хороший город, я вижу! — сказал он мне как-то раз.

— И вы там вдобавок не были! — добавил я. — Это же истинное преступление для человека, связанного с искусством.

— Зато тем больше чести для тебя, — проговорил мой учитель, — так как ты сумел своими рассказами очень сильно заинтересовать нас этим городом.

— Вот именно, — подтвердила М. Ив. — Спасибо, что хоть ты нас ознакомил с Ленинградом.

Это происходило 25 января, а вечером этого же дня мне звякнул Женька, который спросил меня, не надоела ли мне Москва. Впрочем, разговор наш был короток, ибо по радио стали передавать юбилейный концерт из произведений Верди, где весьма крупно фигурировала и «Аида».

В ночь, тут же наступившую после дня 25 января, мы все были разбужены телефонным звонком. Звонила Рая из Ленинграда; она сообщила, что дядя Самуил (ее папаша) выезжает в Москву, так что пусть Лиза будет готова к встрече со своим родителем.

На следующий день Лиза отправилась к Гене, и они совместными усилиями повстречали на Ленинградском вокзале своего отца. Вечером Елизавета вернулась, сообщив, между прочим, что дядя решил воспользоваться случаем, чтобы побыть немного у домашнего очага своего сынишки Гени.

Я ожидал приезда дяди Самуила, как живой весточки из Ленинграда, так как мне очень хотелось свидеться с ним в Москве, вспомнив также наши ленинградские похождения. Лиза рассказала нам со слов дяди, что наши ленинградцы очень довольны моим визитом «прямо без ума» от моей личины. Признаться, уж таких горячих слов я не ожидал из Ленинграда!

— Ты знаешь, тетушка! — распространялась Лиза моей мамаше. — Норочка спит и во сне говорит про него! — И она указала взглядом на меня. — Я тебе говорю! Папа же сказал! Спроси у него!

Что касается меня, я был очень рад такому близкому отношению Трубадур ко мне, но я чувствовал себя все-таки не в своей тарелке, когда Лиза так усердно ораторствовала по сему поводу.

Дядя к нам пришел на следующий день — 29 -го, и мы всей гурьбой радостно встретили его.

Моя родительница, понятно, пожелала сейчас же узнать новости из Ленинграда, но, к моему удовольствию (хотя я чувствовал себя очень неловко в этот момент), дядя прежде всего повторил вчерашнее сообщение о моем пребывании в стенах Ленинграда.

— Единственное, чем Норочка недовольна, — это тем, — сказал он, — что Лева так скоро уехал. Она жалуется мне и просила Раю, чтобы он вернулся. Что ты скажешь на это, а? — спросил дядя у меня.

— Мы с нею крепко подружились, — сказал я.

— Она за тебя мешок с золотом готова отдать, ей-богу! — проговорил дядя. — Поедем в Ленинград, а?

— Поедем, — согласился я. Я, конечно, жалел, что это была шутка.

2 февраля я решил образумиться и вечером принялся за отделение своих ленинградских зарисовок. Ясно, что, проделывая это, я вспоминал те места, которые когда-то видел наяву, и теперь созерцал только на бумаге... Жалкое подобие!!!

Я решил действовать по порядку и оживлять рисунки в той последовательности, в какой они появлялись на свет еще в Ленинграде. Вид на Мойку из окна и памятник Петра с Исаакием были готовы еще в Ленинграде, и я приступил к отделыванию панорамы Петропавловской крепости из-под арки.

На следующий день — 3 февраля — грянули морозы, и мы, грешные жертвы свирепых школьных живодедов, обрадовавшись сотрудничеству природы, остались дома. Я воспользовался этим и восстановил на карточке вид Эрмитажа.

Дело дошло до того, что я ударился в живопись даже на уроках. Особенно я творил на нудной истории, так как слепая историчка по своей столетней натуре ни бельмеса не замечала. Прямо чернилами, скрытый от нескромных, а также и скромных взглядов, я выводил некие ленинградские пейзажи, руководствуясь памятью. Надо полагать, что эти творения я сохранил.

Так постепенно появлялись на свет уже отделанными все новые и новые зарисовки.

Дядя Самуил и Лиза уехали домой в Одессу 7-го февраля. Так что с той поры у нас остался лишь один гость — Моникус, который так-

же собирался умчаться в Ленинград к отцу, так как последний его настойчиво вызывал.

Уехал Монька 9-го. Я ему не завидовал, хотя он даже и ехал в Ленинград, так как я знал, что едет он не с теми мыслями и взглядами, с которыми ехал бы туда я. Я поручил ему лишь передать привет Исаакиевскому собору.

В этот же день я побывал у М. Н. Мы разговорились с ним о рисовании. Он и его супруга кровожадно бичевали меня за то, что я бездельник и мошенник, не желаю учиться живописи... Но раз М. Н. в моем взгляде гениальный человек, то он не мог не высказать удивительно оригинальную мысль.

— Я уж, по крайней мере, спокоен за то, — сказал он, — что ты, хотя и не желаешь учиться рисовать, все равно в жизни, наверное, не забросишь это дело.

— Попробует он это сделать, — сказала строго, но шутя, М. Ив. — Тогда к нему у меня не будет пощады.

— А мы сейчас вот что спросим, — проговорил мой учитель. — Скажи-ка, дружок, — обратился он ко мне. — Ты без рисования можешь жить? — Это был дьявольски прямой вопрос.

— Нет! — твердо ответил я.

— Ну вот! Я так и думал! Человек, если он интересуется чем-нибудь, то в каких бы условиях он ни был, не забросит свои стремления к этому. Пусть бы он даже был в крайне неблагоприятных для этого условиях. Были люди, которые рисовали углем и гвоздями на тюремных каменных стенах!.. Некрасов, например, писал стихи во времена особенной нужды настоящей сажеей, а все-таки оставить свое дело не пожелал!..

Ясно, что М. Н. был, безусловно, прав.

В подтверждение мнений своего учителя я рассказал ему и М. Ив. о моем списке рисунков на различные интересующие меня темы, которые я мечтаю создать. По-моему, создание такого списка говорит очень ясно, что рисование я не заброшу ни под каким видом и никогда.

Из одного из ответных писем из Ленинграда я узнал, что Нора хотела бы и поэтому очень просит, чтобы я ей нарисовал фигуру Ильича, которую должны будут водрузить на Дворец Советов.

Ради моей любимой маленькой родственницы я не пожелал отделиться таким простым заданием и сам от себя решил прибавить к фигуре вождя весь Дворец, о чем и написал в Ленинград.

Как-то к нам зашла Маня. Мы были очень рады ей, и на наши вопросы она ответила, что все у них живы-здоровы, только Петя уж очень утомляется от долгих занятий, хотя сам он готов просидеть все ночи напролет над интересующими его научными книгами.

Я всегда знал, что Петя истинный школяр! Себя я тоже считаю таким. Учеба такого рода ученикам, как бы они ни учились, надоедает, но, когда дело доходит до встречи с любимым делом, не связанным со школой, то эти же самые смертные, проклинавшие учебники, находят в себе энергию и усидчивость, чтобы заниматься этим близким для себя делом многие часы, не зная устали.

Дело заключается не в одной только школе! Люди могут бездельничать в классах, лениться решать всякие урочные проблемы, но это не значит, что эти жители Земли — опустившиеся лодыри и идиоты. Многие из них, понимающие, что в школе они частенько получают то, что их совершенно не касается и не интересует, то, с чем они не думают встречаться в жизни. А, следовательно, то, что им и не понадобится никогда в жизненном труде; понимающие, что все же, несмотря на все это, они должны по принуждению других, против своих интересов и воли, зазубривать эти части уроков, чтобы, выпалив их учителю, забыть их (т.е. зазубривать их не для себя, а для учителей), должны тратить на них время и энергию, а ведь это сильно удручает и возбуждает сознание: мысль о том, что все это тебе не нужно, никогда не пригодится, и что ты совершенно зря изнашиваешь сейчас свою силу. А это все ведь очень тяжело!

И этим людям приходится под напором других слепо вколачивать совершенно не ценные для себя уроки в свою голову вместо того, чтобы обратить эту всю свою силу и усидчивость на любимое дело, которому думаешь посвятить жизнь и которое поможет тебе жить. Я по себе сужу! Именно поэтому внешкольные занятия по интересующим меня отраслям науки приносят мне больше пользы, чем все эти рабские зубрежки в школе. Я когда-то упоминал слова Горького, а теперь еще раз повторю, что, когда работа есть собственное желание, тогда жизнь легка, но, когда обязанность, то жизнь каторга<sup>83</sup>. Именно поэтому человек, лентяйничавший за партой и не способный и минуты просидеть за уроками, готов ночи отдать близкому и любимому делу.

Конечно, не нужно быть односторонним, нужно знать многое, но, если только это «многое» тебе пригодится впоследствии; а если

---

<sup>83</sup> Точная цитата М. Горького звучит так: «Когда труд — удовольствие, жизнь — хороша! Когда труд — обязанность, жизнь — рабство!»



эти знания до самой смерти твоей не дадут тебе ничего полезного и не смогут быть помощью твоему основному делу, то они тогда и не нужны!!! Но знать только для того, чтобы держать груз в голове, как пустой балласт, и не иметь возможностей применять его — это рабское, тупое преклонение перед наукой. Зачем же тогда человечество имеет лозунг: «Без практики наука не существует!»?

Следовательно, так и выходит, что, скорее всего, личные занятия приносят пользу и желанные результаты, чем обязательные и беспресловенные уроки в школе.

Раз без практики нет науки, то тогда и нечего изучать то, с чем ты не думаешь встречаться в жизни и что тебе совершенно не нужно, что тебя не интересует. В школе же мы получаем такие знания, которые без практики в жизни все равно забываются, а следовательно, большая часть времени в школах проходит зря.

Единственное, что нужно знать обязательно каждому, это — законы грамматики, арифметики, начальной геометрии и кое-что основное для дополнительного разнообразия из природоведческих наук. С этим мы встречаемся на каждом шагу, когда пишем кому-нибудь письмо, когда стоим хотя бы у кассы, когда желаем отмерить разные расстояния на листе и когда находимся в горах или лесах.

Все же остальные мудрости наук пусть человек изучает отдельно по своему выбору, вкусу, взглядам на будущее и здравому интересу — только тогда все будет целесообразно и не будет лишней траты времени на ненужные знания.

Ведь сколько раз я сам должен был бросать интересующие меня занятия и дела, в которых я с упоением забывал все, в которых я вырастал, жил, чтобы тратить золотое время на надоедливые уроки, знания от которых мне были совершенно не нужны. Я становился несчастнейшим рабом школы; я менялся и принимал придавленный, жалкий, презренный вид... Где то упоение, стремление вперед и творческий блеск в глазах, которые сопровождали меня в интересующих меня занятиях.

С какой жалостью и состраданием я смотрел, возясь с сухими учебниками, на свои оставленные, жаждущие продолжения любимые дела... А я тратил время на мертвые уроки для удовлетворения учителей и школы вместо того, чтобы отдать его на процветание и рост во много раз ценным и дорогим для меня занятиям, которые мне больше нужны, полезны и пригодятся в жизни, чем эти ненавистные страницы учебников. Обязанность уроков угнетает меня,

трата времени на них и оторванность от личных занятий частенько — в часы отчаяния — притупляют мои интересы и взгляды; выходит, что от уроков я становлюсь тупой машиной, между тем, как личные занятия действительно по-настоящему учат меня работе, пополняют мои знания и способствуют истинному развитию. Ведь уроки я делаю рабски, лишь бы угодить школе, нимало не интересуясь, как у меня они выйдут — разве это образование?! Разве при таком отношении к делу, при таком положении можно забрать хоть что-нибудь в голову?! Никогда! Это тюрьма!!! То ли дело внешкольные занятия! Вот где я имею свежую голову; вот где готов прожить часами, искренне раздражаясь оторванностью от дела, когда приходится завтракать, обедать или идти спать... Бывало, я уменьшал порцию, чтобы меньше тратить времени на еду, а иногда и вовсе забывал, что человеку нужна пища, и мои завтраки и обеды оставались нетронутыми!.. Вот при таких отношениях к делу можно только набрать знания, закрепить их в мозгу и научиться применять их на деле в жизни... А почему это у меня так? Да потому что этому способствует сознание того, что все это делается не зря, что эти труды и время не пропадут, что это тебе поможет и пригодится в жизни! Вот это занятия!

И неужели я, сравнивая себя за уроками и за школьными занятиями, буду уважать школу?

А ведь если бы в школах было все целесообразно и соответствовало бы здравому изучению только необходимых знаний для всех, а потом — изучению нужных и полезных знаний для каждого в отдельности ученика, в связи с его склонностями и взглядами на жизненные работы, то разве приходилось бы учителям ставить «плохие» отметки и драть горло на баловавшихся воспитанников?

Не все зависит от учеников! Кое-что зависит и от самого построения учебы в школе.

Я знаю, что здравомыслящий школьник поймет меня. Я не ищу поддержки у вконец отупевших учеников-автоматов, которые, кроме зубрежки, ни черта больше не знают и ни к чему не стремятся, которые рабски и слепо, не сознавая, для чего они так стараются, лезут из шкуры, чтобы получить похвалу учителя и достойную «посредственную» отметку. Я ищу поддержки лишь у настоящих школьников, с полным сознанием и имеющим личные интересы.

Меня часто спрашивают, ради какого дьявола я не отличник. Я обычно в ответ что-то мямлю и толком никогда не отвечаю, ибо

наученный горьким опытом, я не даю прямого ответа на подобный вопрос. Раз я критически отношусь к построению учебы в школе, то я не стремлюсь быть отличником, так как школа — не идеал мой, и быть отличником — не моя гордость и не мое удовлетворение; я удовлетворен лишь тогда, когда в своих внешкольных делах я достигаю каких-либо желанных успехов... Вот где я хочу быть деятельным! А в школе с меня хватит и посредственных успехов, так как по своему желанию я не намерен отдавать ей больше времени, чем я ей отдаю по обязанности.

Я больше заинтересован, чтобы больше времени я тратил на свои домашние работы как более ценные и нужные для меня. Лучшее для них я уделю это время.

Я выразился сейчас здесь, что, дескать, я не отвечаю на вопрос «почему я не отличник?» потому, что научен горьким опытом. Этот опыт заключается в том, что однажды я имел неосторожность прямо ответить одному из своих собеседников из взрослых на этот вопрос. Он не понял меня и сказал, что я, наверно, просто не в силах быть отличником и потому ссылаюсь на эти доводы. Я не знаю, смог бы я быть отличным учеником, если б захотел, или нет; это решать я не берусь, так как свои силы в школьных рамках я никогда еще по-серьезному не пробовал, а хвалиться или понукать самого себя тоже не очень-то желаю, но, откровенно говоря, этот вопрос меня мало интересует.

Если же и сейчас еще кто-нибудь будет мне толковать о том, что нужно, мол, быть разносторонне развитым и т.д., то я еще раз могу повторить, что для видимости, впустую, бесцельно, для того, чтобы только сказать гордо: «Я знаю!» — и ничего больше — учить не стоит.

Я сторонник разносторонних знаний только в том случае, когда из всех них можно извлечь пользу, применить в жизни и когда они, по крайней мере, дополняют друг друга и взаимно помогают! Видимые же разносторонние знания без применения и пользы от них, это не знания, а дырка от баранки, пустота, ненужный поглотитель рабочего времени. Именно их-то мы большей частью и получаем в школе! Я клянусь, что из всех уроков, проведенных мною в классах, только 1/5, может быть, будет практиковаться в жизни.

Нужно сказать, что Мишка полностью в этом всем согласен со мною. На следующий день — 12-го февраля — он как раз позвонил мне и сразу же начал разговор с совершенно неожиданных слов.

— Левка! Сказать тебе великую истину?! — произнес он таким тоном, будто открыл величайший в мире закон.

— Ну, скажи.

— Сказать?!

— Ну-ну!

— Только что, — сказал он, — мне в голову пришла гениальнейшая мысль о том, что раз существуют такие адские ужасы на земле, как школа, учителя и уроки, то, значит, — все люди сволочи, раз позволяют это.

— Ей-богу, ты прав! — согласился я.

— Честное слово! — продолжал, возбуждаясь, Мишка. — Все на свете сволочи, вот что! Это самая великая истина, которую я знал когда-либо. Я бы взял да и перевешал бы на первой же осине всех подлецов-учителей. Клянусь тебе! А нашу директоршу-скотину, черт ее дери, вздернул бы впереди всех. Вот убей меня, сделал бы это!

— Я бы поступил с ними снисходительно и более милостиво, — сказал я.

— И у тебя есть чувство пощады к этим деспотам? — возмутился Стихиус.

— Той милости, которую я преподнес бы им, они достойны не менее твоей расправы, — проговорил я. — Я бы сначала вдарил бы им по морде по паре здоровых тумачков, а потом бы утопил их в первой же попавшейся луже, если б не попалась мне под руку река.

Нужно сказать, что в тот же день я кончил отделявать зарисовку Казанского собора, так что тогда мне осталось отчеканить последнее творение — памятник Екатерины с Александринским театром позади.

Желая выполнить просьбу Раи, я решил, не дожидаясь финальной картинки, бросить жребий; последний пал на вид Эрмитажа. Я был рад этому, ибо Эрмитаж был один из самых приветливых рисунков, и мне можно было смело отослать его для проверки в Ленинград. Ясно, что это был своего рода и подарок, так что получить обратно я его не собирался.

Как-то в феврале, кажется 16-го, я зашел к Женьке. Мы начали болтать, конечно, о Ленинграде. Я сказал ему, что Рая и Моня хотят переехать сюда, в Москву, и что я, со своей стороны, очень бы желал этого.

— Но тогда ты потеряешь Ленинград! Как же ты сможешь ездить туда, если их там не будет? — спросил Евгений.

— Э-э, голубчик! — проверещал я. — Да если их не будет в Ленинграде, то я и не очень-то уж буду стремиться к нему. Большая ведь часть моей привязанности к этому городу падает на моих ленинградцев. Имей в виду!

Затем мы стали распространяться о будущем. Женина мамаша все время уговаривала меня стать художником, а науками заниматься как любителю; на это я ответил, что быть художником по профессии, дополнительно имея дело с науками, во много раз труднее и неудобнее, чем в основном быть научным работником и художником дополнительно. Это простая истина: легче иметь лабораторию и в углу стоящий мольберт с красками как оружие для рисования в свободное время, чем быть художником, обладателем горы альбомов и кистей, имея лабораторию как боковую надобность для проведения свободного от живописи времени. Ведь лабораторию труднее создать, чем приобрести краски. Поэтому всякий ученый может достать краски, но не всякий художник способен приобрести целую лабораторию.

Двадцать второго февраля я неожиданно свалился. Очевидно, меня куда-то занесла нелегкая, и я заразился какой-то особенной, заразной ангиной с сатанински-длинным названием. Я был удивлен, так как обычно не боялся холода, но оказалось, что это ангина не простудная, т.е. не стрептококковая.

Я был безгранично рад своему отпуску из школы и, решив монашеским образом продлить болезнь, уже подумывал над продолжением моих рисовальных и литературных традиций.

Нужно сказать, что я свой организм считаю достаточно крепким, ибо со всеми страшными болезнями, наподобие малярии и дифтерита, я быстро справлялся и переносил чрезвычайно легко. Дифтерит я, например, перенес в такой слабой форме, что чувствовал себя в течение всей болезни, может быть, даже лучше обычного. Высокая температура была у меня в самый первый день, но потом эта вспышка была подавлена мною...

То же было и с этой ангиной: первые два дня болезнь бушевала, но потом моя взяла, и сразу все прошло; у меня только долго болели десны. Проторчал дома я вплоть до апреля, т.е. полтора месяца, хотя я смело мог выйти в школу и через четыре дня.

В этом только моя заслуга! Будучи отпетым подлецом, я хватался за различные остатки болезни как за поводы к отсиживанию дома и продолжал гнать во все лопатки свои грешные творения в области

рисования, литературы и наук, стараясь успеть за время болезни как можно больше, ибо я знал, что с возобновлением ненавистных уроков в школе улетучится и золотое время!

Короче говоря, я был болен лишь только для других, для себя же я был совершенно здоров, как двадцать быков и пятнадцать коров. Мишка, понимая, что я мошенничаю, завидовал мне, но сам все же находился в лапах школы.

Я вставал чуть свет, чтобы лечь поздней ночью. И весь день напролет проводил за столом, забывая все. Я даже не питался, пользуясь случаем, что мамы обычно не было дома; тем более, что голода я не ощущал, так как незаглахшие следы ангины отбивали его от меня.

Частенько мне звонил М.Н., справлявшийся обо мне. Сначала с ним беседовала обычно за меня мама, так как несколько первых дней я не силится отделаться от кровати, но потом, когда я начал уже отсиживаться за столом, я стал беседовать с ним посредством электричества совершенно лично.

Ко мне заходил горловой врач, с которым я даже незаметно очень сдружился. Это был геркулесового сложения мужчина с широчеными плечами, высокого роста и в сапогах; рукава халата доходили ему лишь до локтей. Я его в первый раз принял за ломовика, ворочающего горы.

Он лечил мою носоглотку, так как это вечно больное у меня местечко могло здорово распрястаться под покровительством ангины. Он был удивительно чутким и знающим медицину. В общем, он был парень не промах. Фамилия его была, кажется, Паберс; он, очевидно, был уроженец прибалтийских стран — Латвии или же Литвы. Это было видно и по лицу его, грубому, загорелому и несколько кривому.

Меня навещали иногда в свободное от школы время Евгений, Тема и Юрка Трифонов, которого читатель, надеюсь, не забыл еще. С ними я, как отъявленный искуситель и кровопивец, проклинал школу, хвалил и благословлял свободное от нее время, а мои собеседники уныло вторили мне. Я сочувствовал им и предлагал свои лекарства, чтобы им обрести надежду на сближение с кроватью и с домом от принятия ненужных организму веществ. С кроватью можно было бы им покончить в первые же дни, как это сделал я, а с домом — немного подождать. Школа терпеливая — подождет!

Мишка, совершенно убитый нашей школой, от искушения при виде моей свободы и личных занятий, решил меня пострадать

трудностями, которые меня ждут в школе при нагоне пропущенных уроков. Я мало обращал внимания на эти доводы, зная, что с такими я все равно справлюсь правдой или неправдой; скорее всего, даже неправдой, так как мне вовсе не хотелось терять репутацию пройдохи, вылезавшего сухим из воды.

Моя мамаша была очень потревожена пропускаемыми мною занятиями и все предлагала мне, чтобы я брал у ребят уроки и занимался дома. Но я не для траты времени на уроки отсиживал дома, а для более жизненных процессов, и поэтому я всякий раз ссылался на несуществующие в действительности аргументы. Плевать мне на школу!

Итак, прежде всего, когда я уже мог принять надлежащее положение, я решил действовать по намеченному мною плану и нажимать больше всего на рисование, ибо у меня было много неоконченных миссий по этой области.

Я отделал последнюю зарисовку из ленинградских картинок — памятник Екатерине — и сразу же покончил с ленинградской серией. Затем (5-го марта) мне пришло в голову воспоминание о просьбе Раи нарисовать им что-нибудь в красках, достойное «повешения» на стене, и я решил сейчас же выбрать тему и приступить к исполнению обещания, пользуясь свободой.

Что значит, когда ты свободен от школы, черт бы ее совсем побрал!!! Вот когда я действовал вовсю! Я просто оживал, когда священнодействовал у стола! Боже, кем я был в эти золотые дни! Счастливым тружеником, забывающим все за свой трудом. Да, бездельничать, пользуясь болезнью, я не мог! Свобода от школы — для меня усиленный труд дома. Только так я мог отдыхать от школьных занятий, забывая в домашнем труде свою связь с партией и классной доской. Ничего не делать — это для меня безвозвратно потерянное время — просто, короче говоря, могила!

Тему для рисунка в Ленинград я выбрал из ленинградской серии зарисовок. Выбор пал на тот самый вид, которым я любовался каждый раз, идя с Норой в детсад или обратно домой из сада. Это была панорама на Исаакиевский собор со всею площадью.

Правда, в случае чего, я мог бы нарисовать для Раи и Мони дру- гую вещь, если эта бы им не пришлось по душе.

Итак, выбрав тему, я решил до начала рождения рисунка как более сложной работы отделаться от более простых деяний, и 7-го числа я породил карандашом второй вид Эрмитажа из серии, что-

бы худший оставить себе, а лучший отослать Рае и Моне. Это был своего рода героизм, ибо автору всегда тяжело расставаться со своими лучшими дитятами — творениями.

Я вошел в фазу расцвета, и на следующий же день в несколько часов отделался от Дворца Советов, предназначавшегося для малышки Леоноры. Я добивался, чтобы он у меня вышел полноценной, не халтурной картиной в миниатюре. Делал я его, разумеется, красками, тщательно отделявая все детали, стремясь к полной реальности, правильности и аккуратности. Дворец на карточке был виден с нашей набережной через Москва-реку. Было солнечное туманное утро, и здание, освещенное желтыми лучами с одной стороны, принимало легкий голубоватый оттенок от тумана — с другой. Для оригинальности я нарисовал на набережной стоящих Моню, Раю и себя. Нора же сидела на барьере. Эти маленькие фигурки доставили мне немало труда, пока я добился в них сходства с истинными моими ленинградцами и собою. На мое счастье, все нас на рисунке знающие наших ленинградцев зрители узнавали. Этой группой я изобразил приезд Раи и Мони со своей дочуркой в Москву для обозрения Дворца.

Пыхтя и стараясь над этим маленьким рисунком, я, помня свои ошибки в рисунке Кремля, где я допустил отсутствие воздуха и невольное присутствие ярких декоративных красок, от чего рисунок оказался только архитектурным, но не художественным, я постарался учесть все это в моем Дворце, чтобы сохранить в нем архитектурность, но в то же время сделать его и чисто художественным, т.е. таким он действительно может выглядеть наяву, а не на сцене или на стандартном плакате. Это было трудно, и, хотя этот рисунок предназначался маленькой Трубадур, но я не мог схалтурить в нем, ибо, если я взялся за что-нибудь, то должен был исполнять это добросовестно и полностью.

Таким образом, я отделался от заказа Раи насчет присылки одной из зарисовок серии и заказа маленькой Леоноры. Я был удовлетворен и ликовал!

На следующий день — 9-го — я решил взяться за оставленную мною еще давно серию о нашей церквушке и принялся оканчивать вид церкви из кухонного окна.

Рисунок этот, как известно, сложный, и я рассчитывал доделать его в пару дней, но я до того увлекся и разошелся, что к вечеру он был полностью готов. В пылу труда я даже не замечал времени, и окончание рисунка было для меня удивительно неожиданным и



внезапным. Ура! Я окончил его за один день. Наконец-то я видел теперь его готовым!

Вечерком я раздобыл опрятный конверт и для сохранения опустил в него и Эрмитаж, и Дворец. Там они ждали своего отправления в Ленинград.

Теперь я смело принялся за создание собора. Его я делал не таким, какой подарил М. Н. Тот был виден с другого места и летом, а этот — через всю площадь и под снежным покровом.

Я трудился над ним ровно три дня. Рисунок был очень большой, на большом листе бумаги, очень трудным и сложным со всех сторон — и с художественной, и с архитектурной. Я даже ночами спать не мог, так как вечером с сожалением шел на боковую, ночью искушался всякими сновидениями, связанными с рисунком, стремясь скорее его продолжить, а, проснувшись, еще не дожидаясь рассвета, продолжал рисовать при настольной лампе.

10-го числа я сделал рисунок в карандаше и раскрасил небо, землю и верхний этаж направо стоящего дома, с белыми колонками по бокам окон, известного читателю по моим ленинградским записям.

11-го числа я окончил этот дом и раскрасил гостиницу «Астория», не забыв даже повесить на ней почтовый ящик, в который я когда-то опустил открытку для М.Н. и М. Ив. Вечером я раскрасил еле видневшиеся в снежном тумане части панорамы вида на город, находящейся за собором и видневшейся по его бокам, и даже успел начать красить само здание Исаакия.

В этот день ко мне позвонила Маргарита, спрашивающая, чего ради я не навещаю в школу. Я и сказал ей самым простым образом, что я где-то подцепил какую-то чертовски выгодную ангину, и, сидя дома, упиваюсь рисованием. Она сказала, что мне весьма выгодно и даже нужно отсиживаться дома, раз я не теряю время. Я, конечно, уверил ее, что всеми силами оттяну приход в школу.

— И я так и не узнаю, что именно ты делаешь? — спросила она.

— Да тут нет ничего преступного у меня, — ответил я. — Сказать-то, пожалуй, могу. Просто я запечатлеваю то, что видел в каникулы в Ленинграде.

— Ну, конечно, ты рисуешь Исаакиевский собор?

— Понятно, а что же еще!

— И я его не увижу никогда?

— Ого! Чего захотела! Нет уж, дудки! Я привык свои вещицы побольше оставлять в покое.

— Ну-у! Это чрезмерная скромность! — запротестовала она.

— Можешь там рассуждать, как угодно, — ответил я.

— Да чего ты взбунтовался? — удивилась она. — Пожалуйста, не груби только!

— Да потому что я знаю, что ты большая мошенница и не хочешь мне дать прочесть свою статью об «Аиде», с которой канителишься уже черт знает сколько времени. Я бы со статьей на подобную тему не возился бы уж так долго, а начеркал бы ее за один раз. Ведь это же «Аида»! Понимаешь или нет?

— Ну, а как бы у тебя получилось, если бы ты спешил?

— Ошибаешься! Я ее бы написал за один раз не ради спешки, а ради близкой для меня темы, которую я мог бы исчерпать с запоем без отрыва.

— А я ее тебе и не дам, пока не окончу, — сказала она.

— Это понятно, — согласился я.

— А если дам, покажешь тогда Исаакий?

— А при чем тут твоя статья?! — удивился я.

— Я очень хочу видеть, на что ты тратишь время, — добавила она. — Мне интересно, чтобы оно у тебя не уходило зря.

— Как бы ты еще не разочаровалась, — предупредил я. — Что ты так в этом заинтересована? Уж не ожидаешь ли увидеть в Исаакие репинскую картину?

— Я ничего не ожидаю, но я тогда способна буду подумать, что ты меня просто обманываешь и что никакого Исаакия у тебя нет. Мало ли что ты мне можешь наговорить в трубку. Проверить-то я не могу, тем более, если ты отказываешься мне его показать.

— Ты тоже, я вижу, разбушевалась, — усмехнулся я. — Но можешь, конечно, и не верить. Я от этого лично не понесу убытков. Мне просто нет смысла для каждого желающего тревожить плоды своих трудов. Я вообще не охотник широкого распространения их.

— Значит, ты эгоист!

— Хорошо! Пусть эгоист, подлец, бандит, мерзавец! Пусть мошенник! — меня это все мало задевает.

— А ведь это нехорошо!

— Ну и чересчур стараться тоже не следует! — ответил я. — Со-вать в глаза свои творения, как бы они плохи или удачны ни были, каждому желающему встречному тоже не очень-то хорошо. Все прекрасно, да в меру!

— Ты уж совсем с ума сошел! — сказала она. — К чему это упорство?!

— Хорошо! Ну, а как же ты думаешь увидеть этот Исаакий? — спросил я. — Ведь в школу я его брать не буду! А передавать через других тоже далеко не намерен. Швыряться так своими рисунками, отдавать их в руки каких-то людей для какой-то передачи — это неосторожное безумие для создателя этих рисунков.

Она сказала, что будет звонить, чтобы узнать еще раз, как я чувствую себя и что делаю, так как она очень заинтересована, чтобы у меня было все прекрасно. «Хитрая девчонка!» — подумал я. — Не отступает! Таких приходится уважать. Хвалю!»

12-го числа я окончил рисунок, раскрасив памятник Николаю и весь собор. Собор я сделал по возможности таким, каким я наблюдал его в действительности, т.е. лилового цвета, под пеленой морозного воздуха.

Затем я решил покончить с серией о церквушке. Раз у меня такая уйма времени, то нечего оставлять что-нибудь на после. И 14-го марта я на довольно не маленьком листе решил воспроизвести вид церкви со двора, используя при этом мою летнюю зарисовку с натуры в записной книжечке.

Я сделал рисунок в карандаше и даже успел раскрасить небо и начать землю. Земля тут была особенно трудна, так как там во дворе валялся всегда всякий хлам: доски, горы кирпичей, железные ржавые брусья и прочий инвентарь, из которого можно было воспроизвести целый замок.

На следующий день, 15-го, ко мне утром зашел М. Н., задавший мне уроки по музыке на изрядный отрезок времени, так как он уезжал в дом отдыха. Эта последняя наша встреча была очень теплой. Мы побеседовали насчет рисунков, которые я создал за эти дни и которые он с полной серьезностью просмотрел, а затем он в сердцах обозвал меня преступником и негодяем, раз я не хочу обучаться рисовать. Я принял вид кающегося грешника, но все же смог в конце концов выдержать все нападения своего учителя.

Я не забыл обратить внимание М.Н. на нарисованный почтовый ящик на стене «Астории» в рисунке Исаакия, а также не забыл сказать ему, что именно в этот ящик я опустил открытку, которую я послал ему из Ленинграда...

Больше уже М. Н. я не видел, а ведь сейчас, когда я пишу эти строки, уже не март, не времена последних снегов, а пышное лето — 5-го июня!

На следующий день я окончил рисовать церквушку, так что моя серия о ней была почти готова. Мне оставалось лишь сделать последний оставшийся еще не рожденным рисунок церкви. Сверху, с Мишкиного подъезда, откуда она, особенно зимой, имеет чарующий вид призрачно белой постройки, я и хотел нарисовать ее для этой серии как последний рисунок. Но теперь зима кончалась, снега уходили, и я очень горевал, что по враждебности погоды я не имею возможности окончить серию в этом году, даже при наличии времени. Рисовать же ее сверху летом или весной не было смысла, ибо эффект и красота пропадали вместе с зимним покрывалом снега.

Я уже частенько выглядывал на улицу, когда мне приходилось отправляться к горловику или же с Мишкой в виде прогулки за молоком, но я не допускал мысли, что отправлюсь в школу еще до весенних мартовских каникул. Я твердо решил отдаться в лапы учителей уже после марта, чтобы извлечь из этого еще какую-нибудь пользу. В своих мошенических способностях я был больше уверен, чем в умственных!

Как-то раз, отправляясь с Мистихусом за молоком, я высказал ему сожаление в том, что ангина моя не дала мне осложнения: тогда бы, дескать, я мог пробыть дома и дальше, уделив все это время своим интересам.

— Вот до чего может довести человека школа, — сказал я. — Считать болезнь как благодеяние и спасение от уроков! Это черт знает что! М-да... Заболеть бы этак годика на два!

— Скромное желание, — с иронической невозмутимостью заметил Мишка.

22-го числа я написал Рае и Моне письмо, которым решил сопроводить рисунок Эрмитажа и Дворца. Я просил, чтобы они как можно скорее ответили мне. Вечером я посетил почту и заставил письмецо покинуть Москву не иначе как самым настоящим заказным посланием.

На мое счастье, зима задержалась, и, вопреки обычному, мартовская Москва покрылась снова глубочайшими сугробами. Восстановилась истинная зимняя погода. Я сейчас же отправился к Мишке на его десятый этаж и с подъездной лестницы срисовал карандашом панораму на нашу церквушку, реку и постройку Дворца Советов.

Вид был именно такой, какой я и ожидал: преобладание синих и фиолетовых цветов, зимний молочный туман и ослепительные

покровы снега. Вечером я достал лист ватманской бумаги и сделал карандашом остов будущего рисунка. На следующей же вечер рисунок был с весьма огромными трудностями окончен, и я смело мог поздравить себя с окончанием возни с серией о церквушке. Теперь она у меня полная! Ура!

Во время каникул ко мне навевался Женька. В одну из встреч мы сходили в Третьяковскую галерею. Это было 26-го марта, в замечательный солнечный, яркий день, который внезапно наступил после запоздалых снегов, еще два дня назад покрывавших землю.

Женик мне дал хорошую мысль о составлении серии рисунков о росте Дворца Советов, начиная храмом Христа Спасителя, который стоял там раньше, и кончая готовым Дворцом. Я принял это предложение, но с отсрочкой, решив приступить к серии когда-нибудь в наиболее подходящее время: теперь мне уже грозила близость школьных занятий, и я не хотел начинать нечто новое, чтобы потом уроки не прервали мое действие — легче для меня подождать с начинанием, чем прервать на середине, а тем более — в самом начале.

Однажды, когда пришедшая навестить меня Гага посмотрела оконченную серию о церквушке, я попал в чертовски неудобное положение, и мне пришлось употребить всю энергию мозгов, чтобы вылезти сухим из болота. Дело в том, что, когда в соседнем секторе находилась моя мамаша, Гага нечаянно заговорила о моих приключениях под церковью. Первая, конечно, услышала все, и только путем грубой хитрости мне удалось скрыть от мамы то, что я скрывал от нее наши похождения. Таким образом, если бы не Гага, то мама так бы и не узнала, может быть, никогда, где это я иногда в прошлую зиму пропадал вечерами и приходил в засаленном пальтишке и измазанным, как сам сатана. Впрочем, она, кажется, эти подробности не помнила, чем я пользовался, когда выкручивался из своего неловкого положения.

Когда я пошел в первый апрельский день впервые в школу, я не считал себя несчастным, ибо я решил использовать в свою пользу свою прошедшую болезнь и не очень-то уж усердствовать за уроками.

На домашние уроки я плевал с крыши небоскреба, а, вернувшись домой, сейчас же засел за свои делишки.

Я тщательно составлял план следующих двух, еще не написанных частей «Пещерного клада», который я записывал в отдельную тетрадь в виде названия глав. Это я делал для того, чтобы за долгий

простой, который у меня сейчас в области литературы, не забыть сюжет финальных частей рассказа.

— Это ты, что, уроки делаешь? — спросила меня мамаша.

— Будь спокойна, — горячо ответил я с иронической интонацией. — Если бы это были уроки, то я бы не сидел с самого обеда до темна, как сейчас. Да, это не уроки!

Однажды 11 апреля я зашел к Димке делать домашние уроки; однако мы их забросили, послали к черту школу, сказали, что не вечно же торчать перед тетрадками и возиться с учебниками, и решили отдаться искусству.

Димик выкопал где-то небольшой альбомчик с весьма приличной, даже очень приличной бумагой и предложил мне черкнуть что-нибудь ему на память; предварительно он всучил мне громадный черного цвета тушевалый карандаш. Я особенно туп и не сообразителен, когда дело доходит до выбора темы для рисунка, поэтому добрый час я восседал за столом, энергично работая своими мозговыми богатствами, но это совершенно ни к чему не привело. Малевать была охота, но, что рисовать, ни Димка, ни я не знали. По предложению Дмитрия я обратился по памяти к своему списку намеченных рисунков, и, разобрав все темы по порядку, выбрал одну из них с помощью Димы. Я решил потратить время на создание фантастической картинки: «Кобольд», или «В пещере черного короля».

Ее я еще совершенно себе в уме не представлял, и поэтому ее создание было тем интересно, что я выдумывал ее тут же за процессом рисования. Я редко прерываю что-нибудь начатое и стремлюсь обычно покончить все в один прием, чтобы быть спокойным и чтобы вид неоконченной вещи не нервировал меня, поэтому я не отрывался от альбома, пока полностью и добросовестно не окончил рисунок. Короче говоря, я проторчал вместе с Димиком у его столика ровно до часу ночи.

На бумаге я изобразил гигантскую пещеру, освещенную из глубины, заключавшую в себе многочисленные сталактиты и сталагмиты; из дальних частей этого пространства выливался откуда-то белеющий вьющийся поток, превращавшийся в водопад. Кое-где в виде растущих из земли каменных косматых старческих голов находились безмолвные духи подземного короля. Некоторые из них, наиболее высокие, имели вид сталактитов. Из темных зарослей свисающих сосул и мрачных углов пещеры еле-еле проявлялись страшные ка-

менные морды гигантских старцев, которые росли прямо из стен. Из стен также тянулись черные, костлявые, длинные и тонкие лапы каких-то чудовищ, а откуда-то сбоку, прямо над водопадом, нависла сказочная, трехпалая рука духа, которая просвечивала насквозь, так как была прозрачной и сотканной, очевидно, из тумана.

Если духи были у меня из камня, то самого короля я должен был породить как-то по-особенному, чтобы он отличался от своих подданных... и я решил сотворить его в виде чрезвычайно колоссальной головы, состоящей из прозрачной молочной дымки, которая висела в воздухе вдали пещеры, и сквозь которую были видны растущие под ней и за ней сталактиты и дальние части пещеры. Голова была с густыми бровями, с целым морем усов и косм бороды, постепенно тающих в воздухе, как туман. Глаза короля смотрели вниз, не опустив веки, от чего принимали строго-свирепое выражение. По крайней мере, я хотел, чтобы у меня так получилось. Буду надеяться, что это у меня вышло. Длинные волосы головы, похожие на туманные струи, терялись и сливались с обстановкой.

Для масштаба я изобразил на переднем плане у берега потока двух крошечных людишек, якобы случайно забравшихся сюда. Пещера была громадна, и самый маленький дух — сталактит был не меньше порядочной колокольни, а малые духи, в виде каменных голов, слитых с землей, не меньше размеров хорошей комнаты.

Изгибы реки представляли из себя колоссальные расстояния, так что в петлях потока могли бы расположиться целые города. Поэтому нужно только представить себе величину самых дальних духов! Они, очевидно, способны были расположить у себя на языке целое селение, вроде Москвы или Ленинграда. Тыльные стороны лап, тянувшихся из зарослей сталагмитов, имели величину с хорошенькое поле, на котором можно было без изрядно попутешествовать и, устав от долгой дороги, расположиться лагерем.

Сам же король был до того велик, что, находясь на самом последнем плане, все же казался крупнее всех остальных изваяний. Если бы ему предложили нью-йоркские небоскребы, он их глотал бы целыми сотнями и только тогда бы заметил, что он действительно поглощает «какую-то мелочь». Я полагаю, что его вышину, то есть вышину головы, можно было бы определить в расстояние, равное десяткам километров, если, конечно, только не больше.

— Маргаритка однажды спросила меня, — сказал мне Димка, — видел ли я у тебя твой рисунок Исаакия?

— Ну и что? — поинтересовался я.

— Ну, я сказал, что, конечно, видел, когда заходил к тебе. Он, мол, очень неплохо нарисован...

— Она, наверное, проверяла справедливость моих слов, — подумал я вслух, — а то она, можно сказать, не верила, что я его рисовал. Она мне говорила: мало ли, дескать, о чем ты можешь мне наговорить по телефону. Не знаю, чего она так настойчиво хочет его увидеть?! Ты ведь, Димка, с ней в близкой дружбе! Может, ты знаешь?

— Она и мне говорила это, — ответил он. — Ты бы мог принести его сюда ко мне, а потом мы бы пошли к ней домой. Она ведь в нашем доме-то живет.

— А какого черта я буду заботиться об этом? — удивился я. — Она ведь желает его видеть, а не я! Раз она заинтересована так в этом, то это уж ее дело находить выходы для встречи с этим Исаакием.

— Вежливый молодой человек! — рассмеялся Димка.

— Ну, знаешь, братец! — сказал я. — Я еще не проходил занятия этикета по отношению к дамам. Я признаю всеобщее равноправие! Хотя, правда, я к ней немного грубо относился, но уж господь бог меня, видимо, простит. У меня к каждому человеку, к какому бы он полу ни принадлежал, существуют близкие, дружественные, искренние чувства товарищества, если он только порядочный смертный и взамен платит мне тем же. А выделять баб из всей среды людей как созданий, к которым мы должны относиться по-особенному, особенно учтиво и т.д., я не думаю и даже не желаю. Это было возможно раньше, в царской России или же за границей, где существовали и существуют такие ненужные и совершенно пустые отбросы и бесполезные жители, как вздыхающие неженки, красящиеся декоративными и малярными принадлежностями, белоручки и тому подобный презренный сброд. Для природы оба пола одинаковы и равны, ибо оба они в равной мере способствуют существованию человечества, и никто из них не превосходит по каким-нибудь признакам другого. В случае надобности так и женщина постоит за себя иной раз даже лучше мужчины. Так что никакое особенное отношение к девам я не признаю. Все должны одинаково уважать друг друга и питать одинаково товарищеские чувства. Вежливость и учтивость, конечно, должны быть, но только по отношению ко всем, а особенно лишь, как исключение, к престарелым и обиженным природой людям, а не почему-то исключительно только к одним женщинам.



Можно подумать, что женщины — это особенная, как то выдающаяся часть людей! Ведь ничего подобного!

Димка удивительно серьезно слушал меня, пока я, разойдясь, излагал ему свои взгляды. Потом он, улыбнувшись, сказал:

— Хорошую лекцию ты мне закатил! Честное слово, ты прямо ударился в логические рассуждения! Не придерешься!

— Ну, а что в самом-то деле валять дурака?! — пробурчал я, явно недовольным тоном. — Толкуют, дураки, о какой-то разнице в смысле отношений между женщинами и нами, то, дескать, женщина — жидкое создание, уважай ее, рассыпайся в вежливых выражениях! Не природа, а сам человек выдумал все это, а потом придерживается всего этого. Все это похоже на людей, которые сами же выдумали дьявола, а потом сами же боялись его. Если же взять из женского мира белоручек и неженков, то это они сами же довели себя до подобного состояния или же стали жертвой других; значит, человек виновен в существовании таких девиц; значит, в действительности женский мир от природы не таков, и поэтому одинаково в своем здоровом состоянии, вместе с мужчинами, приспособлен к труду, к занятиям, к рассуждениям и вообще к самой жизни. Все же бредни о нежности и слабости женщин — это предрассудки и законы для пустых женихов и вздыхающих на луну молодых людей, которые в своей даме видят не подругу и равноправного товарища в жизни, а какую-то святую, какую-то богиню... Черт их всех знает, чего они только не придумают! Говорить-то мне об этом совестно!

Ввиду того, что, к моей неопишуемой радости, «Аиду» перенесли из филиала в Большой театр, т.е., значит, ее признали действительно сложной и серьезной вещью и что только Большой театр у нас достоин ее, я достал билет на тринадцатое апреля и имел возможность послушать эту бессмертную блестящую коллекцию сотен превосходных мотивов на сцене нашего главного оперного театра.

Я опять-таки не могу удержаться, чтобы не вспомнить здесь сцены появления пленных и дуэта Амонасро и Аиды на берегу Нила. Слушая эти патриотические и высокочувственные благородные сцены, я не помнил себя.

Мне хочется сейчас упомянуть о моих политических взглядах, которые я постепенно приобрел в зависимости от обстоятельств за все это время.

Хотя сейчас Германия находится с нами в дружественных отношениях, но я твердо уверен (и это известно также всем), что это

только видимость. Я думаю, что этим самым она думает усыпить нашу бдительность, чтобы в подходящий момент всадить нам отравленный нож в спину. Эти мои догадки подтверждаются тем, что германские войска особенно усиленно оккупировали Болгарию и Румынию, послав туда свои дивизии<sup>84</sup>. Когда же в мае немцы высадились в Финляндии, то я твердо приобрел уверенность в скрытной подготовке немцами нападения на нашу страну со стороны не только бывшей Польши, но и со стороны Румынии, Болгарии и Финляндии. Особенно я уверен насчет Румынии и Финляндии<sup>85</sup>, ибо Болгария не граничит с нами на суше, и поэтому она может не сразу, вместе с Германией, выступить против нас. А уж если Германия пойдет на нас, то нет сомнения в той простой логической истине, что она, поднажав на все оккупированные ею страны, особенно на те, которые пролегают недалеко от наших границ, вроде Венгрии, Словакии, Югославии, а может быть, даже Греции и, скорее всего, Италии, вынудит их также выступить против нас с войной<sup>86</sup>.

Неосторожные слухи, просачивающиеся в газетах о концентрации сильных немецких войск в этих странах, которую немцы явно выдают за простую помощь оккупационным властям, утвердили мое убеждение в правильности моих тревожных мыслей. То, что Германия задумала употребить территории Финляндии и Румынии как плацдармы для нападения на СССР, это очень умно и целесообразно с ее стороны; к несчастью, конечно, нужно добавить: владея сильной военной машиной, она имеет полную возможность растянуть восточный фронт от льдов Ледовитого океана до черноморских волн.

---

<sup>84</sup> С конца 1930-х гг. Германия пыталась втянуть Болгарию в орбиту своей внешней политики, а в октябре 1940 г. предложила ей присоединиться к Оси «Берлин — Рим — Токио». Но руководство Болгарии тянуло с принятием решения. Однако давление со стороны Германии и концентрация ее войск на румыно-болгарской границе в начале 1941 г. побудили Б. присоединиться к Оси и согласиться на размещение германских войск на своей территории; В сентябре 1940 г. в Румынии был совершен политический переворот, в результате которого к власти пришли националистические фашистские силы. В марте 1941 г. диктатор Румынии И. Антонеску заключил союз с Германией. Уже с начала 1941 г. в Румынию стали стягиваться германские войска, большой концентрации они достигли вблизи румыно-советской границы. Румынские воинские силы также приняли участие в агрессии против СССР.

<sup>85</sup> Немецко-финская группа войск, участвовавшая в нападении на СССР, была нацелена на окружение Ленинграда, захват Мурманска и Архангельска.

<sup>86</sup> В войне против СССР приняли участие Италия, Румыния, Словакия, Венгрия, Финляндия. Греция и Югославия, в которых развернулось мощное движение Сопротивления странам Оси, остались в стороне от завоевательного похода на СССР.

Рассуждая о том, что, расстав свои войска вблизи нашей границы, Германия не станет долго ждать, я приобрел уверенность в том, что лето этого года будет у нас в стране беспокойным. Долго ждать Германии действительно нечего, ибо она, сравнительно мало потеряв войск и вооружения в оккупированных странах, все еще имеет неослабевшую военную машину, которая в течение многих лет, а особенно со времени прихода к власти фашизма, пополнялась и крепла от усиленной работы для нее почти всех отраслей промышленности Германии и которая находится вечно в полной готовности. Поэтому стоит лишь только немцам расположить свои войска в соседних с нами странах, они имеют полную возможность без промедления напасть на нас, имея всегда готовый к действию военный механизм. Таким образом, дело только лишь в долготе концентрации войск. Ясно, что к лету концентрация окончится и, явно боясь выступить против нас зимой, во избежание встречи с русскими морозами, фашисты попытаются затянуть нас в войну летом. Я думаю, что война начнется или во второй половине этого месяца (т.е. июня) или в начале июля, но не позже; ибо ясно, что германцы будут стремиться окончить войну до морозов.

Я лично твердо уверен, что это будет последний наглый шаг германских деспотов, так как до зимы они нас не победят, а наша зима их полностью доконает, как это было дело в 1812 году с Бонапартом. То, что немцы страшатся нашей зимы, — это я знаю так же, как и то, что победа будет за нами! Я только не знаю, чью сторону примет тогда Англия, но я могу льстить себя надеждой, что она, во избежание волнений пролетариата и ради мщения немцам за изнурительные налеты на английские острова, не изменит своего отношения к Германии и не пойдет вместе с ней<sup>87</sup>.

Победа-то победой, но вот то, что мы сможем потерять в первую половину войны много территории, это возможно. Эта тяжелая мысль вытекает у меня из чрезвычайно простых источников. Мы, как социалистическая страна, которая ставит жизнь человека превыше всего, можем во избежание больших людских потерь, отступая, отдать немцам кое-какую часть своей территории, зная, что

---

<sup>87</sup> Великобритания находилась в состоянии войны с Германией с сентября 1939 г. 22 июня 1941 г., несмотря на прежние разногласия с советским руководством, премьер-министр В. У. Черчилль выступил с сочувственным заявлением в адрес СССР. А уже 12 июля было заключено советско-британское соглашение о совместной борьбе с фашистской Германией.

лучше пожертвовать частями земли, чем людьми, (ведь та) земля в конце концов, может быть, и будет нами отвоевана и возвращена, а вот жизни наших погибших бойцов нам уже не вернуть. Германия же, наоборот, стремясь захватить побольше земель, будет бросать войска в наступление направо, не считаясь ни с чем, ибо фашизм жаждет не сохранения жизни своего солдата, а новых земель, ибо самая основа нацистских мыслей — это завоевание новых территорий и вражда к человеческим жизням.

Захват немцами некоторой нашей территории еще возможен и потому, что Германия пойдет только на подлость, когда будет начинать выступать против нас. Честно фашисты никогда не поступят! Зная, что мы представляем для них сильного противника, они, наверное, не будут объявлять нам войну или посылать какие-либо предупреждения, а нападут внезапно и неожиданно, чтобы путем внезапного вторжения успеть захватить побольше наших земель, пока мы еще будем распределять и стягивать свои силы на сближение с германскими войсками. Ясно, что честность немцев совершенно скоро погубит, а путем подлости они смогут довольно долго продержаться.

Слов нет — германский фашизм дьявольски силен и хотя уже немало потрепался за времена оккупации ряда стран, хотя разбросал по всей Европе, Ближнему Востоку и северной Африке свои войска, он все же еще, выезжая только на своей чертовски точной военной машине, сможет броситься на нас. Для этого он имеет еще достаточно сил и неразумности.

Я только одного никак не могу разгадать, чего ради он готовит на нас нападение? Здесь укоренившаяся природная вражда фашизма к советскому строю не может быть главной путеводной звездой! Ведь было бы все же более разумно с его стороны окончить войну с англичанами, залечить свои раны и со свежими силами ринуться на Восток, а тут он, еще не оправившись, не покончив с английским фронтом на западе, собирается уже лезть на нас. Или у него в запасе есть, значит, какие-нибудь секретные новые способы ведения войны, в силу которых он уверен, или же он лезет просто сдуру, от вскружения своей головы от многочисленных легких побед над малыми странами.

Уж если мне писать здесь все откровенно, то скажу, что, имея в виду у немцев мощную, питавшуюся многие годы всеми промышленностями военную машину, я твердо уверен в территориальном успехе немцев на нашем фронте в первую половину войны. Потом,

когда они уже ослабнут, мы сможем выбить их из захваченных районов, и, перейдя к наступательной войне, повести борьбу уже на вражеской территории. Подобные временные успехи германцев еще возможны и потому, что мы, наверное, как страна, подвергшаяся внезапному и вероломному нападению из-за угла, сможем сначала лишь отвечать натиску вражеских полчищ, не иначе как оборонительной войной.

Как хорошо, что мы заблаговременно приобрели дополнительную территорию в лице Прибалтики, восточной Польши и Бессарабии! Ведь, если бы не эти «предохранительные платформы», то мы бы имели уже в первые же дни фронт в непосредственной близости от Одессы, Житомира, Минска, Пскова и Ленинграда, а так он возникнет лишь в районах Львова, Бреста, Каунаса и Кишинева.

Я готов дать себя ко вздергиванию на виселицу, но я готов уверять любого, что немцы обязательно захватят все эти наши новые районы и подойдут к нашей старой границе, так как новые границы мы, конечно, не успели и не успеем укрепить. Очевидно, у старой границы они задержатся, но потом вновь перейдут в наступление, и мы будем вынуждены придерживаться тактики отступления, жертвуя землей ради жизни наших бойцов. Поэтому нет ничего удивительного, что немцы вступят и за наши старые границы и будут продвигаться, пока не выдохнутся. Вот тогда только наступит перелом, и мы перейдем в наступление!

Как это ни тяжело, но вполне возможно, что мы оставим немцам, по всей вероятности, даже такие центры, как Житомир, Винница, Витебск, Псков, Гомель, и кое-какие другие. Что касается столиц наших старых республик, то Минск мы, очевидно, сдадим; Киев немцы также могут захватить, но с непомерно большими трудностями<sup>88</sup>.

О судьбах Ленинграда, Новгорода, Калинин, Смоленска, Брянска, Кривого Рога, Николаева и Одессы — городов, лежащих относительно недалеко от границ, я боюсь рассуждать. Правда, немцы, безусловно, настолько сильны, что не исключена возможность потерь даже и этих городов, за исключением только Ленинграда.

То, что Ленинграда немцам не видать, это я уверен твердо. Ленинградцы — народ орлы! Если уж враг и займет его, то это будет лишь тогда, когда падет последний ленинградец. До тех же пор,

---

<sup>88</sup> Витебск был занят врагом — 1 июля, Житомир, Минск, Псков — 9 июля, Винница — 21 июля, Гомель — 19 августа, Киев — 19 сентября, Одесса — 16 октября 1941 г.

пока ленинградцы на ногах, город Ленина будет наш! То, что мы можем сдать Киев, в это я еще верю, ибо мы будем его защищать не как жизненный центр, а как столицу Украины, но Ленинград непомерно важнее и ценнее для нашего государства.

Возможно, что немцы будут брать наши особенно крупные города путем обхода и окружения, но в это я верю лишь в пределах Украины, ибо, очевидно, главные удары противника будут обрушиваться на наш юг, чтобы лишить нас наиболее близких к границе залежей криворожского железа и донецкого угля. Тем более, немцы могут особенно нажимать на Украину, чтобы не так уж сильно чувствовать на себе крепость русских морозов, ибо война обернется в затяжную борьбу, в чем я сам лично нисколько не сомневаюсь. А известно, что на Украине сильные морозы редкое явление.

Обходя, например, Киев, германские войска могут захватить по дороге даже Полтаву и Днепропетровск, а тем более Кременчуг и Чернигов.

За Одессу как за крупный порт мы должны, по-моему, бороться интенсивнее, чем даже за Киев, ибо Одесса ценнее последнего, и я думаю, одесские моряки достойно всыпят германцам за вторжение в область их города.

Если же мы и сдадим по вынуждению Одессу, то с большой неохотой и гораздо позже Киева, так как Одессе сильно поможет море.

Понятно, что немцы будут мечтать об окружении Москвы и Ленинграда, но, я думаю, они с этим не справятся; это им не Украина, где вполне возможна такая тактика. Здесь же дело касается жизни двух наших главнейших городов — Москвы как столицы и Ленинграда как жизненного промышленного и культурного центра. Допустить сдачу немцам этих центров — просто безумие. Захват нашей столицы лишь обескуражит наш народ и воодушевит врагов. Потеря столицы — это не шутка!

Окружить Ленинград, но не взять его фашисты еще могут, ибо он все же сосед границы; окружить Москву они, если бы даже и были в силах, то просто не смогут это сделать в области времени, ибо они не успеют замкнуть кольцо к зиме — слишком большое тут расстояние. Зимой же для них районы Москвы и дальше будут просто могилой!

Таким образом, как это ни тяжело, но временные успехи немцев в территории непредотвратимы. От одного лишь они не спасутся даже во времени этих успехов: они как армия наступающая, не заботящаяся

ся о человеке, будут терять живые и материальные силы, безусловно, в больших масштабах по сравнению с нашими потерями. Наступающая армия всегда способна встречать больше трудностей и способна терпеть больше потерь, чем армия отступающая, — это закон!

Я, правда, не собираюсь быть пророком, я мог и ошибиться во всех этих моих предположениях и выводах, но все эти мысли возникли у меня в связи с международной обстановкой, а связать их и дополнить мне помогли логические рассуждения и догадки. Короче говоря, будущее покажет все!!!

Май был для нас, школяров, чрезвычайно трудным месяцем: период перед испытаниями, крикливые угрозы учителей-мучителей, рассуждения во всеулышание наиболее коварных воинов из учительского стана о том, кто способен засыпаться на испытаниях и кто останется на второй год и т.п. страсти. Девчонки, понятно, скулили, ужасались, ребята держались более стойко; что же касается Мишки, нашего общего товарища Королиуса (Только Королева), Саликанте и меня, то мы решительно плевали на все угрозы преподавателей, принимая их за болтологию и мало обращая внимания на беснование учителей во время их ораторствований на эту тему. Сначала мы, конечно, тоже с тревогой думали об испытаниях, когда слушали нотации наших палачей, но потом, видя, что это все стандартные тирады, повторяющиеся изо дня в день, нами обрело разумное мышление, так как мы освободились от действий учительской пропаганды.

10-го мая я исполнил настоятельную просьбу своей мамы на счет рисунков, которые я не делаю для себя, а рисую кому-нибудь. Она предложила мне фотографировать эти рисунки, чтобы у меня оставалось на память изображение их на карточках. Вот я и свез свой Исаакий, который я нарисовал для Раи и Мони, и Пещерного короля, за которым специально зашел к Димке, в Сокольники, в пристанище Мани, где Петя и Коля, предложившие мне свои услуги, тщательно запечатлели изображения этих творений на пластинки, после чего я смело мог без всякого угрызения совести спровадить картинку обратно по их домам — Исаакий к себе, а Короля — к Димику.

С умоуогнетающими трудностями кончился учебный год, и школьные воспитанники затряслись от ужаса наступающих экзаменов. Все живое и радостное в школе заглохло! Учителя превратились в еще более чудовищных и жаждущих плохих отметок извергов, а мы, несчастнейшие ребяташки, почувствовали на своих

плечах всю тяжесть беспощадного учительского гнета. Именно в период испытаний иго их было просто невыносимым.

Например, на устной литературе, когда мы все уже, еле дыша, водрузились за парты, в ожидании... (Боже мой!) ужасных вызовов к столу, схожему с лобным местом, вошедший Давид Яковлевич с ехидной усмешкой имел смелость подшутить над нами.

— Ну, грешники,— сказал он, мило улыбаясь,— пока все еще живы, затягивайте молитву! И молитва для вас есть подходящая: «Пронеси, господи, гнев царя Давида и всю кротость его!..», начинайте смертные!

Молитва действительно была подходящая, ибо она заставляла вспоминать весь экзаменационный гнев, только не «царя Давида», а нашего литератора по имени Давид.

Итак, в последний школьный учебный день я пришел домой и, хотя впереди существовали еще пытки и «испытания испытаний», я чувствовал какую-то легкость и спокойствие.

Решив «кутнуть», как я сам выразился,— в честь кончины учебы, я решил с интересом провести вечер и отправился к мамаше в театр, где узрел бессмертное шиллеровское чудо литературы «Коварство и любовь».

Нужно сказать, что подлец Мишка, ссылаясь на свои болезненные грехи, отвертелся от испытаний, получив освобождение. Я решительно помогал ему в этой проделке и даже сам уже подумывал над тем, не смошенничать уж, дескать, и мне! Мишка энергично настаивал, чтобы и я не упустил случай! Я мало был уверен, что меня освободят в школе, ибо последнее время я совсем опустился и забросил учебу, решив поменьше тревожить себя перед испытаниями такими заботами, как школьная учеба, уроки и т.п. глупости. Мишка же, наоборот, поборов свое презрение и вражду к урокам, скрепя сердце, подтянулся малость и оказался на свободе. В общем, мы вели себя как истые мерзавцы.

Ради проверки моих способностей мерзавца и мошенника я взялся за это дело, принявшись за обработку своего врача-терапевта, которая мариновала меня еще с самой ангины. Пускаясь на уловки и употребляя в ход свое плохое зрение как веский довод, я пробивал постепенно одну преграду за другой на пути к справке. От занятий по вечерам у меня часто заболели и слезились глаза; я ухватился и за это благодеяние природы и увеличил его в кабинете врача до нужных мне размеров. Ясно, что я действовал размеренно, чтобы чрезмерные атаки на врача не пробудили в ней подозрений. У меня



сразу же появились еще какие-то новые недостатки в работе организма, которые существовали во мне лишь на моих словах...

Чтобы не было подвоха и аварии, я поднял также тарарам и дома, инсценируя невозможность моих занятий по вечерам из-за дьявольских болей где-то в лобной пазухе и глазных яблоках. Тут уж нужны были некоторые актерские мудрости, которые с грехом пополам одолел. Мамаша моя уж подумала, что ее чадо собирается залезать в гроб, хотя я сам лично даже не мечтал об этом!

Врач мне прописала целые ряды склянок и коробок с лекарствами, которые я опустошал для видимости, когда была дома мамаша. Я не хотел, чтобы в очной ставке моей мамыши и врачихи, если только такая состоится по желанию кого-нибудь из них, открылось то, что я будто бы дома даже и не упоминаю о лекарствах, и что, дескать, родительница моя не видела, как я принимаю их. Подобное открытие моих жертв сильно подорвало бы мою силу и влияние. Когда же мамаша находилась на работе, я в часы принятия этих врачебных снадобий совершенно невозмутимо и благоразумно опускал свои дозы не в желудок, а в раковину!..

Ведь меня вовсе не прельщало лакание аптекарских богатств, когда я совершенно в действительности в них не нуждался.

В конечном итоге, справка врача об освобождении была у меня в кармане.

В школе же я решил попробовать испытать счастье и нахально вручить справку нашей директрисе. В то, что меня совершенно освободят от экзаменов, я не верил, ибо за мной тянулись кое-какие учебные грехи, от которых я не силится отвязаться, как это сделал Мишка. Мне нужно было только перенести свои экзамены с весны на осень, а самому добровольно сдавать их весной. Тут я преследовал выгодную цель! Если бы я не сдавал их весной, то осенью мне пришлось бы сдавать все экзамены до единого, а это тяжело; а так, если я сдам какие-нибудь предметы весной, то на осень у меня останется меньше, и лето у меня будет более свободным. Если же мне посчастливится сдать весной все испытания, то я совершенно отделаюсь от осенних. А вообще, я ничего не теряю, даже если бы я и засыпался на каких-нибудь предметах, так как осенью все равно место за мной, и я смело могу их сдать в августе, уделив на эту часть предметов все свое внимание летом.

То, о чем я мечтал, я достиг полностью: экзамены мне были перенесены на осень, а я без всякого риска и ничего не теряя, сдал их все весной, освободив себя от занятий летом и осенью.

Особенной выгодой в этой миссии было то, что я мог возиться с весенними экзаменами с прохладцей, не утруждая себя, зная, что в случае чего я сумею свои грехи искупить осенью, ибо именно осенью были мои теперь законные испытания.

Каждое лето Стихиус ехидно укатывал на юг. Улетучился он и в этом году, только намного раньше, чем обычно, так как был свободен от экзаменов.

23-го мая, когда я собирался наведаться в школу, дабы посетить консультацию по химии, он позвонил мне и сообщил о своем отъезде, пожелав мне всего наилучшего.

— Будь мошенником до конца! — весело сказал он. — Мы, как подлецы, никогда унывать не станем. Между прочим, я еду в первом вагоне!

— Что же это ты допустил подобный грех? — удивился, шутя, я. — В случае аварии тебе первому же влетит по загревкву!

— И то правда! — согласился он. — Чуть крушение, и я вверх ногами!!!

Сегодня уже 5-е июня, и нужно полагать, что Михикус уже пылет под крымским солнцем.

В тот день, когда я готовился с Димкой к алгебре, календарь показывал 25-го мая. Как назло, у меня по неизвестным причинам чудовищно разболелась голова... Она готова была просто разлететься, как бомба, во все стороны. Я проклял все на свете, пожалев только Димку, и вернулся домой, чтобы как следует всхрапнуть. Тут меня подкарауливал сюрприз: к нам пришло письмо из Ленинграда.

Это было подробное послание насчет моих рисунков Эрмитажа и Дворца, которые Рая и Моня получили в полной сохранности. Они писали, что малышка-Трубадур очень рада им, писали, что они ходили к Эрмитажу проверять мой рисунок и что в нем все почти верно, только панорама на площади Урицкого и видневшийся Исаакий у меня несколько шире. Эта коллективная весточка от Раи и Мони сильно подействовала на меня, и я сохранил ее. Я ответил им открыткой, где писал о получении их послания и где обещал написать им еще другое письмо, когда отделаюсь от последнего экзамена 5-го июня, т.е. сегодня, когда я пишу здесь в дневнике эти строки. Нужно сказать, что я сегодня утром его уже сдал. Это была география.

Собираясь иногда с Димкой у него в хижине, мы, подучивая материалы к тому или иному экзамену, частенько, как всегда, отвле-

кались от занятий и болтали на более интересующие нас темы, чем всякие выводы и правила в различных учебниках. По просьбе Димки, я ему всегда с неослабевающей энергией рассказывал о своей поездке в Ленинград и вообще о самом Ленинграде. Я узнал, что Димик еще там не был, за что называл его «смертным, не достойным звания истинного мошенника». Но он яро признавался мне, что сам очень хотел бы увидеть этот прославленный город, хотя бы это ему стоило самых богохульных усилий.

— М-да, братец мой! — сказал я в один прекрасный момент во время одной из подобных бесед, произошедшей 31-го мая. — Я, голубчик, до такой степени уважаю Ленинград, что готов был бы пешком отправиться в него!

— А пойдем!!! — вдруг воскликнул Димка, сразу встрепенувшись.

Я чуть не обалдел от неожиданности...

— Брось валять дурака, — мирно посоветовал я ему. — Шутишь ведь!

— Я говорю совершенно серьезно! — возразил он, и по его тону я определил степень его уверенности и стойкости.

— Ведь лето-то еще впереди! — проговорил он. — Успеем!

— Знаешь, что я тебе скажу? — сказал я, даже к своему собственному удивлению, очень сдержанно и спокойно. — Это будет замечательнейшая экскурсия.

Мы сразу как-то загорелись, оживились, будто бы нашли цель целых наших жизней, и уговорились обо всем этом в скором времени переговорить и твердо порешить. Мы готовили судьбу нашего нынешнего лета.

1-го июня мы снова встретились с Димкой, но о Ленинграде не заикнулись, ибо к Димику явился Вовка Гуревич, и мы стали готовиться к устной литературе.

Вовка, имея просто невообразимую память, с которой он запомнил с пару раз длиннейшее стихотворение, в виде подготовки к завтрашней стычке с Давидом Яковлевичем, орал нам все известные ему стихи Лермонтова и Некрасова.

Сияя во всю свою пасть, он трещал, не сбываясь, один стих за другим. Мы с Димкой, словно ошалелые, с удивлением уставились на него и поражались его энергии и памяти.

— Смотри, Димка! — не удержался я. — И ведь нигде не собьется!! Вот память у подлеца!!!

Вовка с довольной рожей продолжал убивать нас своим запасом стихов.

— Ей-богу! Мировой ты парень, Вовка! — сказал я. — Это я тебе говорю от всего сердца, по дружбе, как настоящему мошеннику! Мошенник ведь ты? Сознайся!

— Ясное дело! — проверещал он в ответ свои резким режущим гласом, от всей души скаля зубы.

2-го числа, отвязавшись от литературы, мы с Димкой на радостях сходили днем в кинотеатр «Москва», что на пл. Маяковского, чтобы проверить лично достоверность слухов насчет чудес первого в СССР стереоскопического фильма. Это действительно было чудо техники. Изображения были объемные, и мы явно ощущали, как цветные шары, рыбы, птицы и пр. кино-инвентарь выплывали и вылетали с экрана прямо в зал. Иллюзия была полная<sup>89</sup>!

Погода была на редкость ясной и солнечной, так что мы решили обратно топтать пешком.

Всю дорогу мы разбирали задуманное предприятие, касающееся похода в Ленинград, и увидали, что оно вполне осуществимо. Мы со всей серьезностью, здравомыслием и критикой разобрали все возможные трудности в приготовлении и в самом пути, не забыв также все хорошие и плохие стороны такого путешествия. Мы решили, что такой поход только укрепит нас, закалит наши организмы, нашу стойкость и самостоятельность, так что, как бы труден он ни был, мы, выйдя победителями, получим, в конце концов, только пользу. В дальнейшем мы решили выбрать дорогу: или путь вдоль железнодорожного полотна или же Ленинградского шоссе. Мы договорились о капиталах, о своем снаряжении, вспомнили о продуктах и до того увлеклись, что теперь нам казалось, будь на нашем пути хоть огонь и вода, мы и то преодолели бы их — вот до какой степени мы загорелись попасть своими силами в Ленинград, не имея дел с билетами, вокзалами, очередями и поездами. Теперь Ленинград нам казался сокровищем, которое мы должны были завоевать своими силами. Ведь «страстное стремление к святой цели обычно побеждает все!». Это был наш девиз!

Мы уговорились выйти в конце этого месяца, ибо по сводкам в это лето должна была быть почти всегда хорошая погода. Продвигаясь в день обычным шагом, делая по 40–50 км, мы могли бы достичь Ленинграда за 12–15 дней.

---

<sup>89</sup> Первый и едва ли не последний в довоенном СССР стереоскопический фильм «Концерт» был выпущен на экран в 1940 г.

Тщательно все разработав, мы увидели, что безумства и ухарства в задуманном нами предприятии нет.

Но дома мною овладела тревога: я вспомнил о моих рассуждениях о возможности войны с Германией, ибо очутиться во времена военных действий где-нибудь в дороге мне не улыбалось, так как тогда бы мы встречали совершенно иные трудности, к которым мы не были бы готовы. Рисковать же ради риска — нет смысла: от этого никому особенной пользы не будет. Но потом я успокоился на этот счет, так как мы с Димкой задумали двинуться в путь на грани июня и июля, а война, скорее всего, должна будет возникнуть в двадцатые числа июня или в первые числа июля, следовательно, она нас предупредит, если только она, конечно, начнется. А уверенность в близкой войне у меня почему-то сильно укрепилась.

Ну вот, наконец-то я и дошел до сегодняшнего дня. Сегодня утром я сдал географию, как я уже раз упоминал, и очутился на полнейшей свободе.

Георгий Владимирович (наш Верблюд) был в хорошем настроении. Я еще в начале учебного года писал, что наш географ изменился и стал очень хорошим человеком, не то, что в прошлом учебном году.

Мне повезло: я выудил билет, в состав которого входила кое-какая часть Италии, которую я знаю еще с давних пор из-за своего письменного доклада по ней. Я натрепался, что знал, и меня оставили в покое.

Димка сразу же после экзаменов сообщил мне, что он уже послал письмо в Ленинград своему дяде, где сообщил ему о возможной встрече в это лето.

Дома, придя из школы, я написал обещанное мною Рае и Моне послеекзаменационное письмецо, где сообщил также адресатам о моем предприятии, задуманном вместе с товарищем. Желая скорее получить ответ, чтобы узнать мнения своих ленинградцев, я очень просил их хотя бы открыткой ответить в день получения моего письма. Таким образом, через четыре-пять дней я уже могу ждать ответа.

Я как бы вскользь заметил в письме, что мое стремление попасть таким интересным способом в Ленинград очень велико, и, если не какое-нибудь из ряда вон выходящее событие, то я могу смело уже говорить об этом лете как о проведенном в городе Ленина. Я не пояснял этой своей мысли в письме, но под этим «событием» имел в виду войну Германии с нами!

«Может, уже Мишке не придется в Крыму долго быть!» — подумал я, возвращаясь с почты домой, когда сплавил письмо в почтовый ящик. — Ведь если грянет война, то нет сомнения в том, что он вернется в Москву».

6-го июня. Вчера наш физик сообщил нам всем, что все до единого имеют полное право придти к нему на следующий день, т.е. сегодня, за своими дневниками, дабы получить возможность обрадовать домашних своими превосходными и непревосходными отметками.

Нынче погода была какая-то дурацкая: без толку колотил дождь, а чего ради он хлестал и сам, видимо, не знал. Я вспомнил, что и в прошлом году, когда я шел после экзаменов за дневником, погода почему-то также плакала! Весьма странное совпадение.

Наш добряк Василий Тихонович восседал за столом в физическом кабинете, когда я около 4-х часов дня явился к нему за своим так называемым школьным аттестатом.

Тут уже толпились кое-какие составители нашего класса, вроде Короля, Цветковой, Тарановой и еще кого-то.

— Ну, что же, голубчик, жив после всех экзаменов ты или нет? — хитро улыбаясь, спросил у меня наш физик.

— Мы уже гробы, вроде, хотели себе сколачивать, — ответил за меня кто-то из присутствующих.

— Да ну-у! — поразился В. Т. — Это когда? Еще до экзаменов?

— Ага!

— Что же так рано решили помирать?

— Да уж вид-то у всех преподавателей был чересчур уж ужасовнушающий, — ответил я за того, кого спрашивал Василий Тихонович.

— И у меня?! — удивился учитель.

— М-м... Гм!.. Хм!!! — Я чуть не поперхнулся, но, все же, доведя комедию до окончания, имел откровенность ответить:

— Уж ничего не поделаешь: у всех преподавателей без исключения.

Весельчак-физик вручил нам наши дневники, предварительно послав кое-кого домой с записками, имеющими не слишком радостное содержание: в каждой из них сообщалось, что прилагающийся к оному документу соответствующий сей смертный, наименования которого выведены на упомянутой записке, посылается до получения дневника домой и что ранее упомянутый школяр должен пере-

дать домашним также уже упомянутый документ, в котором значится, что вышеупомянутый смертный имеет переэкзаменовку по тому или иному неупомянутому до сих пор предмету.

Я подобный багаж — ура! — не получил, ввиду чего, от души пожелав всем присутствующим как можно более удачно провести лето, я со спокойной совестью удалился.

Моим глазам предстала набережная перед школой, на которой разыгралась злорадная расправа неудачливых школяров со своими ненавистными дневниками, в коих пестрели нижеприводимые обозначения, наподобие плохих и очень плохих оценок. Отчаявшиеся жертвы школы с окончанием испытаний сами решили взять на себя роль палачей, в результате чего Москва-река энергично покрылась мирно плывущими и утопающими обрывками табелей, обложек дневниковых тетрадей и даже целых обложек дневников. Надо полагать, что энная часть этих «казненных», преодолев расстояние от Москвы до Оки, а далее и до Волги, в конце концов, достигнет волн гостеприимного Каспия, очевидно, уже в данный момент содержащего в недрах своих немало московских дневников столичных школяров, запущенных в воды Москва-реки еще в былые годы.

Я не поступаю столь варварски — просто заставляю свои дневники покоиться без цели и только в моих ящиках как доказательство, что я некогда, в обозначенные на обложках этих дневников годы, имел несчастье мариноваться в школьных стенах!

**8-го июня.** Мамаша моя пришла в трудноописуемый гнев, узнав, что я готовлюсь к отправлению пешком за шестьсот сорок два километра в Ленинград. Ясно, она боится меня отпускать по тем причинам, что мы с Димкой, дескать, еще малы, пропадем, заблудимся и так далее, и тому подобное, и все в том же роде, и прочее, и прочее!!!

Я твердо заявил, что я уже, очевидно, способен обмозговывать мною же задуманные предприятия собственной головой, а не чьей-либо другой, так как уже мои младенческие годы приказали долго жить.

В общем, я уверен, что с мамашей я слажу и урезону ее — в этом мне, безусловно, поможет мое дьявольское желание добыть для себя Ленинград в это лето собственными силами.

Часа в три ко мне явился Вовка Гуревич. От него я узнал, что Димик уже укатил в деревню; уезжая, он пригласил нас к себе, взяв с Гуры слово, что мы примчимся к нему в ближайшее же время.

Вот мы и решили с Вовкой навестить Димку, избрав 14-ое число как день пребывания в летней Димкиной хижине.

10-го июня. С замиранием сердца я ждал сегодня ответа из Ленинграда. Но он так не пришел. Я выходил из себя, так как томительное ожидание способно свести с ума и самого черта, особенно украинского, так как германский Мефистофель более терпеливый.

Я повстречался с Женькой, но мы уже не скулили о Ленинграде, а взялись за более разумные дела, уговорившись съездить как-нибудь за город порисовать и отдельно наведаться в Звенигород. Я особенно настаивал на последнем, ибо я помнил, как я стремился съездить туда в прошлое лето, ничего не сказав мамаше, чтобы иметь полную возможность испытать себя без всякого снаряжения и провианта в окружении природы. Ведь нет сомнений, что мамаша обязательно накрутила бы мне всякой лишней снеди.

Погода была восхитительная, и мы с Женькой прошлись по Москве до Белорусского вокзала, где среди сумятицы и ругани мешочников раздобыли сведения об утренних звенигородских поездах.

До Звенигорода же мы решили для первого раза слетать через какой-нибудь вокзал недалеко за город, чтобы поскорее узреть летнюю природу, каковая совершенно не чувствовалась в дыму и чаде шумного и гроыхающего города.

11-го июня. В сегодняшний день я решил полностью покончить со всякими следами школы, и, отобрав целый ворох не нужных мне в дальнейшем тетрадей, которые имели в году лишь ценность для моих учителей, но не для меня, я решил зверски и злодейски умерщвлять их путем инквизиционного процесса. В течение целого получаса они весело пылали в ведре в ванной комнате, изрыгая в меня во имя мщениа клубы едкого синего дыма, который рождался из колыхающихся почти невидимых языков пламени. С умиротворяющим шуршанием и легким треском окислялись различные законы, формулы, «художественные особенности литературных произведений», «промышленности европейских и других стран» и мудрости, рожденные Дарвином.

Звякнувший мне вечером Евгений сообщил мне, что он долго раздумывал, куда бы, мол, нам съездить за город, но что внезапное просветление его мозгов открыло ему истину в лице возможности поездки в некое Переделкино по Киевской дороге. Эту станцию он



уже знает, ибо некогда имел счастье побывать в этих райских местах, окружавших ее. Я, конечно, не счел нужным отвергнуть этот проект, и мы с Женькой решили завтра же посозерцать ее районы.

Сегодня также не пришел ответ из Ленинграда... Это меня сильно тревожило, так как, если ни Раи, ни Мони, ни Норы не будет летом дома, мое пребывание в Ленинграде крайне осложнится, ибо мне не очень-то уж хочется обращаться за помощью к тете Бете. Читатель сам уже понимает, что Ленинград для меня существует тогда, когда я нахожусь там в непосредственной близости от моей любимой ленинградской тройки; без нее же Ленинград почти полностью выцветает в моих глазах.

Но у меня теперь возникают совершенно убивающие меня мысли. Уж не слишком ли откровенно я писал в письме, что сильно стремлюсь в Ленинград? Как на это прореагировали Рая и Моня, если они, действительно, прочли мое письмо, т.е., если письмо не пропало в пути?! Может быть, им пришлось не по вкусу то, что я бы хотел в это лето побывать у них в Ленинграде? Может быть, по каким-то причинам, не желая, чтобы я был у них, они, не зная, как и что мне написать в ответном письме, и боясь прямого признания в нем, решили вовсе не отвечать, надеясь, что, может быть, не получив их ответа и согласия, я не решусь отправляться в путь? Ведь они могли обидеться тому, что я, побывав у них зимой, уже заговариваю о новой встрече! Я невольно вспоминал нашу зимнюю встречу, дружественно проведенные дни, теплые беседы, и мне трудно было подумать, что я мог быть им в тягость. Ведь я так силился сделать мое пребывание у них менее чувствительным для них в смысле заботы! И под напором подобных мыслей мне теперь казалось, что у меня то письмо получилось чересчур прямым и неосторожным. Теперь я бы хотел, чтобы это письмо лучше б пропало в дороге. А, может быть, это и так! Может быть, поэтому они и не пишут, так как не получили моего послания? В таком случае, во избежание всяких недоразумений, о которых я теперь подозреваю и только что говорил, я желаю, чтобы оно до них лучше и не дошло бы.

Мне, конечно, об этом не очень-то приятно задумываться, ибо я всегда считал и считаю своих ленинградцев моими наилучшими родственниками и друзьями. Если бы, например, они пожелали часто к нам приезжать, я каждый раз, с неослабевающим чувством дружбы, с радостью бы принимал их, не замечая никаких забот.

Я был бы только рад их каждому приезду, пусть даже, если б они были по несколько раз в год. От этих слов я не отступаю: моя привязанность и товарищеское уважение к моим трем ленинградцам действительно столь велики, что я, смело говорю, и не обратил бы внимания на трудности, если бы только таковые возникли с их приездом. Радость моя от встречи с ними искупила бы и заглушила все! Да вообще никаких трудностей не было бы, а было бы только удовлетворение!

И ради уважения к своим ленинградцам я не желал навязываться им. Но с горечью подозревая их обиду на меня, решил прекратить посылку к ним писем, чтобы время мне сумело сказать, прав ли я в своих подозрениях!.. А навязываться я не желаю — у меня достаточно будет твердости, чтобы самовольно оторваться от столь любимых людей.

Если же они ничего плохого и не думали, то, не получая от меня писем, очевидно, пошлют мне вопрос «в чем дело?», и тогда для меня настанет просветление, но, если писем от них не будет... Ну, что же, тогда я как-нибудь додумаюсь до какой-либо увертки, чтобы незаметно и без всякого ущерба для всех узнать о достоверной причине молчания моих ленинградских друзей! Только так я должен буду поступить, чтобы знать действительно точную правду, а покамест я постараюсь забыть о моих родственниках в Ленинграде. Время вместе с будущим покажет мне все!

К несчастью, таким образом, на моем пути к походу в город Ленина возникает новая преграда... хотя от похода я, конечно, и не думаю отказываться: в крайнем случае, я смогу найти приют у тети Бети, которая очень часто, бывало, в письмах звала нас, и поэтому в моем поступке не будет ничего преступного: это тогда будет просто-напросто ответ на приглашения.

12-го июня. Сегодня мы с Женькой провели день вместе.

Я встал рано утром, уложил в портфель свой скарб и отправился к Женьке на Арбатскую улицу.

Утро было солнечное, и лучи дневного света до боли в глазах поливали просыпающийся город.

Евгений уже меня ждал. До Киевского вокзала мы дотянулись пешком, где у невинной пригородной кассы приобрели «пропуска» к станции Переделкино.

Мы взобрались в совершенно пустой вагон и до отхода поезда развлекались картиной, которая представляла из себя лазающих

по лестницам рабочих, меняющих, очевидно, стекла в стекольных стенах навеса над перронами. Порхающие в вышине труженики без всяких церемоний высаживали стекла из многочисленных мелких квадратных рам ударом своих каблуков, после которых искрящиеся брызги стекла со звоном рушились водопадом прямо на опороженную часть платформы, где разлетались во все стороны, звякая об асфальт и сверкающие полосы рельс.

Через небольшой промежуток времени мы уже находились на песчаной платформе нужной нам станции. После умчавшегося громыхавшего поезда наступила мгновенная тишина, нарушаемая только шелестом кругом растущих деревьев, посвистыванием слабого загородного ветерка и шуршащими шагами стрелочника, топающего вдоль полотна по промасленным и почерневшим шпалам.

Пройдя весело искрившуюся под ярким солнцем зеленеющую рощу и небольшой лесок, по которому мы двигались вдоль заросшей тропинки, мы вышли на край какого-то чрезвычайно обширного поля, где и расположились на крутом склоне, сплошь покрытом плотным ковром травы. Перед нами неслышно протекала почти заросшая от речной травы узенькая речонка с обрывистыми берегами, густо поросшая мощными богатствами осоки и молоденьких осин, похожих на кривые серые канаты, вьющиеся кверху.

Недалеко от нас в джунглях пышных трав, тоненьких лип и кустов весело журчал прозрачный ручеек, разбивавшийся кое-где на отдельные ручьи, пробиваясь сквозь многочисленные преграды. Он бежал по ржавому красному дну, покрытому темными прошлогодними листьями, набухшими обломками сучьев и прочими отщепенцами живой природы.

В этих райских местах мы провели почти весь день: то возясь у реки, то рисуя пейзаж с деревянным мостком через упомянутую речку, то смалевывая сквозь заросли прибрежных осин видневшийся каменно-железный небольшой железнодорожный мост, имевший чрезвычайно оригинальный вид через густую паутину молодых осиновых стволов. Деревянный мостик чиркал Женька. А я отдался железнодорожному. Я старался не очень-то уж долго копаться с рисунком, чтобы мне кто-нибудь за это дело, с виду схожее со «шпионским», не дал по шее и не уволок в каталажку, где мне решительно нечего делать. Опускающееся и краснеющее светило подсказало нам время, и мы, удовлетворенные, покинули загородную природу.

**Тетрадь XV.**

**1941 г. 13 июня — 21 июля**

13-го июня. Сегодня мы с Гуревичем решили сплавить с рук не-  
нужные нам учебники, дабы иметь возможность получить нужные  
нам, для десятого класса. Мы совместными усилиями у окошка на-  
шего школьного киоска отделались от учебников 9-го класса и на  
вырученные деньги обогатились «десятиклассными».

Это была, очевидно, моя последняя встреча со школой в это лето.  
Я зашел в канцелярию за нужной моей мамаше справкой о том, что  
я, мол, нахожусь в числе питомцев школы номер девятнадцать, и  
что, учась в ней, перешел в следующий класс пыток. Эта справка  
моей родительнице, кажется, нужна была для отдела народного  
обеспечения, где она получала пенсию за моего отца.

В канцелярии восседала рядом с секретаршей школы наша био-  
логичка Труба — Анна Васильевна. Пока секретарша воевала с  
печатями, сооружая мне справку, Труба поинтересовалась у нас с  
Вовкой, где мы мечтаем провести лето. Не имея желаний болтать  
встречному-поперечному о задуманном походе в Ленинград, я от-  
ветил ей, что, по всей вероятности, дескать, останусь в Москве.

Она как учительница, обладающая очень редким для большин-  
ства преподавателей чувством дружбы с учениками, предложила  
нам с Гурой съездить к ней в гор. Калинин, где мы можем провести  
неплохо хотя бы все лето, иной раз имея там дело даже и с похода-  
ми.

На мой вежливый отказ она ответила, нужно сказать, очень мет-  
ко и умно:

— Что же! Или вы, боясь трудностей, предпочитаете спокойную  
жизнь в городе? Хотя это и так, — добавила она иронически. — Без  
всяких преград на пути — безопаснее и беспечнее жить! Пусть, де-  
скать, их преодолевают другие!

Это были, действительно, колкие, но замечательные слова; но  
разве я мог ей рассказать о нашей с Димкой тайне насчет добро-  
вольного проведения этого лета отнюдь не спокойным образом.  
Это бы, конечно, ей пришлось по душе, но я устоял против соблазна  
высказать истину и выдержал насмешку Анны Васильевны. Я толь-  
ко сказал, чтобы смягчить свой отказ от ее предложения, что, если  
я думаю о проведении лета в городе, то это совершенно не говорит  
о моем стремлении провести время бездельнически и беспечно;  
дело, и даже трудное, можно найти в любой точке земного шара.

Выходя на этот раз из школы, мы с Вовкой уже решили в это лето в нее уж не возвращаться.

14-го июня. Сегодня мы с Гурой, согласно договору, ездили к Димке, который встретил нас на станции. К моему неудовольствию, мы должны были пользоваться для этого Ленинградской дорогой, а ведь это наводило меня на ряд невеселых мыслей.

Деревня находилась в 3-х км от станции, и нам пришлось пере-сесть целые леса и поля по дороге к ней. День был нами проведен прекрасно. Мы ходили к реке, где Димка и Гура удивляли друг друга, а также и меня своими мудростями в овладении водными стихиями. Я, обычно имеющий дело с водой только в адски-жаркие времена, отказался от подобного удовольствия, хотя Димка клялся мне, что день сегодня на редкость жаркий. Я, правда, этого не слишком уж замечал: может быть, Димка просто хотел, чтобы я поплескался. Или же, может быть, жара на меня почему-то не действовала, но этим я не очень уж интересовался.

К вечеру грянул дождь, так что пока мы с Вовкой в сопровождении Димки добрались до станции, мы стали похожи на выходцев с того света, побывавших в водах каких-либо водоемов.

В поезде же я мало интересовался деятельностью водных запасов небес, так как я был от них уже надежно защищен.

Гура остался еще на пару дней у Димки, так что в Москву возвращался я один. Проведя эксплуатацию метрополитена, я достиг своего пристанища уже поздно вечером, ибо темнеть стало еще тогда, когда я еще был в пределах загорода.

17-го июня. В сей день я должен был во что бы то ни стало побывать в милиции, чтобы переметить паспорт. Не скрою: это я сделал.

По прошлым годам я помнил, что там вечно собираются целые оравы народа, и всегда поэтому приходится торчать в очереди по целым часам, теряя зря уйму времени. Это меня сильно тревожило, и так как перспектива потери времени в очереди меня не прельщала чрезвычайно сильно, то я решил смошенничать, проведя когонибудь за нос, чтобы поскорее отделаться от всей этой волынки.

Отправился я в милицию — как правило — пешком. Дорога была бы мало чем замечательной, если бы в одном из переулков я не нагнал бы двоих смертных, весьма подозрительной наружности,

которые, находясь при своем положении, могли смело рассуждать о вращении Земли. Короче говоря, они опрокинули в свои глотки кое-какие чарки. Один из них был на диво разговорчивым парнем.

— Братец! А, братец! Ты мне друх али нет? — со спокойным видом спрашивал он другого вялым тоном.

— А я откуда знаю! — более твердым голосом произнес наименее налакавшийся.

— Нет, ты мне все-таки скажи, друх ты мне? — настаивал первый орел.

— Брось дурака-то валять! — серьезно произнес второй.

— Не-е! Ты скажи, а то будешь большой дурак!

Второй ничего не ответил.

— Ать, дьявол! — выругался первый. Тут он прибавил такое словцо для десерта, что я чуть было богу душу не отдал.

— А я те друх! Да! — уверенно проговорил первый. — Ну, вот... ну, вот хочешь... хочешь я это... как оно... хошь я рубашку разорву? А? Не, ты только скажи, хочешь?

— А зачем это мне? — вяло отозвался другой.

— Не, ты только скажи! — продолжал бушевать первый. — Ну, хочешь, я жену прогоню? Хочешь ей в морду дам?

Немного погодя он заговорил о более «хозяйственных» делах.

— Друх, а друх! Давай меняться! Ты мне дашь красенького, а я... Ну, хочешь мне дать красенького? А? Я те дам жену, а ты мне — красенького! Хочешь так меняться? Да не, ты скажи все же!

— Да нет у меня ничего, — раздраженно, но довольно флегматично ответил другой.

— А на лешего мне жена-то сдалась! — вдруг начал откровенничать наиболее налилавшийся орел. — Эка дурра! В морду, што ль ей треснуть! Тресну! Вот, ей-богу, тресну... — Тут они скрылись в каких-то воротах, и я так и не узнал, что же, собственно, думал этот субъект сотворить со своею супругой.

Вопреки ожиданиям, в милиции было мало народу, но я все же пролез без очереди, ввиду чего мне долго там торчать не пришлось.

18-го июня. Сегодняшний день был у меня пуст. Я, не зная на что убить время, решил пробездельничать целые сутки, так как мне ничего не лезло в голову, и поэтому я не имел никакой возможности что-нибудь сотворить на чью-либо пользу. Скоро будет половина

месяца, как я отослал письмо в Ленинград... К несчастью, никаких опровержений моих подозрений об обиде моих ленинградцев еще не видать...

Под вечер позвонила Маргаритка. Чего она от меня, собственно говоря, хотела, я так толком и не понял. Скорее всего, она позвонила ради простого времяпрепровождения. Она что-то мне болтала о своей статье об «Аиде», говорила о каких-то вопросах, очень интересующих ее, которые она хотела задать мне, но которые она не решалась все же произнести вслух, так как ей будто бы кто-то там мешал...

Я терпеливо ждал, что будет, мало-помалу начиная выходить из себя.

— Ты, что, не в духе сегодня? — спросила она.

— Да не кричи ты так, боже мой! — с горькой усмешкой произнес я. — Я вижу, что ты уж что-то очень о многом желаешь меня спросить, но не решаешься! В таких случаях я советую вообще тогда и не разговаривать об этом. Я люблю всегда, начиная о чем-нибудь разговор, всегда кончать его.

— Это не всегда полезно, — возразила она.

— Как знать, — отозвался я. — Если бы я пожелал что-нибудь от тебя о чем-нибудь узнать, я бы не валял дурака, как ты! Но ввиду того, что я имею свою голову, то я и не думаю ни о чем тебя спрашивать.

Это была уже настоящая грубость, но мошенница-Маргаритка была ее достойна. По крайней мере, она не обиделась.

21 июня. Теперь, с началом конца этого месяца, я уже жду не только приятного письма из Ленинграда, но и беды для всей нашей страны — войны. Ведь теперь, по моим расчетам, если только действительно я был прав в своих рассуждениях, т.е. если Германия действительно готовится напасть на нас, война должна вспыхнуть именно в эти числа этого месяца или же в первые числа июля. То, что немцы захотят напасть на нас как можно раньше, я уверен: ведь они боятся нашей зимы и поэтому пожелают окончить войну еще до холодов.

Я чувствую тревожное биение сердца, когда подумаю, что вот-вот придет весть о вспышке новой гитлеровской авантюры. Откровенно говоря, теперь, в последние дни, просыпаясь по утрам, я спрашиваю себя: «А, может быть, в этот момент уже на границах

грянули первые залпы?» Теперь нужно ожидать начала войны со дня на день. Если же пройдет первая половина июля, то можно уж тогда будет льстить себя надеждой, что войны в этом году уже не будет.

Эх, потеряем мы много территории! Хотя она все равно потом будет нами взята обратно, но это не утешение. Временные успехи германцев, конечно, зависят не только от точности и силы их военной машины, но также зависят и от нас самих. Я потому допускаю эти успехи, потому что знаю, что мы не слишком подготовлены к войне. Если бы мы вооружались как следует, тогда бы никакая сила немецкого военного механизма нас не страшила, и война поэтому сразу же обрела бы для нас наступательный характер, или же, по крайней мере, твердое стояние на месте и непропускание за нашу границу ни одного немецкого солдата.

А ведь мы с нашей территорией, с нашим народом, с его энтузиазмом, с нашими действительно не ограниченными ресурсами и природными богатствами, могли бы так вооружиться, что плевали бы даже на мировой поход капитализма и фашизма против нас. Ведь Германия так мала по сравнению с нами, так что нужно только вникнуть немного, чтобы понять, как бы мы могли окрепнуть, если бы обращали внимание на военную промышленность так же, как немцы.

Я вот что сказку: как-никак, но мы недооцениваем капиталистическое окружение. Нам нужно было бы, ведя мирную политику, одновременно вооружаться и укреплять свою оборону, так как капитализм ненадежный сосед. Почти все восемьдесят процентов наших возможностей в усилении всех промышленностей мы должны были бы отдавать обороне. А покончив с капиталистическим окружением, в битвах, навязанных нам врагами, мы бы смело уж тогда могли отдаваться роскоши.

Мы истратили уйму капиталов на дворцы, премии артистам и искусствоведам, между тем как об этом можно было бы позаботиться после устранения последней угрозы войны. А все эти миллионы могли бы так помочь государству.

Хотя я сейчас выражаю и чересчур откровенно и резко, но верьте мне, я говорю чисто патриотически, тревожась за спокойствие жизни нашей державы. Если грянет война, и когда мы, за неимением достаточных сил, вынуждены будем отступать, тогда можно будет пожалеть о миллионах, истраченных на предприя-



тия, которым ничего бы плохого не было, если б они даже и подождали.

А ведь как было бы замечательно, если бы мы были настолько мощны и превосходны над любым врагом, что могли бы сразу же повести борьбу на вражеской территории, освобождая от ига палачей стонущие там братские нам народы.

Скоро придет время — мы будем раскаиваться в переоценке своих сил и недооценке капиталистического окружения, а тем более в недооценке того, что на свете существует вечно копящий военные силы и вечно ненавидящий нас фашизм!<sup>90</sup>

22 июня. Сегодня я по обыкновению встал рано. Мамаша моя скоро ушла на работу, а я принялся просматривать дневник, чтобы поохотиться за его недочетами и ошибками в нем.

Неожиданный телефонный звонок прервал мои действия. Это звонила Буба.

— Лева! Ты слышал сейчас радио? — спросила она.

— Нет! Оно выключено.

— Так включи его! Значит, ты ничего не слышал?

— Нет, ничего.

— Война с Германией! — ответила моя тетушка.

Я сначала как-то не вник в эти слова и удивленно спросил:

— А чего это вдруг?

— Не знаю, — ответила она. — Так ты включи радио!

Когда я включился в радиосеть, я услышал потоки бурных маршей, которые звучали один за другим, и уж одно это необычное чередование патриотически-бодрых произведений мне рассказало о многом.

Я был поражен совпадением моих мыслей с действительностью. Я уж не старался брать себя в руки, чтобы продолжить возиться с дневником: у меня из головы просто уже все вылетело. Я был сильно возбужден! Мои мысли были теперь обращены на зловещий запад!

---

<sup>90</sup> Рассуждения Левы резко контрастируют с идеологией победы над врагом «малой кровью» и на чужой территории, насаждавшейся в предвоенные годы советской пропагандой, и даже с радужными представлениями о способности Красной армии разбить врага и дойти до Берлина за четыре недели, которые были распространены в советском обществе в первые дни войны. // Народ и война: очерки истории Великой Отечественной войны. 1941–1945 гг. Под ред. А. Н. Сахарова, А. С. Сенявского. М., 2010. С. 134.

Ведь я только вчера вечером в дневнике писал еще раз о предугадываемой мною войне; ведь я ждал ее день на день, и теперь это случилось.

Эта чудовищная правда, справедливость моих предположений были явно не по мне. Я бы хотел, чтобы лучше б я оказался не прав!

По радио сейчас же запорхали различные указы, приказы по городу, передачи об обязательной светомаскировке всей столицы, и я узнал из всего этого, что Москва со своей областью и целые ряды других районов европейской части СССР объявлены на «военном угрожаемом положении»<sup>91</sup>. Было объявлено о всеобщей мобилизации всех мужчин, родившихся в период 1902–1918 годов, которая распространялась на всю европейскую часть РСФСР, Украину, Белоруссию, Карело-Финскую республику, Прибалтику, Кавказ, Среднюю Азию и Сибирь. Дальний Восток был обойден. Я сразу же подумал, что он, очевидно, не тронут для гостинцев Японии, если та по примеру Германии, пожелает получить наши подарки.

Все эти вести по радио сильно действовали на меня, и я трагически думал о том, до чего дожила наша страна. И все это было из-за приведения в жизнь на наших границах одного лишь только слова — «война»!

23-го июня. Я с нетерпением ждал сводки по радио или в газетах! Ведь целые сутки прошли уже с начала военных действий, а за это время ведь кто-нибудь мог продвинуться, а кто-нибудь мог отступить. Кто?

Из речи Молотова, который вчера утром выступал по радио, я узнал, что немцы, не объявляя нам войны, вероломно напали на нас, подвергнув бомбардировкам такие города, как Киев, Каунас, Севастополь, Житомир и др. Нападение без объявления войны я как раз и ожидал от Германии.

Последние слова речи сильно подействовали на меня. Это были крепкие боевые слова: «Наше дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!»<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> В соответствии с указом Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 г. в Москве и ряде других регионов страны вводилось военное положение, подразумевавшее переход власти от гражданских учреждений к военным советам фронтов или военных округов, трудовую повинность населения для выполнения оборонных работ, введение комендантского часа и ряд других ограничений.

<sup>92</sup> 22 июня объявление о нападении Германии на СССР от имени советского правительства сделал В. М. Молотов. Лева точно приводит заключительные слова его выступления.

Наконец-то я узнал из сводки, что «с рассветом 22-го июня 1941 года регулярные войска германской армии атаковали наши пограничные части на фронте от Балтийского до Черного моря и в течение первой половины дня сдерживались ими.

Нами было сбито 65 самолетов противника. На земле же немцы также понесли потери, захватив в Гродненском и Кристынопольском направлениях местечки Кальвария, Стоянув и Цехановец, первые два в 15 км и последнее в 10 км от границы<sup>93</sup>.

Вот вам и первые шаги фашизма по нашей земле!..

Как я и думал еще раньше, Финляндия и Румыния также вступили в войну, играя роль транзитных государств для германских войск. Рано утром, с первыми раскатами рева моторов фашистских бомбовозов, ринувшихся к нашим городам, грянули залпы орудий финской и румынской сторон.

Страшно даже и подумать: теперь и нашей стране пришлось услышать зловеющий рев вражеских самолетов, увидеть черную свастикку на их крыльях и почувствовать смертоносные разрывы германских бомб.

Я раньше мало интересовался воздушной войной между англичанами и немцами, так как она очень пассивна и однообразна<sup>94</sup>; теперь же я возымел к ней некоторый интерес, ибо каждый сбитый фашистский аэроплан английскими самолетами и зенитными батареями — это уже помощь нам; тем меньше Германия сможет бросить на русский фронт своих летающих аппаратов-стервятников.

К вечеру к нам пришла Гага. Нам пришлось с мамой уговорить по телефону Бубу, чтобы та позволила своей дочке у нас переночевать, так как теперь Москва не зажигалась, и можно было бы легко свернуть себе шею где-нибудь в таких центральных, ранее кишевших полной жизнью частях Москвы, как улица Горького, Охотный ряд и Театральная площадь.

---

<sup>93</sup> Лева точно передает сведения о направлениях ударов гитлеровских войск, которые сообщали советские СМИ. Что касается сбитых в первый день войны советскими летчиками самолетов «Люфтваффе», то и сегодня в различных источниках этот показатель колеблется от 65 до 300.

<sup>94</sup> Массированные бомбардировки Великобритании германскими военно-воздушными силами начались с августа 1940 г. в рамках операции «Морской лев» и продолжалась до весны 1941 г. Наличие хорошей противовоздушной обороны и использование англичанами радиолокационных установок существенно снизили ущерб, на который рассчитывало руководство Германии.

Я кончаю писать, а то уже темнеет... Окна мы еще не замаскировали, так что нам приходится отсиживаться уже второй вечер в темноте.

А Москва! Наша Москва, сияющая вечерами заревом миллионов огней, искрившимися вереницами освещенных окон!.. Где теперь ее краса?!

24-го июня. Эту ночь я никогда не забуду! Гага и мама улеглись на кровати, а я на своем обычном месте — на диване.

Я почувствовал, что меня кто-то тормошит за плечо. Я открыл глаза... Было дьявольски темно... еще была ночь...

Гага стояла возле дивана и каким-то странным голосом говорила:

— Вставай скорее! Тревога!!! Слышишь?!

Радио было включено, и я слышал ровный, спокойный, но душеубивающий, монотонный голос диктора, говорившего:

— Граждане, воздушная тревога! — Это было ужасно! Сквозь открытое окно с улицы доносились ревущие звуки заводских гудков и вой оглушительных сирен... Эти звуки я никогда не забуду... Это была какая-то душераздирающая бешеная гармония звуков, которая потрясала воздух над всем мрачным темнеющим городом...

У меня внутри что-то оборвалось... я быстро вскочил, но в темноте не мог своею быстротой угодить нетерпению мамы и Гаги.

— Скорее, ч-черт! Ну, чего ты возишься, как дурак! — торопила меня Гага, и я слышал в ее голосе испуг.

— Да, погоди ты, господи! — огрызнулся я, почему-то одеваясь довольно спокойным образом. На меня тревога подействовала лишь в первые моменты пробуждения; теперь же я быстро овладел собой, хотя у меня против воли яростно колотилось сердце...

«Боже! — подумал я. — Немцы под Москвой! Кто бы мог подумать?! Ну и времена!»

Самое трудное было нацепить сандалии, и я, в жгучей темноте, орудуя ими, злобно изрыгал все известные мне проклятия и ругательства.

С улицы и по радио неслись зловещие звуки сирен, которые так действовали на нервы, что я удивлялся, как только Луна от их дьявольского воя не перевернулась вверх «дном».

Во всем подъезде слышалось хлопанье дверей... Жильцы, заспанные и наспех одевшиеся, похожие на сборище бесов, катились на улицу в убежище.

Откуда-то издали гулко прозвучали громоподобные залпы... Зенитки!!!

— Проклятие! — проскрежетал я. — Неужели они бьют по немецким самолетам? Не верю просто! Непостижимо!

Поток бегущих людей направлялся к заднему двору. Там, под 15 подъездом, находилось убежище, в двери которого исчезали испуганные толпы.

— Гага! — сказал я, улыбаясь. — Сенсация на весь мир! Первая бомбардировка Москвы! Что ты на это скажешь? А?

Она лишь в ответ проскрипела яростно зубами, но это обращалось не ко мне, а к тем, кто, толкаясь, лез вперед, задерживая всех остальных.

— Не бойся! Бомбардировки сейчас не будет! — сказал я ей. У меня в голове возникла осторожная мысль, что это учебная тревога<sup>95</sup>.

В подвале была тьма народу; все толкались, пробиваясь вперед, вглубь, где-то ревел младенец, а какой-то дяденька обозвал своего соседа «идиотом».

Я пристально вглядывался в глаза людей... Они все были широко раскрыты, а на лицах было отпечатано чувство непривычной близости угрозы смерти.

Я, очевидно, имел такой же вид, хотя сам не замечал этого и хотя старался быть спокойнее... Но сердце так и толкало меня в грудь...

Наконец, поток остановился... Кругом стояли массы смертных, а некоторые забрались на груды кирпичей и пыльных ломаных стульев, которые не успели еще убрать из этого подвала. У стены стояло корыто с известкой, был насыпан песок, так что это подземелье никак нельзя было назвать бомбоубежищем.

Свыше часа мы толкались в этом аду, пока не дали по радио отбой. Это был сладостный момент!

А днем мы узнали, что ночная тревога, действительно, была учебная. Ну, значит, немцы еще вражеской столицы не видали!

Жизнь сразу перевернулась... Всех ребят и тому подобных работоспособных жителей нашего дома погнали на церковный двор,

---

<sup>95</sup> Как и предположил Лева, тревога 24 июня была проверкой противоздушной обороны столицы. // Р. Брейтвейт. Москва 1941. Город и его люди на войне. М., 2006. С. 168.

где мы все у стен знаменитой церквушки, как кроты, копали землю, ссыпали ее в мешки и таскали к окнам подвальных помещений дома, готовя более надежные убежища. Даже четырехлетние малыши и то носили землю и песок в своих игрушечных ведерках... Война объединила всех.

Тут были даже скрипящие старушенции, которые яростно воевали с землей, не замечая, как они сами покрывались ее слоями, бешено разбрасывая комья глины и мокрого песка.

Газета мне сегодня была подтверждением моих горьких мыслей о неизбежных временных успехах фашистской оравы: я прочел, что немцы заняли Брест-Литовск. Это было удручающее известие.

25-го июня. Что-то новое, необычное влилось в мою жизнь с этой войной! Какое-то необъяснимое чувство тревоги и любопытства стало преследовать меня по пятам, и я видел, что так случилось не только со мною, но и многими другими: жажда газет, стремление к радиопередачам, необычное сердцебиение все время напоминали всем, что это — война, война с самым лютым врагом, способным на всякие преступления, война опасная и тяжелая.

Газета сегодня показала, насколько коварны и опасны германские захватчики: оказывается, на специальных самолетах немцы перебрасывают в наши тылы диверсантов и шпионов — самых отвязавшихся фашистских убийц, которые замаскированы под наших советских людей одеждами и формами бойцов нашей армии, агентов НКВД и милиционеров.

Эта коварная уловка заставила меня здорово-таки подумать над тем, как трудна будет борьба с этими негодьями. И нужно быть только самыми отчаянными подлецами, чтобы иметь нахальство облачать своих диверсантов в формы различных органов вражеской страны. Только фашистская мразь способна на такое беззаконное подлое преступление.

С подобными двурушниками уже ведут борьбу специально сформированные истребительные батальоны, которые при активной помощи населения советских сел и городов вылавливают переодетых скорпионов<sup>96</sup>.

Наши самолеты в ответ на внезапные бомбардировки наших городов германскими палачами ринулись за границы враждебных

---

<sup>96</sup> Истребительные батальоны, состоявшие из советских, партийных и комсомольских работников, действительно вели борьбу с диверсантами, шпионами, пособниками врага. Их деятельность направлял НКВД.

нам стран и послали свои разрушительные бомбы в военные и промышленные объекты Варшавы, Люблина, Сулина и Констанцы, на которых взлетели к небу языки пламени горящей нефти и взрывающихся заводов<sup>97</sup>.

Воображаю, какой замечательный вид имели наши соколы со светлыми красными звездами на крыльях, когда они парили над логовищами врагов.

Далее я прочел, что Румыния и Финляндия полностью предоставили свои территории Германии для нападения на нашу страну; таким образом, я увидел, что финны настолько забывчивы, что уже успели выкинуть из памяти уроки финской войны; ничего, наша армия им напомнит. Или они возгордились, понадеявшись на силу фашистской Германии, думая, что СССР окажется слабее ее? Посмотрим!

С большой радостью прочел я в «Правде» о движении солидарности и дружбы по отношению к нашей стране, которое возникло в Англии и Соединенных штатах. Власти Америки даже пожелали снять секвестры на наши фонды, а народы этих двух держав требовали на многочисленных митингах активной помощи и поддержки России!<sup>98</sup> Таким образом, мы обрели могущественных друзей и союзников в борьбе с немецкими полчищами.

**26-го июня.** Сегодня из газеты я опять узнал много нового: оказывается, для поддержания наступательного духа солдат офицеры перед атаками спаивали последних, так что все пленные и раненые германцы, попавшие к нам, оказались настолько звероподобными и пьяными, что походили на каких-то животных с красными мордами и рычащими голосами.

В Лондоне на днях выступил Иден<sup>99</sup>, который, подчеркивая свое отрицательное отношение к коммунизму, все же горячо призывал к помощи и поддержке России, ибо, как он говорил, теперь у Англии

---

<sup>97</sup> По сообщению Совинформбюро от 24 июня бомбардировка Сулина и Констанцы была предпринята в ответ на немецкие налеты на Севастополь с территории Румынии; Данцига, Кенигсберга, Люблина, Варшавы — за немецкие налеты на Киев, Минск, Либавы и Риги. В действительности советская авиация Черноморского флота несколько раз наносила удары по Констанце и Сулину 23 и 24 июня, что привело к уничтожению ряда военно-промышленных объектов. Менее результативными оказались советские авиаудары на западном направлении.

<sup>98</sup> 24 июня президент Ф.Д. Рузвельт заявил о готовности США поддержать СССР в борьбе с гилеровской агрессией. Тогда же было принято решение о размораживании советских фондов в США.

<sup>99</sup> Иден А. — министр иностранных дел Великобритании.

и русских есть единый враг — фашистские варвары, которые грозят уничтожением и России, и Британии. Из этих слов я понял, что для английского правительства сейчас важно не то, с кем они союзничают, а то, против кого ведут союз с той или иной страной; короче говоря, Англия шла не на дружбу с социализмом и коммунизмом, а шла на борьбу против вражеской ей Германии вместе с русским государством. Это было для нее самое важное в данный момент.

В стране нашей вспыхнуло патриотическое движение за перевыполнение всех норм на заводах и предприятиях, работающих для армии и для тыла. Волна митингов, прокатившаяся по всем предприятиям страны, показала, насколько русский и другие народы, входящие в семью советских людей, жаждут скорейшего разгрома Германии. Удивительные дела стали твориться на заводах и фабриках. Люди начали перевыполнять задания на несколько сот процентов и добиваться таких героических успехов, о которых раньше и нельзя было мечтать. Я читал про это в газете и только удивлялся, до какой силы и роста взлетел дух советского народа.

Погода была сегодня превосходная, и я решил полюбоваться на Москву, и увидел, что в ее обычной жизни произошли перемены: на стенах домов то там, то здесь пестрели яркие плакаты и лозунги, призывающие к борьбе и труду на страх врагам, увеличилось очереди за газетами, и на всех трамвайных, автобусных и троллейбусных остановках стояли смертные, яростно шелестя громадными газетными листами.

В городе все же продолжала протекать спокойная обычная жизнь — это меня радовало!

Мысль о войне с Германией меня тревожила еще в 1939 году, когда был подписан знаменательный пакт о так называемой «дружбе» России с германскими деспотами и когда наши части вступили в пределы Польши, играя роль освободителей и защитников польских бедняков.

Эта война меня тревожила до такой степени, что я думал о ней как о чудовищном бедствии для нашей страны. Она меня тревожила больше, чем, допустим, война с Америкой, Англией, Японией или война с какой-нибудь другой капиталистической державой мира. Дело в том, что я был уверен и сейчас уверен в том, что стычки между средними, близкими в некотором роде «классовыми единицами» никогда не доходят до катастрофических величин, но если встречаются единицы, представляющие по своей структуре



полные противоположности, тогда разворачиваются схватки яростные, свирепые и жесточайшие. Та же система применима к войнам между различными странами земного шара. Центром этой системы может быть капитализм, который разделяется на две близкие единицы — капитализм с демократическими наклонностями и капитализм с агрессивными стремлениями. Первый способен породить социалистическое общество, а второй, в свою очередь, обратное — общество империалистов, то есть получается отдаление единиц по своим идеям и настроениям. Наконец, эти две единицы рождают совершенно противоположные по своим структурам величины: социализм переходит в коммунизм, построенный на правде, честности, равенстве, на свободе, а империализм способен перейти в свою острую фазу — фашизм, который воспекает рабство, потоки человеческой крови и слез, уничтожение целых народов и т.п. варварские преступления, перед которыми бледнеют ужасы инквизиции.

Если бы, например, начали между собою борьбу капиталистические страны или какая-нибудь капиталистическая страна с нашим государством, то эти войны не принимали бы чересчур яростного жестокого характера, но тут дело касается двух стран, административные деления которых представляют из себя полные противоположности по своим идеям: в войне стала участвовать наша социалистическая держава, защищающая интересы коммунизма, против фашистской Германии, следовательно, в эту войну возможно ожидать любых отклонений от военных законов, так как эта схватка будет самой чудовишной, какой еще не знало человечество, ибо это встреча антиподов. Может быть, после победы над фашизмом нам случится еще встретиться с последним врагом — капитализмом Америки и Англии, после чего восторжествует абсолютный коммунизм на всей земле, но эта схватка уже не должна и не может, все же, быть такой свирепой, как нынешняя наша схватка с фашистской Германией, ибо то будет встреча единиц более близких.

Я всегда с мрачным настроением думал о неизбежной нашей схватке с фашизмом, так как знал, что в ходе войны обычная ее так называемая физическая фаза обязательно перейдет в свирепые, нечеловеческие формы — фазы «химической» войны и войны «бактериологической».

В доказательство этого я могу напомнить Женевскую конференцию 192\_\_г., на которой все страны мира даже такие незаконные этапы жизни человека, как война, и то решили вставить в рамки за-

конов, где отвергались в войне применения химии, бактериологии и пыток военнопленных<sup>100</sup>.

Воюя между собой или с нами, капиталистические страны, я думаю, придерживались бы этих законов, но то, что фашистское государство в борьбе с нами как с социалистическим или, вернее, с коммунистическим государством, будет обходить эти правила — в этом я уверен.

Короче говоря, нашей стране (кто знает? — может быть, и мне лично) придется испытать действие отравляющих веществ и эпидемий чумы или холеры...

Вообще можно сказать, что, если немцы имеют головы, то они, вообще не должны бы применять эти жестокие две формы войны, как химическая и бактериологическая, ибо это — палки о двух концах, особенно последняя, ибо и отравляющие вещества, и эпидемии острозаразных болезней вполне легко могут захватить и тех, кто их привел в действие. Так что здесь требуется дьявольская осторожность, особенно при применении бактериологии.

Очень прискорбно видеть, что в данное время силы науки работают на уничтожение человека, а не для завоевания побед над природой.

Но уж когда будет разбит последний реакционный притон на Земле — тогда воображаю, как заживет человечество! Хотелось бы и мне, черт возьми, дожить до этих времен. Коммунизм — великолепное слово! Как оно замечательно звучит рядом с именем Ленина! И когда поставишь рядом с образом Ильича палача Гитлера... Боже! Разве возможно сравнение? Это же безграничные противоположности: светлый ум Ленина и какая-то жалкая злобная мразь, напоминающая... да разве может Гитлер что-нибудь напоминать? Самая презренная тварь на Земле способна казаться ангелом, находясь рядом с этим отпрыском человеческого общества.

Как бы я желал, чтобы Ленин сейчас воскрес!.. Эх! Если бы он жил! Как бы я хотел, чтобы эти звери-фашисты в войне с нами почувствовали на своих шкурах светлый гений нашего Ильича. Уж тогда бы они сполна почувствовали, на что способен русский народ!

Вечером сегодня я узнал о постановлении московских властей, в котором запрещалось населению и транспорту находиться на улицах города после 24-х часов ночи. Таким образом, наша Москва все

---

<sup>100</sup> Имеется в виду Женевский протокол от 17 июня 1925 г., запрещающий применение химического и бактериологического оружия во время войны.

больше и больше входила в непривычную, странную для всех жизнь в военных условиях.

27-го июня. Сегодня утром я дождался газеты с огромным терпением, желая узнать новости с запада. Новости оказались не плохими: крупнейший нефтяной центр Румынии Плоешти пылает, лишая германскую армию лишних порций горючего<sup>101</sup>. Советские бомбардировщики сделали свое дело! Нефтебазы в Варшаве также горят, подожженные зажигательными бомбами, сброшенными нашими краснозвездными соколами.

На второй странице «Правды» у небольшой статьи был напечатан снимок первого немецкого солдата, добровольно перешедшего на нашу сторону. Это был улыбающийся молодой парень, которого звали Альфред Лискоф<sup>102</sup>. Он обращался с воззванием к своей армии, где писал о своем чудесном пленении в России, в котором он чувствует себя лучше, чем в родной ему Германии. Он призывал солдат германской армии сдаваться добровольно в плен, обещая со стороны наших бойцов гуманное отношение. Я был рад, что еще не всех членов немецкого народа удалось Гитлеру своим чудовищным фашистским террором лишить разума и приравнять к животным. Один из этих уже воспользовался наличием мысли и оказался у нас.

Я сознаюсь вам, что мысли мои насчет химической и особенно бактериологической войнах очень заинтересовали меня. Сегодня днем я обшарил все свои библиотечные запасы, но тома энциклопедии, которые были у нас, мне мало кое-чего дали, и я отправился к Гаге, зная, что у них число томов энциклопедии во много раз превышает наши богатства.

Был чудесный летний день! Вопреки законам природы, на улицах, залитых ослепительными лучами солнца, не было никаких признаков пыли, и вереницы автомобилей бесшумно скользили по раскаленному мостовым, не оставляя за собой в воздухе ни пылинки.

Я с большой охотой прошелся пешком по городу, несмотря на то, что была чрезвычайно убийственная жара.

---

<sup>101</sup> 26 июня 17 экипажей 21-го дальнебомбардировочного авиаполка совершили серию успешных налетов на Плоешти — главный нефтеносный район Румынии, обеспечивавший вермахт горючим.

<sup>102</sup> Лисков (Лискоф) А. (1910–1943) — немецкий рабочий, солдат вермахта, антифашист, 21 июня сдался советским пограничникам и сообщил о готовящейся агрессии против СССР.

Гага была дома, и мы вдвоем стали с интересом рыться в энциклопедиях, отыскивая сведения о чуме, холере, сапе, проказе, сибирской язве и о прочих остроинфекционных болезнях. Видимо, я свою двоюродную сестру сильно заинтересовал этим, ибо она охотно вела со мной разговоры во время этого занятия на темы, касающиеся бактериологии и ее применения в военных целях.

Я искал в сведениях о болезнях не столько повествования о заболеваниях и их процессах, сколько сведения насчет борьбы с этими болезнями. И против чумы, и против холеры существуют прививки, но это настолько сложные антитоксинные вещества, что их почти можно не принимать во внимание. От чумы иногда можно несколько огородиться, покрыв тело дегтем, но это тоже спорное средство. Непосредственного оружия против этой ужасной всепожирающей эпидемической болезни, к сожалению, нет. Чтобы подавить очаг этого бедствия, нужно лишь варварски и беспощадно сжигать всех больных; тех людей, которые общались с ними; все, что окружало их; нужно уничтожить грызунов, которые разносят бактерии чумы, и ни в коем случае не употреблять в пищу сырых продуктов. Но ведь все это — средства, предупреждающие болезнь, но не средства лечения!.. Не следует этого забывать, так что, если человек подвергся нападению чумных бактерий, то судьба его уже зависит не от медицины, а от самой болезни! И если болезнь оказалась в легчайшей форме, что случается чрезвычайно и чрезвычайно редко, то пусть больной благодарит богов: он, может быть, останется в живых!

Против холеры же непосредственное средство есть — его знал я давно. И, как это ни странно, это удивительно простое оружие, несмотря на то, что сама болезнь столь опасна, эпидемична и беспощадна. Это не прививки и не лекарственные настойки, а... простая горячая вода!.. Это объясняется тем, что вибрионы холерные нестойки в смысле высокой температуры. Достаточно сказать, что температура тела курицы, равная 42 градусам, смертельна для этих микроскопически малых убийц. На основании этого великим Пастером были произведены замечательные опыты. Куры, имея высокую температуру тела, не болеют холерой, но те, у которых Пастер искусственно понизил степень теплоты крови при введении в их организмы вибрионов, холерой заболели; следовательно, если заболевший холерой человек примет горячую ванну, вода в которой будет нагрета выше немного, чем 40 градусов тепла, от чего сам организм больного также нагреется до определенной температуры,

безусловно, превышающей температуру человеческого тела, то этот счастливец может смело, без колебаний считать себя здоровым на все сто процентов. Если температура человеческого тела не убивает холерных вибрионов, то горячая ванна в 40–41–42 градуса вполне посильна в доставке человеку такого количества лишнего тепла, чтобы в его организме эти ужасные бактерии погибли все до единой<sup>103</sup>.

И так как в войне больше всего возможны применения бактерий чумы и холеры, то я и обращал на эти две болезни больше внимания, чем на все остальные, выше мною перечисленные.

Я скажу прямо, что эти две болезни я уважаю... Уважаю их, хотя они считаются бедствием для целых городов, областей, целых стран и даже материков; уважаю их за то, что они на своем пути сметают все; за то, что они идут вперед, как черные лавины, проглатывая сотни и тысячи жизней на своем пути; уважаю за их силу, за трудности борьбы с ними, за трепет перед ними всего живого, за их умение превращать цветущие сады людей в страшные пустыни почерневших трупов, за их жестокость, беспощадность, за их способности опустошать края, за молниеносную свирепую распространенность вглубь и вширь... Это странное уважение двух смертей, но разве не содрогнется душа при одном только произнесении столь короткого, но неопишимо ужасного и страшного слова «чума»...

28-го июня. То, что вчера для меня было только лишь соображениями, сегодня оказывалось реальностью. «Правда» сегодня рассказала в сводке нашего командования о том, что Италия, которая также, по приказу Гитлера, воевала с нами, пустилась в своей печати на провокацию в пользу Германии. Газета «Мессаджеро» на своих страницах повествовала о том, что СССР якобы готовится к химической войне против Германии.

Из всего этого можно заключить, что немцы сами готовятся к применению химического оружия против нас. Ну вот, первые зачатки жестокости в нашей схватке с фашизмом начинают проявляться: какие они все же изверги — травить массы людей ядами, словно каких-то убойных животных или вредных насекомых! Ну и звери!<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Описанный Левой способ лечения холеры, правда, не в тяжелой ее форме, действительно практиковался в медицине с XIX в.

<sup>104</sup> В действительности химическое и бактериологическое оружие в годы Второй мировой и Великой Отечественной войны практически не применялось.

Провокация — любимый шаг фашизма. Если фашисты задумают какое-либо новое преступление против врага, то, чтобы снять с себя ответственность, они спровоцируют общественное мировое мнение, свалив это на голову противника. Таким образом, если фашистская печать заикнулась о том, что Россия будет готовиться применить отравляющие вещества против немцев, значит, именно немцы и готовятся к химической войне. Это все легко понять.

Не успел я закончить возиться с газетой, как звякнул телефон — то звонил Мишка, который мне сказал, что, как только грянула война, он, не будучи дураком, взобрался на поезд и прикатил из Крыма обратно в свое логовище. Я сейчас же помчался к нему, так как он обещал рассказать мне кое о чем весьма интересном.

Мы удобно расположились в его комнатке, и Стихиус начал с того, что рассказал мне, как он поглощал в Крыму горы фруктов и реки молока. Я в это охотно верил, так как видел, что из старого Мишки, иссушенного и придавленного школой, народился загорелый смертный с большой солидностью в своей фигуре.

— Завидуешь, мошенник? — спросил он, самодовольно усмехаясь.

Я тяжело вздохнул и отчаянно упрекнул Стихиуса в том, что он не привез мне эдак вагончик или два крымских яблок.

Но вскоре мне пришлось завидовать Мишке кое в чем другом. Дело в том, что во время бомбардировки Севастополя он находился в его районе и был ночью разбужен тяжелыми взрывами фугасных бомб. Еще ничего не понимающий со сна, он видел, как вдалеке врезались в ночную мглу яркие стрелы прожекторов, как такие стрелы небольшими группами ловили в воздухе невидимого врага, и как ярко вспыхивал вражеский самолет, освещенный тремя или четырьмя прожекторами.

— Если б ты только видел, какая это картина! — говорил Мишка. — Я просто засматривался, забывал все кругом. Особенно здорово, когда наши истребители заходили снизу на пойманный самолет прямо по лучам прожекторов. Немец-то их не видит, а они прямо в него стучат пулеметами. Черт подери, я даже и не думал, что это война, ей-богу. Со мной в вагоне ехали летчики, так они рассказывали о первых пленных немецких летчиках. Говорят, это рослые, красивые молодые люди! Только злые очень, дьяволы. Рассказывали еще, что самолеты у них очень уж

хорошие. Главное то, что раскраска у них свирепая: есть среди них самолеты черного цвета, а на крыльях белые круги с красной свастикой.

— Ишь ты! — не утерпел я. — Сочетание цветов оригинальное! Черный, белый и красный! Хотя и изверги, а вкус художественный имеют, черти!

— Да, красиво выглядит, как представишь себе, — согласился Мишка. — Мне вообще везет! — сказал он потом.

— А что?

— Да наш поезд проскочил благополучно, а то рассказывали в дороге, что немцы иногда поезда обстреливали с самолетов. Прямо с бреющего полета из пулеметов по окнам. Вот, каналы, а?

— Это не военные-то поезда обстреливали?

— Ну, а то как же! Звери ведь. Им-то плевать, что за поезд — советский и ладно.

Затем мы поругали вдоволь «храброе» правительство Румынии, о котором упоминалось сегодня в газетах; дело в том, что наши самолеты уже не раз бомбардировали Бухарест, и правители Румынии, струсив, смылись из столицы в неизвестном направлении<sup>105</sup>.

После этого Мишка предложил сходить в школу, чтобы глянуть, как она себя чувствует в военные времена. Я, конечно, не отказался, и мы отправились.

Во дворе школы мы встретили Давида Яковлевича, очевидно, вышедшего прогуляться со своей малышкой, лежавшей в коляске. Мы разговорились с ним и постепенно вошли во вкус. Ясно, что мы разговаривали о нынешней войне с Германией.

Я завел разговор о химических и бактериологических средствах на войне. Наш учитель сказал, что применять химию немцы, вероятно, будут пытаться (здесь он упомянул сегодняшние сообщения и провокации итальянской печати), но, что касается бактерий, то это еще вопрос спорный, ибо, наделив вражескую территорию эпидемиями остроинфекционных болезней, немцы вряд ли смогут захватить ее без риска попасть под кошу своего же оружия, так как край этот может превратиться в пустыню из гор человеческих трупов.

---

<sup>105</sup> Сведения о трусливом бегстве правительства Антонеску — преувеличение советских СМИ. Однако в действительности, несмотря на продвижение германорумынских войск в глубь советской территории, ожесточенное сопротивление, которое они встретили на своем пути, вызвало волну паники среди румынского воинского контингента.

Под конец мы коснулись даже таких вопросов, которые касались желанного будущего, и Д. Як. уверял нас, что ни о каком перемирии с Гитлером теперь быть не может и речи, так что борьба будет до полного уничтожения мирового фашизма, т.е. нам, может быть, еще удастся съездить в свободную новую Германию, а, может быть, и в Германию советскую.

Школа наша пустовала, классы были неприветливы, и мы с Мишкой решили выплыть на божий свет, чтобы пройтись по городу.

Д. Як. во дворе уже не было, когда мы вышли, так что никто и ничто не задерживали нас в оградах школы.

Весь остаток дня мы со Стихиусом провели вместе, так как Мишка не хотел отпустить меня, пока мы не наболтались с ним вдоволь.

29-го июня. К сожалению, наступление немцев продолжается. Наши части отступают, предоставляя фашистским армиям оставленную территорию. Безусловно, это происходит от того, что главные наши силы все еще не подведены к фронту, и нам приходится жертвовать родной землей, но сохранять жизни бойцов.

В газете я прочел о том, что около Киева приземлился немецкий пикирующий бомбардировщик «Юнкерс-88», команда которого добровольно сдалась в плен. Снимок пленных летчиков был помещен тут же. Я просто наглядеться не мог на этих орлов. Честное слово, славные парни. Это были Ганс Герман, Адольф Аппель, Вильгельм Шмидт и Ганс Кратц — немецкие летчики, которые обратились с воззванием к своим собратям, где писали, что они уверены в поражении Германии, и что они не желают сбрасывать бомбы на беззащитных мирных жителей за интересы, как они выразились, «собаки — Гитлера»<sup>106</sup>.

Я долго рассматривал лица этих молодых людей и не мог поверить, что эти люди могли летать на самолете со свастикой на хвосте...

С начала войны во многих московских кинотеатрах появились новые и возобновились старые антифашистские фильмы. Подгоняемый новыми событиями, которые принесла нашей жизни эта

---

<sup>106</sup> Факт добровольной сдачи экипажа немецкого пикирующего бомбардировщика на четвертый день войны имел место в действительности. Этот эпизод получил широкую огласку.



война, я решил обязательно просмотреть эти картины. На днях я был на Арбатской площади, где в кинотеатре «Художественном» смотрел уже который раз «Профессор Мамлок»<sup>107</sup>. Эта картина — одна из самых моих любимых. Я видел там штурмовиков — свирепейших из фашистов, видел там зловещих чинов «СС», т.е. эсэсовских отрядов, которые несут в Германии миссию палачей в гестапо. Эти эсэсовцы, облаченные в мрачные черные формы, с белыми воротниками и черными галстуками, с красными повязками и черной свастикой на левых рукавах, с изображениями черепов в петлицах и на черных фуражках, с ремнями на подбородках, как полагается, еще свирепее и еще более жестоки, чем штурмовики, ибо отряды «СС» ведут службу выше, чем штурмовики, и набираются из самых отвязленных и самых бесчеловечных извергов из фашистской партии.

Сегодня я смотрел картину «Семья Оппенгейм»<sup>108</sup>, где также фигурируют и штурмовики, и эти дьявольские эсэсовцы в своих зловещих черных формах. Я видел на экране, как они врываются в клинику, избивали профессоров-евреев, сбрасывали оперируемых с операционных столов, громили больницы, так как в них работали еврейские врачи, всех неугодных им они считали коммунистами, и нужно было видеть, что они вытворяли при этом. Видимо, их рвет на части от одного слова «коммунизм», до того они ненавидят то, что свято для нашей страны.

Нужно сказать, что в военное время подобные картины играют роль лучшей агитации против фашистских палачей и варваров, ибо я сам, когда видел на экране, как они бандитствуют и инквизитствуют в своей стране, думал: «Вот они какие, те, с которыми мы теперь встретились. Действительно, таких тиранов, таких зверей нужно только уничтожить! Уничтожить до полного истребления их!»

**30-го июня.** Вчера вечером ко мне позвонила Цветкова, от которой я узнал, что в нашей школе устраиваются ночные дежурства на случай воздушной тревоги. Она просила меня с кем-нибудь подежурить в школе этой ночью до 4-х часов утра. Я согласился и дал знать об этом Мишке.

<sup>107</sup> Картина, снятая режиссерами А. Минкиным и Г. Раппапортом в 1938 г. по одноименной пьесе Ф. Вольфа, снискала широкую популярность в СССР.

<sup>108</sup> Картина «Семья Оппенгейм» — антифашистская драма, снятая в 1939 г. режиссером Г. Рошалем по роману Лиона Фейхтвангера.

Ночь мы провели прекрасно. К 12-ти часам ночи, когда уже весь город давным-давно был погружен во тьму, мы с Мишкой отправились в школу. Москва-река отражала только звезды на небе, но ни отражений светящихся окон, ни отблесков красно-рубиновых звезд Кремля не было теперь в чернеющей пелене реки. И кто знает, когда теперь наша Москва вновь начнет по вечерам вспыхивать веренищами огней и пятью яркими кремлевскими звездами?..

Всю ночь мы просуществовали в канцелярии, занимая диван, стоящий возле окон, плотно занавешенных маскировочной бумагой, не пропускающей света.

Мы смотрели журналы, которые захватил с собой Стихиус, болтали о войне и высказывали свои тревожные мнения насчет ее перспективы. Мишка тоже разделял мое мнение, что на этот раз наша страна сильно пострадает от вторжения врагов. Фашисты — это не белофинны и не японцы. Когда страна наша встречалась с этими последними, тылы наши совсем даже и не чувствовали того, что творилось на границах; другое же дело теперь.

На наше счастье, тревоги в эту ночь не было, и наше дежурство прошло спокойно.

1-го июля. В эту ночь я спал безмятежно, но только до определенного часа. Я был разбужен своей мамашей. Была дьявольская тьма, и я ничего не мог узреть из всего, что находилось в комнате, когда я приподнялся.

Мама мне что-то тревожно кричала, но я ее не слышал; я слышал лишь ледяные, отчеканенные слова диктора из радио:

— Граждане, воздушная тревога!

Кроме этого, я слышал рев сирен с улицы, но сначала не понимал, в чем дело. Наконец, я понял, и мое существо наполнилось каким-то неприятным чувством. Этого чувства не было у меня еще ни разу в жизни, даже в первую тревогу, ибо теперь я был твердо уверен в том, что на этот раз тревога была настоящей, а не учебной<sup>109</sup>. Но в моем уме не укладывалась мысль, что настоящий враг угрожал Москве, что это были не маневры, а истинные враги прорываются к нашему городу, несущие смерть, горящие ненавистью к нам, что на их самолетах чернели вражеские эмблемы — фашист-

---

<sup>109</sup> В ночь на 1 июля действительно ожидался налет вражеской авиации на Москву, вследствие чего была развернута система ПВО. Тем не менее самолеты со свастикой в столице не появились.

ские свастики и черные германские кресты. Может быть, впоследствии я и привыкну ко всему этому, но теперь еще все эти мысли и чувства во мне были ужасно новы и непривычны. Я представил себе летевшие к Москве самолеты с настоящими живыми фашистами, представил себе зловещую свастику на самолетах, которую написали на них не с карикатурной или театральной целью, а с полной серьезностью...

Я быстро оделся и вместе с мамой направился в убежище под домом. С потоком заспанных, наскоро одетых смертных, многие из которых тащили с собой кричащих, плавающих, спящих, плачущих детей и даже домашних животных, вроде кошек и собак, мы спустились вниз и расположились на полке в одной из комнат. Многие приволокли с собой подушки и улеглись спать, другие закусывали, третьи вели беседы на сегодняшние темы, четвертые хватались за головы и ахали — вообще нас окружало весьма пестрое по настроению общество. Одна старушенция даже дула воду из бутылки, дабы не упасть в обморок.

Я смотрел на всю эту картину и вспоминал снимки в газетах, где показывались лондонские убежища и туннели метро, полные людей; а теперь те же красоты возникают и в нашей Москве, и мне теперь приходится видеть это наяву своими же глазами и к тому же переживать все это самому.

Я чувствовал себя спокойно, хотя и не был лишен того неприятного чувства, которое было для меня чуждо и ново!

Вскоре по радио прозвучали приятнейшие для слуха слова:

— Угроза воздушного нападения я миновала, отбой! — Все воспрянули духом, ожили и стали собираться. Спящих будили, а кто уже проснулся, брал в охапку подушку и одеяла и полз к выходу.

На улице было свежо и приятно: уже начинался рассвет, небо светлело, и мне нужно было уже идти с Мишкой в школу дежурить.

— Ну, как? Жив? — спросил я его, когда мы встретились.

— Жив. Бомбы меня пощадили, — ответил он.

В канцелярии школы мы плотнее закрыли окно, спровадили Тюрину, которую мы сменили, и уселись на диване.

— Ну как? С фронта ничего особенного не слышно? — спросил я у Мишки, зная, что его отец работает директором военного завода и поэтому знает много дополнительных сведений.

— Пока не знаю, — ответил он. — Сегодня, как увижу папу, спрошу его, а то ведь интересно: в газетах-то не все могут писать.

— Я думаю, что твой папа, конечно, не все подробности говорит тебе? — сказал я.

— Ясно! То, что нужно скрывать, он мне, конечно, не рассказывает.

— Если говорить прямо, то это очень правильно, — согласился я.

— Я думаю, — проговорил Стихиус.

В 8-мь часов утра нас сменили, и мы отправились домой. Яркое оранжевое солнце заливало просыпавшийся город своими утренними лучами. На противоположном берегу Москва-реки величественный Кремль, озаренный утренним светилком, представлял из себя прекрасное зрелище, и, глядя на него, казалось, что это летнее утро во много раз чудеснее, чем на самом деле.

— Сейчас Кремль живет, — сказал я, — а ночью он, словно вымерший. То ли дело до войны: он весь был освещен, звезды горели, все окна почти светились, а теперь этого нет.

— Все это будет, — проговорил Мишка, — только не скоро.

Газеты сегодня оповещали о начале нового этапа войны: с сегодняшнего дня начинал работать так называемый «Комитет Оборона» под главенством Сталина, и все руководство страной и армией отдавалось ему — этому новому органу нашей власти<sup>110</sup>.

Это известие вселило в меня тревогу: не знаю почему, но мне казалось, что положительные дела на фронте упорно не поворачиваются к нам своим лицом. Днем ко мне позвонил Мишка. Он клеил бумажные полосы на стекла окон и звал меня для компании. Эти полосы предназначались для скрепления осколков стекол, если окно будет подвергнуто ударной волне воздуха во время разрыва бомбы.

Однако мы не довели дело до конца, так как позвонила с работы Мишина мама и сказала, что труд этот теперь не нужен, так как она получила некоторые сведения... Мы оторопели! Что только мы не подумали, когда узнали об этом. Однако пояснить мысль она в трубку отказалась...

— Придется ждать до вечера, черт подери! — сказал Мишка. — Уж скорее бы мама пришла с работы. Честное слово, интересно! Уж не кончилась ли война???

Мы были заинтересованы до предела, однако ничего путного мы сообразить не смогли. Оставалось ждать вечера, когда Мишина мама вернется домой.

---

<sup>110</sup> Государственный Комитет обороны был учрежден 30 июня 1941 г. К нему переходила вся полнота власти в стране.

Часов в пять Мишка позвонил мне и сказал, чтобы я выходил во двор.

— Знаешь, в чем дело? — спросил он меня с растерянным видом.

— Конечно, не знаю.

— Эвакуация! — ляпнул он.

— Какая эвакуация? — удивился я.

— Да она вообще еще толком сама не знает. Вообще, что-то вроде там выезда из Москвы некоторых главных учреждений. Она говорит, что будут отправлять из города детей, кроме того еще!

— Это, конечно, правильно, — согласился я. — Малышей здесь не требуется, если Москве грозит германская авиация...

— Черт ее знает! Какая-то путаница, — сказал Стихиус. — В общем, видно будет. Поживем — увидим!

— Ну и новости! — произнес я, качая головой. — Новости не очень-то приятные.

— Сейчас папа был дома, — сказал Мистихус. — Я спрашивал его о фронте. Только ты вообще об этом не говори никому. Уж я-то в тебе уверен...

— Ну, а наш этот разговор в дневнике можно записать? — спросил я, улыбаясь.

— Только это не читай никому. Хотя это уж и не столько важное, раз папа нашел нужным мне это сказать, но, вообще, не нужно, чтобы об этом знали.

— Я понимаю, — успокоил я Мишку.

— Он говорит, что Комитет Оборона не зря создан: положение наше очень тяжелое на фронте, но ничего конкретного он пока не знает. Затем он сказал, что у нас тут пропасть вредителей: этой ночью, в тревогу, сказал он, со всех заводов и фабрик полетели ракеты, освещающие территорию этих предприятий, как днем. Видал?!

— Ч-черт подери! — не удержался я. — Ну и паразиты! Воображаю, как бы эти ракеты помогли вражеским самолетам для метания бомб, если бы те только долетели до Москвы. Но я думаю, что за это дело у нас взялись?

— Конечно. Но ты пойми, как у немцев развиты шпионские органы! Это же просто черт знает что! К тому же, папа говорит, что теперь возможны частые тревоги в Москве, так как немцы теперь часто пытаются прорваться сюда на самолетах. Я, знаешь, что тебе советую? Не раздевайся-ка эту ночь. Я тоже не буду раздеваться, а

то, если будет тревога, то все равно придется уходить в убежище. Ты как-нибудь и маме скажи это сегодня.

— Ладно, скажу, — проговорил я. Немного погодя я сказал:

— Проиграли мы здорово! Тяжелый урок будет для нас эта война. Как далека еще победа! Но в ней-то я уверен.

— Известия тяжелые, что и говорить, — согласился Мишка.

2-го июля. Эту ночь я не раздевался, но проснувшись утром, я удостоверился в том, что на счастье Москвы тревоги этой ночью не было.

11-го июля. За эти дни много кое-чего произошло. 3-го числа рано утром мы с мамой слушали выступление Сталина по радио. Безусловно, это выступление войдет в историю, так как в нем наш вождь дал правдивую характеристику нашей политики и дал понятие о первых днях войны. Оказывается, мы уже успели потерять западные области Украины и Белоруссии, всю Литву, часть Латвии и в том числе такие центры, как Львов, Вильно, Каунас. Сталин сказал, что резервы фашистской оравы иссякают, что германские войска терпят колоссальные потери, а главные силы Красной армии только начинают вступать в бой.

За этот период времени были тревоги, одна из которых была днем, но к ним я уже начинал относиться с равнодушием, чему я был очень рад. Раньше я думал с непривычки, что тревога обязательно влечет за собой налет вражеской авиации на город, но потом оказалось, что от простой тревоги до настоящей бомбардировки не так уж близко.

На пару дней к нам приехал из Ленинграда Сонин Люся. От него мы узнали, что там также случались тревоги, но налетов еще также не было. Этому я был очень рад, ибо, если бы Ленинград пострадал от воздушного врага, было бы очень печально. Люся уже надел военную форму, так как был уже членом одного из военных училищ.

Из газет я узнал, что рабочие оккупированных фашистами стран и даже рабочие Германии стараются всячески саботировать на военных заводах, чтобы германская часть фронта получала как можно меньше боеприпасов. Великие слова Ленина частично начинают подтверждаться реальностью. Владимир Ильич говорил: «Если капиталисты поднимут на нас вооруженную руку, то эту руку схватят их же собственные рабочие!»

Ленин, правда, говорил о капитализме, а не о фашизме, поэтому еще нельзя сказать, что эти слова Ильича подтверждаются полностью, ведь фашизм, безусловно, сильнее капитализма угнетает пролетариат, значит, и последнему трудно сразу же переходить к активной борьбе.

6-го числа под вечер, прогуливаясь по городу, я обратил внимание на то, что по бульварам Москвы, а также возле Кремля и строительства Дворца Советов лежали громадные серебристого цвета яйцеобразные тела, в которых я узнал аэростаты воздушного назначения. Еще одна небольшая особенность заставила меня обратить на себя внимание: дело в том, что почти все плакаты в городе, изображающие морды Гитлера и прочих живодеров из его банды, были тщательно изрезаны и изорваны какими-то лицами, очевидно, в пылу патриотического порыва.

От Мишки я однажды узнал, что немцы уже бомбардировали Можайск, вследствие чего этот город уже находится во власти беспощадного огня. Если к этому еще прибавить методичное разрушение фашистскими бомбами Смоленска и слухи о том, что Минск теперь представляет из себя сплошное огненное море, то легко понять, какая чума в лице фашистских варваров обрушилась на наши цветущие советские города.

9-го июля пришло известие о захвате Соединенными Штатами Исландии, чтобы превратить эту датскую колонию в военноморскую базу для борьбы с немецко-фашистскими пиратами в Атлантических водах<sup>111</sup>. Таким образом, в Атлантическом океане Гитлер получил жестокий удар. Надо надеяться, что в дальнейшем фашисты почувствуют на своих шкурах последствия своего промаха.

И в этот же день страна узнала о первых героях Отечественной войны. Это были наши орлы — летчики Здоровцев, Жуков и Харитонов, которые обессмертили себя тем, что превратили свои самолеты в тараны, которыми пронзили в воздушных боях фашистских пиратов.<sup>112</sup>

Вчера из газет я узнал оригинальную новость: в Германии уже бывали случаи, когда высшие охранные политические органы фа-

---

<sup>111</sup> Высадка американских морских пехотинцев в Исландии началась 8 июля, всего за время оккупации там было размещено около 40 тыс. военнослужащих.

<sup>112</sup> 8 июля 1941 за отважную схватку с врагом в воздухе молодым летчикам-истребителям С. Здоровцеву, М. Жукову и П. Харитонову Указом Президиума Верховного Совета СССР было присвоено звание Героев Советского Союза.

шистов, т.е. известные всем по своей жестокости и отборной кровожадности члены «СС», проводили аресты в штурмовых отрядах. Дело в том, что мировое мнение полно слухами о разногласиях в фашистской партии на счет войны с Россией, и даже часть штурмовиков настроена против этой войны, считая ее безумным шагом; а известно, что штурмовики — это младшие собратья по должности самих членов «СС» и так же, как и последние, состоят из отборных фашистских элементов. Таким образом, аресты штурмовиков говорят о непрочности и шаткости фашистской клики.

Я думаю, что, когда фашисты будут задыхаться в борьбе с нами, дело дойдет, в конце концов, и до начальствующего состава армии. Тупоголовые, конечно, еще будут орать о победе над СССР, но более разумные станут поговаривать об этой войне, как о роковой ошибке Германии.

Я думаю, что, в конце концов, за продолжение войны останется лишь психопат Гитлер, который ясно не способен сейчас и не способен и в будущем своим ограниченным ефрейторским умом понять бесперспективность войны с Советским Союзом; с ним, очевидно, будут Гиммлер, потопивший разум в крови народов Германии и всех поработанных фашистами стран, и мартышка Геббельс, который, как полоумный раб, будет все еще по-холопски горланить в газетах о завоевании России даже тогда, когда наши войска, предположим, будут штурмовать уже Берлин.

Сегодня сводка с фронта была неплохая: было ясно, что немцы, кажется, остановились; но в их дальнейшем продвижении я не сомневаюсь. Они могут укрепиться на достигнутых позициях и перейти вновь к наступлению. От своих рассуждений, которые я излагал в дневнике 5 июня — в начале этого лета, — я еще не собираюсь отрекаться.

Комитет Обороны сообщил о разделении всего фронта на три части и прикреплении наших маршалов к каждой из частей. Ворошилов принимает командование над северо-западным фронтом, Тимошенко — над западным, а Буденный — над юго-западным. К тому же все три главнокомандующие фронтами уже приступили к своим обязанностям.

На наше счастье, партизаны оккупированных фашистскими армиями стран объявили настоящую войну всем запасам топлива, которым располагают нацисты. Дело в том, что гитлеровская орава сильно ограничена в смысле горючего, и бомбардировки советских



самолетов румынских нефтяных центров — единственной базы горючего у Германии — ставит под угрозу бездействия все бронетанковые, авиационные, автомобильные, морские и моторизованные силы фашистской армии.

Нашим самолетам в борьбе этой помогают рабочие и партизаны оккупированных стран, которые уничтожают, портят, взрывают и сжигают запасы горючего топлива, имеющегося в руках наших врагов.

Партизаны Польши уже придумали новый способ борьбы: они атакуют эшелоны с горючим, идущие на фронт, и ружейными пулями пробивают стены цистерн, давая возможность горючему пропадать в землю, выливаясь из резервуаров. Есть сведения, что такие поезда приходят на фронт пустыми.

12 июля. «Газета Нью-Йорк Пост» требует вступления США в войну». Такое предложение прочел я сегодня в газете. Американцы вообще умеют лучше строить танки и корабли, умеют тратить время на рассматривание закона о нейтралитете, чем воевать, поэтому вступление США в войну против Германии, я думаю, случится лишь тогда, когда сама Германия принудит их к этому. Я имею в виду активные действия фашистов против Американских Штатов, т.е. объявление фашистским правительством войны Америке<sup>113</sup>.

Днем ко мне позвонил Мишка. Мы вышли с ним пройтись по двору и завели с ним разговор о текущем моменте. Я сразу же заметил тень тревоги на Мишкином лице и уже заранее ожидал от него сведений, далеко не приятных.

— Фронт наш немцами прорван, — сказал он удрученно. — Многих из командующего состава арестовали. Может быть, даже придется сдать Москву.

— Москву? — удивился я. — Кому? Немцам?!

Мишка молчал.

— До этого еще далеко, — сказал я. — Я бы пристрелил этих мерзавцев, которые уже сейчас треплются о сдаче Москвы! Если ей угрожает даже малая опасность, то нужно укреплять ее, а не скулить о сдаче. Надо думать вообще только о победах, а не о поражениях!

— Ну и дураки будут те, кто так будет делать, — сказал Стихис. — Слепят они себя думами о победе и забудут, что могут быть и неудачи. Это их и сгубит.

---

<sup>113</sup> США вступили в войну после японской атаки на американскую военноморскую базу Перл-Харбор на Гавайских островах 7 декабря 1941 г.

— Проницательный и полный разума человек, будь спокоен, не забудет об опасностях поражений, если будет все равно думать об успехах и будет стремиться к ним, — возразил я. — Самое легкое — это сдать город, а нужно его отстоять, потому что, сдав Москву или Ленинград, мы их уже никогда не получим обратно.

— Как же так? — спросил Мишка. — Ведь вышибем же мы немцев когда-нибудь!

— В этом я не сомневаюсь, — ответил я. — Но, перейдя в наступление, мы отвоюем от немцев лишь территории, на которых находились эти города, но самих городов мы уже не увидим. Я уверен, что фашистские изверги уж постараются над уничтожением таких городов. Таким образом, следует лучше думать о сопротивлении, а не о сдаче.

— Но ведь столичные города обычно не разрушаются врагом, — сказал Мишка.

— Не забывай, что на этот раз мы имеем дело не с людьми, а с варварами, которые плевали на все законы, — возразил я.

16-го июля. 13-го июля я узнал о договоре нашего правительства с Англией, который скреплял наши общие действия против германского фашизма<sup>114</sup>. Таким образом, Гитлер получил еще один сильнейший удар, который, безусловно, даст ему знать о себе в будущем.

На фронте же, судя по газетам, идут бои, не влекущие за собой продвижения немцев. 14-го в «Правде» я узрел итог трех недель войны. Достаточно сказать, что немцы потеряли за этот период времени около миллиона своих солдат убитыми, пленными и ранеными, в мы — 250 тысяч бойцов, чтоб возыметь представление о тех чудовищных сражениях на западе, пожирающих тысячи человеческих жизней<sup>115</sup>.

Неустаннные бомбардировки советскими самолетами нефтепромыслов в Плоешти заставили тревожиться берлинских правителей.

---

<sup>114</sup> Соглашение между СССР и Великобританией о совместной борьбе с фашистской Германией было подписано в Москве 12 июля 1941 г.

<sup>115</sup> Советская печать преувеличивала потери противника и преуменьшала потери РККА. На самом деле к середине июля из 170 советских дивизий, вступивших в борьбу с врагом, 28 были полностью разгромлены, 70 дивизий потеряли свыше 50% своего личного состава и техники. Войска Северо-Западного, Западного и Юго-Западного фронтов к концу первой декады июля потеряли 749 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Потери немцев составили около 92 тыс. человек.

Ну, и слава всем богам мира! Значит, наши самолеты не так уж плохо напоминают о себе фашистским убийцам. Обо всем этом я также узнал из газет и по радио.

15-го числа Люся уехал обратно в Ленинград. Утром он зашел попрощаться, и мама попросила его обязательно узнать и написать нам, где сейчас Рая и Моня.

Сегодня заметил интересную перемену в Кремле. Сегодня природа наградила Москву прекрасной солнечной погодой и, устроив себе небольшую прогулку для освежения мозгов под стенами этой древней крепости, я заметил, что все позолоченные купола кремлевских соборов и церквей оказались покрытыми голубовато-серой массой, напоминавшей мокрый цемент. То же было и с башенными звездами. Нет сомнений в том, что это есть не что иное, как светомаскировка Кремля, которая будет скрывать блестящие купола его церквей от глаз фашистских бандитов, осмелившихся прорваться на самолетах к городу. Ведь во время вспышек выстрелов зениток, работы прожекторов или вражеских ракет эти незамаскированные купола могут выдать с головой весь Кремль, а то даже и весь город своим блеском, который даже в темноте ночи будет отчетливо бросаться в глаза.

Не успел я ввалиться домой, как ко мне явился Петя из породы Бутылкиных. Читатель, конечно, знает его. Я чуть было не обалдел от неожиданности: передо мной стоял загорелый, словно индеец, коренастый парень с белоснежными зубами, отчетливо выделяющимися на темно-коричневом фоне лица.

— Боже мой! Петька, что это с тобой?! — спросил я, пораженный до пределов. — Я тебя прямо-таки не узнал!

Он объяснил мне, что он работает сейчас в добровольной бригаде по смазке шпал креозотом и что они перевыполняют норму на 200%, так как этим самым они помогают фронту. Пары креозота дьявольски едки, так что у всех у них, по словам Петьки, уже успели слезть «по семнадцатой шкур», да этому еще способствовало палящее солнце. Этому я верил, так как сам своими очами видел, что сейчас на новой «восемнадцатой» Петькиной шкуре были видны остатки предыдущей «семнадцатой».

— Дерет он здорово! — говорил Петька, усаживаясь со мной на диване. — Раньше у меня все лицо, как в огне, горело, ну, а теперь ничего, привык.

Мы завели разговор о войне, и я от Пети узнал то, о чем догадывался: сила немцев была в их технике (в преобладании танков и

самолетов), а у нас этих важнейших машин современной войны не хватало. Таким образом, пока еще брала верх не русская храбрость, а германская техника: немцы все же наступали!

— Далеко еще перелом на фронте, — сказал я. — Ох, далеко!

— Да, до него сейчас рукой не достанешь, — согласился Петя.

— Да, послушай, голубчик! — вспомнил вдруг я. — Когда же ты мне проявишь негативы моих рисунков? Обещал ведь!

— Вот как будет больше свободного времени, мы и займемся этим, — ответил он.

— Я уж прямо-таки не дождусь, — начал я уверять его. — Честное слово! Уж так мне хочется, наконец, увидеть свои детища на снимках! Какой, дескать, они имеют вид?! Интересно же мне это знать как автору.

Петя уехал домой, когда начало смеркаться и когда Москва постепенно посерела от наступающего вечера. Свет я зажечь не мог, да мне он и не нужен был: я был под властью впечатления разговора с Петей о войне. Тяжелые думы овладели мной. Я думал о фронте, и тяжесть на сердце заставляла меня все время спрашивать судьбу: «Когда? Когда же мы начнем наступать?!»

20-го июля. 17-го июля начался новый период в военной жизни нашей страны: были введены карточки на продукты питания. Это заставило нас с Мишкой проверить на деле действие новых документов. В тот же день мы с Михикусом отправились в наш магазин, где Стихиус без сожаления и пощады «прожег», как говорится, всю свою мясную карточку, добыв себе на ужин жалкую горсть сосисок.

— А это получайте обратно, как подарок, — ответила с нежной вежливостью коварная продавщица, возвращая Мишке один лишь корешок от карточки. Стихиус выругался и низвергнул на пол этот бранный остаток своего бывшего продовольственного документа.

— Вот дьявол! — сказал он мне. — Я уже до конца месяца, значит, обеспечен мясными продуктами? — И он взвесил на руке свое только что приобретенное богатство. Да ведь это мне и на сегодняшний вечер-то не хватит, черт подери!

— Терпи, — с философским спокойствием предложил я ему.

— Мошенники! — брякнул мне в ответ удрученный Мишка, и мы выплыли на улицу.

Однако мы знали, что теперь карточки будут нашими верными спутниками, по всей вероятности, не только до конца войны, а, мо-

жет быть, и до определенного времени послевоенного восстановительного периода.

На следующий день (18-го числа), помню, я пошел к Мистихусу, но нам не удалось как следует провести время, так как с улицы слышались звуки сирен и заводских гудков, оповещающих город о близости фашистских самолетов. Короче говоря, была дневная тревога. Они нам уже изрядно надоели, так как мы не видели в них ничего путного, и в нас уже стала зарождаться привычность к ним, как к простым безобидным событиям.

Ругая немцев за беспокойства, мы тихо побрели вниз по лестнице, на которой были свидетелями всевозможных сцен покидания жильцами своих квартир. Деловой человек шел в убежище с книгой или портфелем, старушенция тащила туда котенка с бантиком на шее, домработница беспощадно волокла по ступеням хозяйских малышей, мы же шли только с носовыми платками, будучи свободными от всяких забот смертными.

Пережив тревогу в убежище и появившись вновь во дворе, мы от нечего делать принялись с серьезным видом считать этажи нашего дома.

— Слава богу! — сказал шутливо Мишка! — Немцы пощадили нашу хижину, все цело! А то я уж думал, что наш домик ниже стал этажей эдак на пять или шесть!

За эти дни ко мне как-то снова заглянул после работы Петя. Он вымылся в ванной, спустив с себя при помощи мочалки еще одну шкуру, которую привел в негодность кровожадный креозот, а затем я ему устроил пир, пожарив на сковородке ломти белого хлеба.

Вскоре пришла мама с работы, и мы все втроем, пока еще было довольно светло, поужинали в комнате моими сухарями с чаем.

Петя сказал мне, что хочет идти добровольцем на фронт, но его отстранили по здоровью. Я ему, конечно, посочувствовал, а затем поспешил успокоить тем, что придет время — мы все будем там!

21 июля. Вчера от Мишки я узнал о новом налете немцев на Смоленск.

Смоленск горел, напоминая собой огненный ад. Все это были результаты действий зажигательных фугасных бомб, сброшенных фашистами<sup>116</sup>.

---

<sup>116</sup> Смоленское сражение второй половины июля сопровождалось жесточайшими вражескими бомбардировками города, в результате которых центр города был полностью разрушен.

Эту ночь я провел у Бубы и утром рано пришел домой. Я с большим удовольствием прошелся по улицам, кипевшим и живым, так как прекрасная солнечная погода сильно украшала город, напоминающая лучами солнца о красотах лета и изгоняя из головы мысли о настоящей войне.

Не успел я расположиться завтракать, как до моего слуха долетело какое-то подозрительное завывание с улицы. Я пошел в комнату и включил радио. Так и есть! Я услышал каменный, невозмутимый голос диктора:

— Граждане, воздушная тревога... — «А, ч-ч-черт!» — мысленно выругался я, выдернув вилку из розетки.

— Даже пожрать честным людям не дают, живодеры! — сказал я вслух, имея в виду германских летчиков, приближающихся к Москве.

Я был совершенно спокоен, тревога на меня панически вообще не действовала, так что я все же решил утянуть со стола кусок белого хлеба с маслом и глотнуть горячего чая для заправки — остальное я оставил на после, решив окончить завтрак после тревоги. Хотя я знал, что во время тревоги требуется широко открывать окна, чтобы взрывные волны воздуха от возможных действий бомб не поражали стекол, я плотно решил закрыть их, так как не мечтал о налете, а, следовательно, и о бомбах.

Я позвонил Мишке, и мы уговорились встретиться с ним в убежище под 15-м подъездом.

Выходя во двор, я видел, как испуганные няньки хватали с земли игравших малышей и галопом скакали к дверям убежища.

— Вот уж малышей-то не нужно вообще сейчас в городе, раз он рискует быть атакованным врагом с воздуха, — сказал я самому себе.

В убежище мы с Мишкой встретились с кое-какими ребятами со двора, в том числе и с Олегом, приехавшим с дачи, и мы за разговорами не заметили, как прошло время, а вскоре дежурный, проходя по коридорам, оповестил всех собравшихся об отбое тревоги.

Мы покружили немного по двору, а затем я отправился домой с твердым намерением доконать остатки завтрака. Это я и сделал со всей доблестью!

22-го июля. Ну, а сегодняшняя ночь, очевидно, врезалась в мою память надолго!

Ровно месяц прошел с начала войны, и этот юбилей в московской жизни отметился знаменательным в эту ночь событием для всего города — это было несчастье для Москвы: на ее улицы упали первые вражеские бомбы, а ее воздух впервые содрогнулся от их оглушительных разрывов. Да, то была первая бомбардировка нашей Красной Москвы, первая бомбардировка за все ее существование!<sup>117</sup>

В ожидании прихода своей родительницы из театра, где она вчера вечером и кончала свой рабочий день, я, пользуясь вечерними сумерками, забрался, как обычно, на окно в кухне и занавесил его одеялом, после чего зажег синий свет и состряпал себе ужин, который состоял из чая и хлеба с маслом. Все это я перетащил в комнату на письменный стол, где и решил разделаться со всем содержимым чашки и тарелки. Окна комнаты мы не занавешивали, так как нам по вечерам в ней все равно ничего путного делать не нужно было, поэтому я принялся за ужин в темноте, но зато при наличии радио, которое в тот момент о чем-то гремело. Черт его знает, что там передавали! Кажется, какую-то литературную передачу.

Не успел я войти во вкус, как радио внезапно замолчало... Я знал, что это значит, и поэтому стал усиленными темпами вбивать в свою глотку хлеб и пить чай: мне ведь вовсе не хотелось, чтобы тревога, о которой сейчас скажут по радио, не дала мне возможности полностью насладиться трапезой!

К вечернему небу Москвы уже взлетали тревожные сигналы sireны, а по радио вслед за внезапно наступившей тишиной последовали словесные троекратные сигналы о воздушной тревоге.

Я встал. «Идти в убежище или нет?» — подумал я. Дома оставаться не хотелось — было бы тоскливо, а быть в убежище со всеми бабами и малышами меня тоже не прельщало, тем более, что тревога, видимо, не должна была быть долгой, так как до сих пор Москва отделялась только пустыми тревогами — налетов еще ведь не было!

— Ну, ладно, пойду в убежище, может, ребят там встречу — веселей будет — сказал я вслух. Я накрыл салфеткой опустошенную посуду, оставил радио включенным и этим самым дал ему возможность передавать вой сирены и дальше, а сам вышел в парадное.

Со всех этажей стекались вниз раздраженные люди, скрытно и открыто крившие германских вырожденков, а вахтер спокойно сидел у

---

<sup>117</sup> Первый вражеский налет на Москву продолжался с 22 часов 25 минут 21 июля до 3 часов 25 минут 22 июля. Пострадало 792 человека, 130 из них погибли.

окна за своим столом, освещенным синей лампой, и поторапливал людское стадо со своего подъезда.

Я не спешил и поэтому, спустившись в убежище, к своему удивлению, сделал неприятное открытие: все лавки в коридорах были уже заняты. Тогда я принялся искать знакомые лица. Не успел я отойти далеко от лестницы, как в одном из коридоров встретил Мишку, восседавшего в углу на скамейке. Тут уж собралось довольно изрядное, но знакомое мне общество: Розка Смушкевич, Мишкина поклонница, затем Ленка Штейнман, что из нашего класса, и некая Люда, также, видимо, равнодушная к Стихиусу.

— Ура! Левка! — загремел Мишка на весь коридор. — Ну, теперь нашего общества нет краше в мире. Тебя и не доставало!

— А чего это вдруг? — удивился я.

— Да, видишь вот, вокруг меня одни бабы! Теперь я хоть буду чувствовать себя смелее!

— Тише же, Мишка! Спят кругом, а ты раскричался! — сказала Ленка Штейнман.

— Да ты, Мишка, и один вообще уже привык быть бойким в женском обществе, — сказал я. — Сознаться прямо!

— Не скрою, — смеясь, ответил он. — Чего скрывать? Это дело уже известное! Стесняться баб мне, что ли!

— Ну и культурный же у тебя язык, Мишка, — нравоучительно, но весьма миролюбиво сказала Розалия.

Ко всеобщему удовольствию и всеобщей неожиданности, к нам вскоре подошел Борька Волков. Я не помню, фигурировал он уже у меня в дневнике или нет, но я скажу, что это мой старый товарищ по нашему дому, скромный и вообще хороший парень, которому сейчас я был очень рад, так как давно уже с ним не встречался. От него я сейчас узнал, что, как только грянула война, он из школы, где доучился до 8 класса, ушел на завод, продукция которого непосредственно отправляется на фронт.

На его голове белела повязка, скрывающая часть светлых волос. Мы, конечно, обратили на это внимание.

— Это на заводе, — улыбаясь, пояснил он. — Винт один упал.

— А я уж думал не в борьбе ли с диверсантом, — сказал Мишка. — Или, может, Борик скрывает? Нам ведь известна его скромность.

— Не-ет, — улыбнулся тот в ответ.

Время шло. В убежище было тихо и мирно. Слышались вздохи спящих... кто-то храпел пополам со свистом... в общем, картина была преподобная.



— Что-то долго отбоя нет,— сказала Люда, глядя на ручные часы.— И тихо кругом, и отбоя не дают. Первый час уже.

— Видимо, за городом большой воздушный бой идет,— пробовала угадать Роза.

— Уж ты скажешь! — засмеялся Мишка.— Вот не терплю панику! Может, наши самолеты сейчас над Берлином!

— Уж ты тоже хватил, Мишка, только в другую сторону,— сказал я.— Если б было по-твоему, то не у нас, а в Берлине была бы тревога.

— Ой, тише, ребята!..— тихо произнесла Розалия, и ее глаза сразу расширились.

Точно из глубоких недр земли, откуда-то издали послышалось несколько глухих ударов... Это было похоже на нечто страшное и ужасающее, которое тяжелыми шагами приближалось к нам... Мы замолчали.

Снова послышался шум, но в виде одного удара: то, очевидно, был одинокий выстрел зенитки. Но он был уже ближе и более звонким.

— Слышишь, Левка?— спросил меня Боря.

— Слышу.

Не успел я ответить, как послышался приглушенный грохот, и стены убежища глубоко вздрогнули... Пол затрясся, а с потолка рядом с нами трахнул об пол кусок известки.

— Это не зенитка,— сказал я.

— Уж не бомба ли? — произнес Мишка.— Только от взрыва фугасной бомбы может быть в земле такое сотрясение.

— Боже, неужели немцы прорвались в город? — спросила Люда.

А черт их знает,— ответил Стихиус.— Где-то близко упала...

Народ в коридоре стал просыпаться, разбуженный сотрясением, начались толки о случившемся, но это пока был лепет полуспящих существ, так что ничего путного и связного никто из них не мог сообразить.

Вдруг в нас все замерло... Совсем над головой, будто бы тут наверху, рядом грохнули оглушительные пять залпов, звонких и с раскатистым эхом. Мы посмотрели машинально вверх на потолок.

— Эге! — сказал Мишка.— Это зенитка на нашем доме заработала.

В это время раздался второй сотрясающий удар... Стены и пол как бы стали уходить из-под ног... Послышались крики и ругань...

— Вторая фугасная где-то близко упала,— сказал я.

Предполагаемому взрыву бомбы ответили точно такие же пять залпов зенитки.

— Черт подери! — обрадовался Мишка.— Автоматическая зенитная батарея! Здорово! Вот я и услышал ее! По пять снарядов сразу выпускает! Эх, красота!

— Да, это автомат! — согласился я.

— Эх! Автомат! Одно слово, что стоит! — восторгался Мистихус.

Я тоже был заинтересован тем, что происходило наверху; не было сомнений, что там, в воздухе, разыгралась трагедия Москвы... Теперь я не сомневался, что дожил и переживаю первую бомбардировку своего города. Короче говоря, в эту ночь фашистам удалось прорваться и устроить налет на нашу столицу.

Оглушительный грохот вновь потряс воздух... Многие вскочили на ноги!

— Полдома нет,— сказал я. Все дружно рассмеялись, но часть проснувшихся интенсивно выругалась по моему адресу, так как сейчас, якобы, не время было шутить. Это говорили явно те, кто впал в полную трусость и панику.

Розка тоже струсилась, и мы все всласть поиздевались над ее слабостью. Мишка еще даже сказал ей, мол, пока есть надежда на то, что можно будет еще отыскать какую-нибудь целую кастрюлю в развалинах ее квартиры.

К нам прибежал Володька, невысокий, чумазый, курносый мальчуган из 19-го подъезда и доложил, что хитростью вылез на улицу и видел, как по небу бродили лучи прожекторов.

— Значит, налет, да?— испуганно спросила Розка.

— Чего спрашивать? Ясно, налет,— ответил он.— Слышали два взрыва-то какие были? — спросил он.

— Еще бы не слышать,— ответил Мишка.

— Это фугасные бомбы близко две упали.

— А откуда знаешь? — спросил я.

— Говорят так дежурные, что на улице. Ну, я, может, еще вылезу,— сказал он.— Потом приду.— И он скрылся.

— Нам бы удрать,— шепнул я Борьке и Мишке.

Те не успели мне ответить, как где-то над головами прозвучала трель коротких звонких выстрелов с таким громким и звучным эхом, что похоже было, будто стреляли в пустом огромном зале.

— Очередь пулеметная, — сказал я.

— Да, да! Зенитный пулемет, — согласился Мишка.

Минут на пятнадцать нам пришлось замолчать, так как сверху послышался такой умопомрачительный грохот, состоящий из выстрелов автоматов и простых зениток, что, казалось, будто половина Москвы взлетела на воздух. Это продолжалось около четверти часа. Потом все сразу умолкло.

Время было около 2-х часов. Прошло полчаса в гробовой тишине, потом — пятнадцать минут — выстрелы не возобновлялись.

— Может, их отогнали, отбой скоро, может, будет? — подумала вслух Люда.

Но вот снова издали послышались громоподобные раскаты.

— Немцы-то, подлецы, планомерно волнами налетают! Здорово! — сказал Мишка. Видимо, было так, ибо периоды полной тишины и громоподобных концертов чередовались. Мы с Мишкой считали эти «волны» и были удивлены такой продолжительностью налета; было уже около четырех часов тревоги, а до отбоя было еще, видимо, далеко — очевидно, крупные воздушные силы немцев обрушились на Москву.

Вскоре примчался Володька, который рассказал нам о падении большого количества зажигательных бомб у нас во дворах дома; в подтверждение он показал нам искореженный стабилизатор (хвост) одной бомбы, который он выклянчил у дежурных. Это был металлический круг с ножками зеленого цвета, и сам он состоял из какого-то блестящего сплава — то, видимо, был горючий сплав из определенных металлов. Мы разглядывали эту диковинку как пришельца с Марса: ведь это был кусок вражеской нам страны — он родился где-то на военном заводе в Германии и направлялся к Москве на фашистском самолете, чтобы падением своей бомбы вызвать воспламенение наших московских очагов жизни...

В убежище спустился только что вернувшийся на автомашине со своего завода Мишкин отец. Мишка помчался за ним, а, вернувшись, шепнул мне на ухо полученные сведения:

— Сейчас папа мой ехал по улицам, и у библиотеки Ленина перед самой машиной упала зажигательная, а другая врезалась в тротуар у самого входа в метро. Он говорит, что кругом нашего дома пожары!.. — добавил Мишка удрученно.

— Ну-у! — ужаснулся я. Сердце мое сжалось при этом известии... горели здания родной Москвы! До чего она дожила! И ей, несчаст-

ной, пришлось испытать ужасы войны... Когда, бывало, случался где-нибудь случайный жалкий пожаришко, то это считалось уже большим событием, и туда стремились как к редкому явлению, чтобы посмотреть, как это, дескать, дом загорелся... а теперь? Теперь пылал не один дом, пылали многие дома в городе, лишая своим горением людей крова и имущества. Но самое тяжелое было то, что это не были несчастные случаи, а причиной были — война, налет врага на город, полет фашистской машины над советскими улицами и разрывы немецких фугасных и зажигательных бомб.

Внутри у меня было как-то не по себе... Я был подавлен известиями о пожарах в городе.

Канонада уже давно стихла, и в убежище многие уже заснули. Наша веселая группа тоже прикусила язык: все устали и хотели спать. Прошел час томительного ожидания, но отбоя все не было. Наконец, когда мы уже стали сходить с ума от тоски и однообразия, пронеслась весть об отбое тревоги. Часы показывали около четырех часов утра.

Мы сразу же помчались к лестнице и, поднимаясь почти первыми наверх, слышали ласкающие слова диктора по радио, которое стояло на столе у дежурного по убежищу:

— Угроза воздушного нападения миновала, отбой! — Это был прямо-таки гимн жизни!

Во дворе мы все разошлись.

Замечательное утро было сегодня: летнее утреннее солнце раскаленным белым диском висело низко над крышами домов, лучи легко пробивали легкую преграду из призрачных облаков.

Было прохладно и свежо, казалось, ничего ужасного не произошло за сегодняшнюю ночь, только какие-то известково— белые, даже немного голубоватые брызги на асфальте говорили о случившемся. Мишкин папа сказал, что это застывшие брызги раскаленного термита, горевших зажигательных бомб. То там, то здесь виднелись углубления в тротуарах и мостовых двора, от которых во все стороны стремились застывшие голубые струи страшного вещества.

— Пойдем ко мне, — предложил Мишка. — С нашего балкона на город посмотрим.

— Давай, — согласился я.

Тут мы заметили какую-то перемену в воздухе...

— Ч-черт... горелым, что ли, пахнет?! — недоумевающе произнес Мишка.

— Да вот дом горит, — сказал его папа. И мы увидели, что крыша одного из домов на набережной канала изрыгала из себя многочисленные струи прозрачного дыма: видимо, огонь уже погасили, и дымились лишь ранее горевшие части чердаков.

Чуть ли не открыв рты, мы с Мишкой остановились, уставившись на непривычное для нас зрелище. Оскорбление и боль за свой город почувствовал я, когда с непомерным чувством какой-то скорби смотрел я на этот дом с шапкой дыма над собой.

— Огня-то не видать, — сказал Мишка.

— Ну, ладно, пошли домой, — поторопил нас его отец.

Выйдя на балкон со стороны Кремля, мы с Мишкой не заметили ничего особенного в городе — Москва раскинулась перед нами, озаренная утренним солнцем, в обычной своей красе, и целость Кремля, безусловно, еще больше скрашивала столицу.

— Слава богу, Кремль не пострадал, — сказал Мишка.

— Было бы не очень приятно, если б одна из его башен превратилась бы в эту ночь в развалины, — подтвердил я.

С другого балкона мы узрели нечто ужасное! В полевой бинокль мы увидели, что академия<sup>118</sup>, находящаяся на другом берегу Москва-реки, рядом со строительством Дворца Советов, представляла из себя мрачное зрелище. От здания остались лишь одни почерневшие стены с пустыми, имеющими теперь дикий вид оконными отверстиями. Междупэтажные перекрытия были низвергнуты на дно дома какой-то силой, крыша также провалилась, и кое-где из пустых оконных глазниц сверкали яркие, словно прожектора, белые языки пламени, увенчанные угольными густыми столбами дыма, который, подхваченный ветром, расстилался над ближними улицами зловещей пеленой.

— Кажется, сюда угодила фугасная бомба, — сказал Мишкин папа.

— Это она, значит, и проломила все этажи? — спросил Мишкус.

— Неудивительно, — ответил тот. — Взрыв пощадил лишь стены, и теперь дом похож на пустой куб без крыши.

— Смотри-ка, пулемет зенитный, — сказал Мишка.

На крыше одного из корпусов нашего дома стояла зенитная пулеметная установка, еще не покрытая покрывалом, скрывающим ее от наших глаз.

---

<sup>118</sup> Скорее всего, имеется в виду Всероссийская академия художеств, располагавшаяся с 1932 г. по адресу: Кропоткинская ул. (б. Пречистенка), 21.

— А куда же вторая фугасная бомба упала? — спросил Стихисус. — Мы чувствовали два сотрясения в убежище.

— Не знаю, — ответил его папа. — Где-нибудь легла в нашем районе.

Часы показывали пять утра, когда я вернулся домой и крепко заснул здоровым утренним крепким сном.

Меня подняла вернувшаяся из театра мама. После ее прихода я почувствовал облегчение, так как понятные всем обстоятельства заставляли меня волноваться и быть в тревоге.

Днем я побывал в городе. Десятки и десятки мест падения зажигательных бомб встречал я на улицах, на которые смотрел с чуждым мне чувством, говорившем мне, что эти страшные брызги, розетками расплесканные по асфальту, не есть что-то наше «обычное», а есть что-то чужое, враждебное нам!

Почти у самого начала Александровского сада, на Манежной площади толпился народ. Я протискался туда и увидел гигантскую воронку, в которой копошился целый отряд рабочих. Асфальт и земля были грубо разворочены по краям этой страшной ямы, и провода троллейбуса, некогда протянутые над этим местом площади, были разорваны, а теперь наскоро скреплены аварийной командой.

Не было сомнений — это было место падения фугасной бомбы, которая, видимо, предназначалась для Кремля. Бомбометатель фашистского самолета просчитался метров на пятьдесят, так как примерно на таком расстоянии от воронки находилось основание непоколебимой угловой кремлевской башни.

Я смотрел на все это, и мне не верилось, что это — война. Мне казалось, что яма эта — вовсе не воронка от взрыва, а какая-нибудь починка мостовой или еще что-то в этом роде. Как все же еще непривычно для нас военное время! Конечно, сознание мое подсказывало мне, что это все, действительно, действия врага, а не мирные работы. Но как это все странно, необычно!..

Вечером я отправился к Бубе. Гали не было, она еще давно уехала в лагерь, так что дома были, кроме Любы, еще Костя и Надя.

В восемь часов вечера грянула новая тревога, и мы все спустились в глубокое подвальное помещение. Я уж опасался, не затянется ли, дескать, эта тревога на целые часы, как случилось этой ночью — уж очень-то мне не хотелось торчать часы в незнакомом мне убежище, и меня тянуло к своим. Однако не прошло и часа, как дали отбой.

Я быстро вернулся домой и, пользуясь тем, что еще было достаточно света, уселся у окна и запечатлел здесь в дневнике пережитое мной за эти сутки.

23 июля. Вчера вечером мы с Мишкой беззаботно прогуливались по двору, мирно беседуя, несмотря на далеко не мирную окружающую обстановку. Погода была превосходной. Заходящее солнце заливало ярко оранжевыми лучами дома, а в темно синем небе незаметно плыли белые хлопья облаков, похожие на клубы пара.

Вскоре к нам присоединилась Розка Смушкевич, старшаяся изо всех сил обратиться на себя Мишкино внимание... Нужно сказать, что Стихиус с невинным видом выдерживал испытания и держал себя изысканно холодно, но вежливо.

— Если верить в немецкую точность, то тревога, должно быть, начнется минут через тридцать, — сказал я. — Вот, веселое время!

— Да!.. Ничего себе! — усмехнулась наша спутница.

— Розка боится! — сказал иронически Мишка, — Сразу видно!

Мы присели на лавку, не зная на что убить время. Возле нас копошились малыши, обсыпая друг друга песком, которые чего-то сооружали из богатств песочной горы.

— Подождем тревогу здесь! — сказал Михикус.

— Да почему ты так уверен в ней? — обиделась за свое спокойствие наша собеседница.

— Наивное дите! — усмехнулся Мишка. — Вот когда полтонны металла трахнет тебе на голову с немецкого самолета, тогда вспомнишь мои слова.

— А как ты думаешь, будет тревога? — спросила напуганная Розалия у меня.

— Будет, — ответил я, — можешь быть совершенно спокойной. Не только тревога, но и налет также неминуем<sup>119</sup>.

---

<sup>119</sup> Действительно, 23 июля состоялся второй массированный налет немецкой авиации на Москву.

*Литературно-художественное издание*

12+

**Лев Федотов**

## **ДНЕВНИК СОВЕТСКОГО ШКОЛЬНИКА**

*Дизайн обложки В. Воронина*

*Редактор М. Николаева*

*Технический редактор Т. Тимошина*

*Компьютерная верстка И. Гришина*

Подписано в печать 20.02.2015. Формат 84x108/32.

Усл. печ. л. 5,04. Тираж экз. Заказ

ООО «Издательство АСТ»

129085, Москва, Звездный бульвар, дом 21, строение 3, комната 5

Наш сайт: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

«Баспа Аста» деген ООО

129085, г. Мәскеу, жұлдызды гүлзар, д. 21, 3 құрылым, 5 бөлме

Біздің электрондық мекенжайымыз: [www.ast.ru](http://www.ast.ru)

E-mail: [lingua@ast.ru](mailto:lingua@ast.ru)

Қазақстан Республикасында дистрибьютор  
және өнім бойынша арыз-талаптарды қабылдаушының  
өкілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы қ., Домбровский көш., 3«а», литер Б, офис  
1.

Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92

факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Өндірген мемлекет: Ресей

Сертификация қарастырылмаған